Ричард Пайпс

Я жил

Мемуары непримкнувшего

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Личная свобода, независимость взглядов, систематический труд, ответственность отражают суть жизненной философии известного американского историка, автора нескольких фундаментальных исследований по истории России и СССР Ричарда Пайпса. Эти жизненные ценности стали для него главными с той поры, когда в 1939 году он, шестнадцатилетний еврейский юноша, чудом выбрался с родителями из оккупированной фашистами Польши, избежав участи многих своих родных и близких, сгоревших в пламени холокоста. Научная карьера в Гарвардском университете, которому автор мемуаров отдал полвека, служба в Совете по национальной безопасности США, нравы, порядки и коллизии в высшей чиновной среде и в научном сообществе США, личные впечатления от общения со знаковыми фигурами американского и советского общественно — политического пейзажа, взгляды на многие ключевые события истории России, СССР, американо — советских отношений легли в основу этого исполненного достоинства и спокойной мудрости жизнеописания Ричарда Пайпса.

- Ричард Пайпс. Мемуары непримкнувшего
  - Предисловие
  - Глава первая. Польша, Италия, Америка
    - Война
    - Мое происхождение
    - Творческие поиски
    - Италия
    - Колледж
    - Армия
    - Холокост приходит в наш дом
  - Глава вторая. Гарвард
    - Аспирантура
    - Расширение интеллектуальных горизонтов: Исайя Берлин
    - Начало преподавательской и научной деятельности
    - Лицом к лицу с Россией
    - Профессорство
    - Струве
    - Эдмунд Вильсон и Джордж Кеннан
    - Западная цивилизация

        - Исторический «ревизионизм»
        - Россия при старом режиме
        - Китай
        - Амальрик и Щаранский
    - Глава третья. Вашингтон
        - Разрядка
        - Команда «Б»
        - Работа в Совете по национальной безопасности
        - Госдепартамент и союзники
        - Рейган
        - Польский кризис
        - Отдавая дань советским диссидентам
        - Ливан
        - Директива по национальной безопасности № 75
        - Последние месяцы
        - Размышления о государственной службе
    - Глава четвертая. Снова в Гарварде
        - Просто выжить недостаточно
        - История русской революции
        - Советский Союз открывается: Сахаров
        - Советский Союз подводит советологов
        - В освобожденной России
        - Как встретили книгу «Русская революция»
        - Проблема собственности
        - Выход на пенсию
        - Заключительные мысли
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61

- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 33
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 1
- ○ 2
- ○ 3
- ○ 4
- ○ 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16

Ричард Пайпс. Мемуары непримкнувшего

Я посвящаю эту книгу памяти моих родителей Марка и Софии Пайпс в благодарность за то, что они дали мне жизнь и спасли от неминуемой смерти от рук нацистов

Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих.

(Второзаконие 4,9)

Предисловие

Я остановил свой выбор на этом заголовке для моих мемуаров потому, что любое другое название, которое мне приходило на ум, уже было использовано тем или иным автором. Кроме того, у него есть преимущество краткости.

Подзаголовок «Мемуары непримкнувшего» также нуждается в пояснении. Когда я утверждаю, что в определенном смысле в течение моей жизни чувствовал себя непримкнувшим, то под этим понимаю, что всегда придерживался своего собственного мнения и поэтому сторонился каких — либо партий или группировок. Я никогда не мог выносить «коллективного мышления». Мои взгляды на историю России сделали меня чужим для большинства историков, а суждения о советско — американских отношениях отдалили от сообщества советологов. Подзаголовок мемуаров имеет целью подчеркнуть эту сторону моей личности, которая оказала влияние на весь мой жизненный опыт.

Жизнь ученого обычно не представляет интереса для широкого круга читателей, потому что она довольно однообразна, когда речь идет о преподавании, и понятна лишь посвященным в том, что касается науки. Тем не менее три аспекта моего прошлого, как мне кажется, могут быть интересными и для более широкого круга читателей. Первое — это испытания, выпавшие шестнадцатилетнему еврейскому юноше в оккупированной немцами Польше в 1939 году, его побег в Соединенные Штаты вместе с родителями и в конце концов спасение. Второе — это то, что мне посчастливилось быть в Гарварде, вначале в качестве аспиранта, затем профессора, в пору его процветания — после окончания Второй мировой войны и начала полномасштабной войны во Вьетнаме, когда Гарвард, без сомнения, был лучшим университетом в мире. И третье — это мое личное участие в советско — американских отношениях во время одного из ключевых периодов «холодной войны» в 1970-х и 1980-х годах, особенно в течение двух лет (1981–1982), когда я служил в качестве эксперта при президенте Рейгане по восточноевропейским и советским делам.

Есть много причин, по которым можно взяться за написание автобиографии, но для меня важнее всего было познать самого себя. Ибо, если человеку довелось дожить до преклонного возраста, как мне, его жизнь — это длинная история, и ее первые главы бывают сокрыты во мраке времени. Остаемся ли мы такими же через все эти десятилетия? Поймем ли, что и почему когда —

то говорили или делали? Написание автобиографии сходно с археологическими раскопками с той лишь разницей, что археолог сам становится предметом раскопок.

Мы чрезвычайно сложные существа, которые знают друг друга и даже самих себя лишь приблизительно. Как сказал малоизвестный, но блестящий английский эссеист XIX века Александр Смит, «мы исследовали вдоль и поперек всю Землю, чего нельзя сказать о человеке; вы можете исследовать королевство и нанести результаты на карту, но все ученые мужи мира не в состоянии произвести надежную карту даже самой скромной человеческой личности». Мы можем познать себя, если вообще это возможно, лишь начертав курс нашей жизни и стараясь это сделать возможно тщательнее. Я испытал приятное возбуждение, проделав этот путь, и надеюсь, что читатель найдет любопытной жизнь человека, которая объяла восемь десятилетий и два континента и которая в некоторые моменты была близка к центру исторических событий.

Процесс написания биографии — это уникальный опыт. Когда я в своих исторических трудах описываю жизнь других людей, я всегда осознаю, что свободен в выборе фактов и их интерпретации. Но рассказывая о своей жизни, я чувствовал, что если быть честным с самим собой, то нет иной альтернативы, чем излагать факты так, как они запечатлелись в моей памяти; следовательно, мои усилия направлял определенный императив.

Попросив нескольких близких мне людей, начиная с моей жены, прочитать рукопись, я сделал странное открытие: чем ближе эти люди к автору мемуаров, тем больше у них проявляется собственническое отношение к ним. Если они вас любят, то полагают, что у них есть право внести свой вклад и даже немножко подретушировать ваш собственный портрет, потому что ощущают, что в чем — то знают вас лучше, чем вы сами. Я был очень благодарен им за дружественные комментарии и серьезно размышлял над ними, но в конце концов лишь моя совесть была тем арбитром, который решал, что и как сказать.

У меня есть еще одна причина для того, чтобы восстановить в памяти мое прошлое. Ведь если я и не пережил холокост, то по крайней мере оказался среди тех, кому посчастливилось избежать его. Это может звучать странно из уст профессионального историка, но я всегда испытываю волнение, касаясь прошлого, — не прошлого других, а своего собственного, а также близких мне людей. Мне трудно смириться с тем, что люди, которых я знал, и события, участником или свидетелем которых был, исчезли, словно их никогда и не было. Но особенно трудно смириться с тем, что я остался, вероятно, единственным хранителем памяти о

многих людях, которых уже давным — давно нет в живых. Многие мои близкие и почти все школьные друзья бесследно канули в холокосте. Это ощущение угнетает меня, потому что кажется, что оно делает жизнь бессмысленной. Но именно это обстоятельство дополнительно возлагает на меня обязательство написать мемуары, чтобы память об этих людях не была безвозвратно утеряна.

Глава первая. Польша, Италия, Америка

Война

В четверг 24 августа 1939 года еврейская газета в Польше «Наше ревю», которую мы регулярно читали, опубликовала на первой странице ошарашивающее сообщение, что два ярых противника, нацистская Германия и Советский Союз, подписали пакт о ненападении. За месяц до этого события мне исполнилось шестнадцать, и я вернулся домой после прохождения трехнедельного курса по военной подготовке, который требовалось пройти всем гимназистам в течение их предпоследнего года обучения. Если бы все шло своим чередом, то через несколько дней я пошел бы в школу в выпускной класс. Но этому не суждено было случиться.

Отец пришел к выводу, что эта новость означала войну, и решил, что нам необходимо съехать с нашей квартиры, потому что дом, в котором мы жили, находился слишком близко к центральному вокзалу Варшавы и был вероятным объектом бомбардировки. Мы переехали в Констансин, курортный городок к югу от Варшавы, где сняли большую комнату на вилле и ожидали дальнейших событий. Власти приказали, чтобы в городе соблюдалась светомаскировка. Я помню, как вечером при свечах шла дискуссия между отцом и одним из моих дядей о том, будет ли война. Дядя придерживался мнения, что все зависит от Муссолини, что, однако, оказалось совершенно неверным, так как на самом деле военная машина Гитлера с благословения Сталина была готова к действиям на севере, на западе и на юго — западе Польши.

Городские власти призывали население, живущее в пригородах, копать траншеи для защиты от бомбежек. Я принялся за работу с энтузиазмом, пока хозяйка виллы не потребовала прекратить это занятие, потому что я повредил ее цветочные клумбы.

В 6.30 утра пятницы 1 сентября меня разбудил гул, раскаты которого надвигались издалека. Моей первой мыслью было, что это гром. Одевшись, я выбежал, но погода была ясной. Высоко вверху я увидел ровный строй серебристых самолетов, направлявшихся к Варшаве. Один единственный биплан (казалось, он был из дерева) резко поднялся им навстречу Грохот, который я слышал, был не громом. Это на Варшавский аэропорт падали бомбы, которые быстро уничтожили небольшие военно — воздушные силы, собранные поляками.

Несмотря на большое неравенство сил, положение Польши не было безнадежным. Прежде всего, у Польши были гарантии как

от Англии, так и от Франции, что в случае нападения Германии они объявят ей войну. Французы также обещали полякам, что они немедля контратакуют на Западном фронте, чтобы отвлечь германские силы. Кроме того, поляки рассчитывали на нейтралитет Советов, что дало бы возможность их силам перегруппироваться и дать бой в восточной части страны, где вермахт не сумел бы окружить их с флангов. Они не знали, что французы не сдержат свое слово и что существовал секретный пункт пакта о ненападении между Германией и СССР, по которому русские получали восточную часть Польши.

Еще до наступления полудня мы услышали по радио, что началась война между Польшей и Германией и что войска противника пересекли границу во многих пунктах.

Мое отношение к войне было смесью надежды и фатализма. Как поляк и еврей, я презирал нацистов и ожидал, что с помощью союзников мы победим. Этот фатализм был основан на вере, которая присуща молодежи и тем взрослым, которые никогда не взрослеют: что бы ни случилось, так и должно было случиться. На практике это означало, что человек жил одним днем и надеялся на лучшее. Это чувство фатализма хорошо сформулировано в моем любимом выражении Сенеки: «Ducunt volentem fata, nolentem trahunt» («Судьба желающего ведет, а нежелающего тащит»).

Вечером того дня, который стал первым днем Второй мировой войны, отец усадил меня на скамейке в парке, окружавшем виллу, и сказал, что если что — либо случится с ним или с матерью, мне необходимо добраться до Стокгольма и найти там мистера Ольсона в «Сканска Банке», где у него был счет. Как я узнал много лет спустя, деньги в виде чека, спрятанного в печатной машинке, были контрабандой вывезены из Польши в 1937 году близким другом отца. Вначале чек был положен в банк в Лондоне, а затем переведен в Стокгольм. Впервые отец разговаривал со мной как со взрослым. Эти деньги, скромная сумма в 3 348 долларов, спасли нам жизнь.

Война, конечно, не была для нас сюрпризом, мы давно ее ожидали и намеревались покинуть Польшу. После капитуляции союзников в Мюнхене в октябре 1938 года я пришел к выводу, что общеевропейская война неизбежна. Но перед нами вставали огромные трудности с получением виз. Мои родители подали заявление на туристическую визу, чтобы посетить международную ярмарку в Нью- Йорке, и американское консульство согласилось ее выдать при условии, что они оставят меня дома. Поэтому мы договорились с одним из моих дядей, живущем в Палестине, у которого были хорошие связи с

британскими властями, что я присоединюсь к нему. И меня это совершенно устраивало. Впоследствии я узнал, что если бы Гитлер напал на Польшу на шесть дней позже, мы к тому времени уже уехали бы, потому что 28 августа мои родители получили туристические визы в Соединенные Штаты, а я в то время уже имел необходимые документы для выезда в Палестину[1].

На следующий день после начала войны я пошел добровольцем помогать регулировать уличное движение в Констансине. У меня были инструкции сигналить машинам, чтобы они съезжали с дороги при звуке сирены воздушной тревоги. Я выполнял это поручение очень прилежно в течение нескольких дней, но затем понял тщетность этого занятия, так как машины, наполненные офицерами в форме со своими семьями, игнорировали мои сигналы и продолжали путь на юг или на восток, чтобы выбраться из страны.

Гражданское население в Европе в конце 1930-х годов постоянно предупреждали об опасности химической атаки с воздуха. У меня был противогаз, который я привез с собой из военного лагеря, но, увы, у него не было фильтра, что делало его бесполезным. Одна еврейская девушка, которую я встретил в Констансине, сказала мне, что у нее есть необходимый мне фильтр и предложила зайти за ним к ней на виллу. Я пришел вечером и постучал в дверь дома с затемненными окнами. Когда дверь открылась, я увидел комнату, заполненную молодыми людьми, чувственно танцевавшими под граммофон. Девушка не имела ни малейшего понятия о том, что мне было нужно и, оставив меня, вернулась к своему партнеру.

Через шесть дней после начала войны мы услышали ошеломляющие слухи, что немцы приближаются. Я начал вести дневник и сделал об этом запись. И действительно, хотя об этом не было известно в то время, польское правительство уже 4–5 сентября произвело частичную эвакуацию своего персонала из Варшавы, а в ночь с 6 па 7 сентября главнокомандующий польскими вооруженными силами маршал Рыдз — Смиглы тайно оставил столицу. Отец достал автомобиль, и мы направились обратно в Варшаву. По дороге нас остановил патруль, но отец показал документы, включая удостоверение ветерана Польского легиона в Первой мировой войне, и нас пропустили. В городе атмосфера была очень напряженная. Немцы с самолетов сбрасывали листовки, призывающие сдаться. Я поднял одну из них, но прохожий предупредил меня, что они отравлены. Радио поддерживало наш дух призывами мэра Стефана Старжинского и музыкой «военного» полонеза Шопена. Впоследствии Стефан Старжинский был арестован и через четыре года расстрелян в

Дахау. В город тянулись пешком, на лошадях или телегах остатки побежденной польской армии, среди них были раненые, все в лохмотьях, унылые и подавленные.

8 сентября немцы начали штурм Варшавы, но натолкнулись на серьезное сопротивление. Я видел длинные очереди мужчин в гражданском, предположительно резервистов, которые откликнулись на призыв правительства. Держа маленькие котомки, они маршировали из города на восток, где должны были быть зачислены в войска. Мои родители обсуждали отъезд из Варшавы. У нас был автомобиль, и отец хотел, чтобы мы направились в Люблин, приблизительно в 100 милях на юго — восток от Варшавы, потому что правительство эвакуировалось туда. Эту идею предложил польский министр иностранных дел Юзеф Бек, знакомый отца, который советовал ему следовать за правительством. Моя мать наотрез отказалась. Она была убеждена в том, что это предложение поступило лишь потому, что у отца были деньги, и когда они закончатся, помощь прекратится. Я слышал неистовые споры в спальне по этому поводу; к счастью, мать настояла на своем.

К середине сентября Варшава была окружена, мы были в капкане. Второй раз мы оставили нашу квартиру и переехали к друзьям, которые жили в прочном многоквартирном доме вдали от центра. Родители поселились у них, а мне была предоставлена маленькая комнатка на верхнем этаже, где жил еврейский ученый. У него была внушительная библиотека, и я позаимствовал у него историю Византии, часть многотомной «Мировой истории» Вильгельма Онкена, которую он попросил вернуть ему в том же виде, в каком я ее взял. У меня было также несколько собственных книг. Когда бомбы дождем падали на город, мать снова и снова приходила попросить меня спуститься в подвал, но я отказывался, пока бомбардировки не стали особенно лютыми. После того как Варшава пала, я обнаружил, что огромный артиллерийский снаряд пробил крышу над моей комнатой, прошел через стену в футе над моей кроватью и застрял, не разорвавшись, в лестничной площадке[2].

Начиная с вечера 22 сентября, после эвакуации дипломатического корпуса, Варшаву бомбили круглосуточно. Днем бомбардировщики «Стука» кружили над беззащитным городом, с визжащим звуком пикируя, сбрасывали бомбы на гражданские цели, а ночью начинался артиллерийский обстрел. Бомбардировки были сплошными, за исключением 23 сентября, праздника Иом Кип- пур, когда германские пилоты развлекались, сбрасывая бомбы в основном на еврейский квартал Варшавы.

Среди моих бумаг я нашел дневник, который вел восемь

месяцев спустя после этих событий; нет ничего лучше, как процитировать из него.

Приблизительно 23 сентября радиостанция замолчала, уничтоженная бомбами. На следующий день не было воды (газа пе было уже продолжительное время). Мы спали полностью одетыми, со всем необходимым, готовые бежать в любой момент. Я расположился один на шестом этаже, читая «Волю к власти» Ницше и стихи Леопольда Стаффа или делая заметки для эссе о Джотто. Артиллерийский обстрел громыхал в течение всего дня и вечера 24 сентября, а 25-го утром нас разбудил звук падающих бомб. Не было уже более противовоздушной обороны или (польских) самолетов, раздавалась лишь кое — где пулеметная стрельба. Началась массивная бомбардировка 450 самолетами, продолжавшаяся весь день, непревзойденная в анналах истории. Бомба за бомбой падали как град на беззащитный город. Дома рушились, хороня под обломками тысячи людей, распространяя пожар на всю улицу. Толпы почти отупевших людей с детьми и котомками бежали по улицам, сплошь заваленным обломками. Германские пилоты, самые гнусные стервятники в мире, намеренно летели очень низко, обстреливая улицы из пулеметов продольным огнем. К вечеру Варшава была объята пламенем и напоминала Дантов ад. С одного конца города до другого все, что можно было видеть, — это отблески огня, окрашивающие небо красным заревом. Немецкая артиллерия приступила к работе, покрывая город шквалом снарядов… Наше (временное) жилище чудом уцелело у на нем были следы «всего лишь» от двух артиллерийских снарядов.

Но нам не суждено было отделаться так легко. Около часу ночи нас разбудил громкий взрыв — снаряд попал в квартиру под нами, убив женщину. Мы вскочили и побежали вниз по темной лестнице, заполненной людьми. Крики, призывы о помощи и стоны перемешивались с неприятным эхом разрывающихся снарядов. Наш дом начал гореть. Мы побежали во двор, я с чемоданом самых ценных записей и книгу держа в руках нашу дрожавшую собаку. В тот моменткогда я пересек двор, неподалеку разорвалась шрапнельу не причинив никому вреда. Мы укрылись в подвале, но в пять утра нам пришлось его оставить, так как одна из лестниц горела и оставаться было небезопасно.

Мы побежали в город. На улице Сенкевича мы нашли убежище в огромном, но очень грязном и переполненном подвале. Артобстрел продолжался без перерыва. В семь вечера это здание тоже начало гореть. Мы снова выбежали, на этот раз на улицу Маршалковская, где укрылись на узкой лестнице… Пошла вторая ночь. Артиллерия продолжала стрелять — весь город был объят

пламенем. Я никогда не забуду зрелище, которое предстало перед моими глазами на углу улиц Маршалковская и Цельна: лошади, мечущиеся или распластанные на тротуаре, освещенные отблесками горящих как коробки домов, люди, бегущие из дома в дом в поисках безопасного убежища. В течение ночи артиллерийский огонь немного ослаб, и я, положив голову на колени официантки, заснул. Я был голоден, мы едва сумели спасти нашу собаку; дали ей сахара и чудом раздобытой воды.

Вдруг дверь отворилась и внесли четырех тяжело раненных солдат. Их перевязали при свете свечей, но ни воды у ни медикаментов не было. Женщины начали терять самообладание и падать в обморок. Дети плакали. Я тоже был на грани срыва. Наконец, я успокоился и слушал с безразличием разговоры о том, нужно ли потушить свечи или нет и так далее. Толпы людей штурмовали нашу дверь, пытаясь войти. Артиллерийский обстрел значительно ослаб… Варшава и Польша вместе с ней прожили свой последний день.

Я могу добавить, *что* не записал в своем дневнике, а именно, что, когда мы бежали по горящим улицам, мать держала подушку над моей головой, чтобы защитить меня от падающих обломков.

В подвалах ходили самые невероятные слухи, и я записал их в своем карманном дневнике:

Поляки отбивали немецкие атаки и освобождали городаy французы прорвали линию Зигфрида, а англичане высадились в Восточной Пруссии. Один из нерегулярно выходивших листков новостей, который появился в те дни под бодрым названием «День добрый!», объявлял в своих заголовках: «Линия Зигфрида прорвана. Французы входят в Рейнскую область. Польские бомбардировщики летят на Берлин».

Все это, конечно, было чистым вымыслом. Наконец правда стала ясной для всех: 17 сентября советская армия пересекла границу Польши и оккупировала ее восточные районы. 24 сентября, в воскресенье, я записал в дневнике:

Варшава защищается. Советы оккупировали Борислав, Дрогобыч, Вильно, Гродно. На западном фронте тишина. Польша потеряна. Надолго ли?

Двадцать шестого польские власти и германские военные начали переговоры. Варшава капитулировала на следующий день. По согласованным условиям объявлялось перемирие на сорок два часа. В 14 часов двадцать седьмого пушки замолчали и самолеты с неба исчезли; к этому моменту они уничтожили каждое восьмое здание в городе. Воцарилась жуткая тишина. 30 сентября немцы вошли в город. Я повстречал их передовую часть, открытую военную машину, которая остановилась на углу улиц Маршал-

ковская и Аллеи Ерозолимских, в самом сердце Варшавы. Молодой офицер, сидевший рядом с шофером, встал в машине и сфотографировал толпу, ее окружившую. Я бросил на него свирепый, полный ненависти взгляд.

Во время двухдневного перемирия мы вернулись в нашу квартиру, избежавшую разрушения, если не считать выбитых окон. Однако дома на обеих сторонах нашей улицы лежали в руинах. Коко, наша годовалая кокер — спаниель, сопровождавшая нас в скитаниях, просто сошла с ума от радости. Она носилась по столовой, то и дело прыгая на диван и с дивана. Она, должно быть, думала, что наши несчастья закончились.

Существует огромное количество дезинформации относительно польской кампании 1939 года. Обычно поляков высмеивают за их попытку остановить германские танки кавалерией. Дело представляется так, будто они оказали лишь символическое сопротивление и потерпели полный крах. На самом деле они воевали смело и эффективно. Рассекреченные германские архивы показывают, что поляки за четыре недели войны заставили вермахт понести тяжелые потери: 91 ООО убитых и 63 ООО тяжело раненных[1]. Это были самые тяжелые потери вермахта до начала блокады Ленинграда и сражения под Сталинградом. За первые два года немцы завоевали практически всю Европу.

У нас была еда, потому что буквально перед началом войны мать купила большой мешок риса, который хранила под кроватью. Это было нашим основным продуктом в течение следующего месяца. Его готовили различными способами, иногда даже с конфитюром. Была и вода, которой мы наполнили нашу ванну.

1 октября германские части начали входить в город. Они ехали на грузовиках, и я с удивлением заметил, что они не были белокурыми сверхчеловеками, как их изображала нацистская пропаганда; многие из них были низкорослыми, смуглыми, абсолютно не героического вида. Оккупационная власть скоро восстановила коммунальное обслуживание. Открылись булочные. Польские магазины продавали, или, лучше сказать, раздавали, свои товары почти даром. Я купил, что мог, включая консервы сардин и плитки шоколада. Поведение оккупационных войск в первый месяц оккупации было вполне корректным. Я не видел никаких актов насилия. Один образ, который врезался мне в память, — это германский солдат на мотоцикле с бородатым евреем в коляске, показывавшим ему дорогу по варшавским улицам. В другой раз я видел двух молодых еврейских девушек, которые флиртовали со смущенным немецким часовым у входа в

здание, щекоча ему нос цветами. Единственный инцидент явно антисемитского характера, который я наблюдал, это когда грузовик с хохочущими германскими солдатами, громыхая, несся по улицам в еврейском квартале, а евреи, некоторые из них пожилые, разбегались в стороны, чтобы не попасть под колеса. Скоро на стенах появились плакаты германского командования. На одном были напечатаны имена поляков, которых расстреляли за всевозможные «преступления», например за то, что в присутствии немецкого солдата они сказали слово *psiakrew*, дословно «собачья кровь». Еще по всему городу была расклеена картинка, изображавшая раненого польского солдата с подвязанной рукой, он гневно показывает на руины Варшавы и кричит Чемберлену: «Это твоя работа!» Молча мы изучали эти плакаты.

Один раз на улице отца остановил немец, который, подойдя к нему, положил руку на плечо и спросил: «Поляк?» Отец раздраженно ответил на безукоризненном немецком: «Нет, уберите руки». Смущенный солдат подумал, что он докучает другому немцу, извинился и ушел.

6 октября приехал Гитлер, чтобы триумфально созерцать завоеванную столицу Польши. Я видел его из нашего окна с четвертого этажа. По пути его следования вдоль улицы Маршалковская, главной улицы города, а также внизу перед нашим домом через каждый метр стояли вооруженные германские солдаты. Он ехал в открытом «мерседесе», стоял в знакомой позе, отдавая нацистский салют. Я подумал, что убить его было бы легко.

Вначале поляки относились к иностранной оккупации с молчаливым фатализмом. В конце концов их страна имела независимость всего 21 год после 120 лет иностранного владычества. Их патриотизм был более связан с идеей нации, ее культурой и религией, чем с государственностью. У них не было сомнений в том, что они переживут и эту оккупацию и вновь увидят Польшу возрожденной.

Положение евреев было, конечно, совершенно иным. Большинство польских евреев, а они были в основном ортодоксальными евреями, жившими в компактных поселениях, вероятно, мало знали о том, каково было отношение нацистов к ним. Евреи Восточной Европы были самой прогермански настроенной группой населения, кроме, конечно, тех из них, кто симпатизировал коммунизму и русским[3]. Они помнили годы Первой мировой войны (1914–1918), когда немцы, отвоевав Польшу у русских, установили закон и порядок. В семье моей матери сохранились самые хорошие воспоминания об этом

периоде. Я убежден в том, что большинство евреев не были напуганы тем, что случилось в сентябре 1939 года, и рассчитывали вернуться к более или менее нормальной жизни. Израил Зангвил в своей книге «Дети гетто» правильно подметил, что «еврей редко обозлен из — за преследования. Он знает, что находится в «Goluth», в изгнании, и что время Мессии еще не пришло, поэтому он смотрит на своего угнетателя просто как на глупый инструмент премудрого Провидения»[2].

Ассимилированные евреи были более обеспокоены: они слышали о Нюрнбергских законах и о Хрустальной ночи. Но даже они полагали, что сумеют приспособиться к германской оккупации: ведь и немцам будут нужны доктора, портные и булочники. За два тысячелетия евреи научились выживать во враждебном окружении. Они этого достигли не призывами к чести, требованиями уважения прав человека или просьбами о сострадании. Они просто старались быть полезными для властителей, кем бы те ни были, одалживая деньги королям и аристократам, продавая свои товары и собирая подати и налоги. Конечно, время от времени их грабили и изгоняли, но в общем и целом они приспособились. Они думали, что и на этот раз все будет так же. Но они глубоко заблуждались. Люди, с которыми они столкнулись на этот раз, были движимы не экономическим интересом, а безумной расовой ненавистью, которую невозможно было умиротворить.

Я лучше понял это отношение полвека спустя, когда наблюдал, с какой наивностью израильтяне относились к палестинцам. Отбив три нашествия арабов, которые должны были уничтожить Израиль и перебить или, по крайней мере, изгнать еврейское население, израильтяне погрузились в комфортабельное существование, готовые сделать почти любую уступку арабам, чтобы наслаждаться плодами мира и процветания. Большая часть израильского населения просто игнорировала бесспорные доказательства неутолимой деструктивной страсти своих палестинских соседей, убежденные в том, что они смогут откупиться уступками. Им трудно было поверить, что их могут ненавидеть, потому что они сами не испытывали ненависти.

…Жизнь в оккупированной Польше удивительно быстро вернулась к нормальному состоянию. Поразительно, как быстро каждодневное берет верх над «историческим». Это наблюдение привело меня к выводу, что население играет только скромную роль в истории, по крайней мере в политической или военной истории, которая является уделом ограниченных элит. Люди не делают историю, они просто живут. Я нашел подтверждение этой

мысли во вступлении к «Рассказу о старых женах» Арнольда Бенета, где он вспоминает свое интервью с пожилым железнодорожником и его женой в Париже во время прусской осады 1870–1871 годов. «Самое полезное наблюдение, которое я вынес из этого, — пишет Бенет, — было впечатление, ошарашивающее вначале, что простые люди продолжали жить обычной жизнью в Париже во время осады».

Вернусь к моим воспоминаниям о тех днях, как я их записал в мае 1940 года, — о времени, которое мы провели под германской оккупацией.

Начался самый печальный месяц моей жизни, который имел такой хороший итог: октябрь 1939 года. Мне трудно описать у что я делал в этот период и как я проводил свое время. В квартире было ужасно холодноу я спал под одеялом не раздеваясь. Было опасно выходить на улицуу потому что немцы хватали людей и посылали на работы. Я мог читать и заниматься только в дневное время у так как вечером не было электричествау а свечи нужно было экономить. Изо дня в день мы питались рисом, макаронами и различными супами, потом появились хлеб и капуста. Я вставал около десяти и с одинаково сильным голодом и отвращением ел завтрак, после чего шел навестить (моих друзей) О лека и Ванду или оставался дома… Я был в отчаяниицу когда думал о моем положении — о том, как все мои планыу стремления и мечты были разрушены.

Я точно не знаю, почему отец считал невыносимой перспективу просто выжить под немецкой оккупацией, перспективу, с которой большинство евреев безропотно смирилось. Вероятно, это была гордость: он был достойный человек, который находил мысль, что к нему будут относиться как к изгою, невыносимой. Он не питал никаких распространенных тогда иллюзий и предвидел то, что произойдет. В письме, которое он написал месяц спустя, до того как началось открытое преследование, он предупреждал: «Польских евреев ожидает участь хуже, чем немецких евреев».

Приблизительно в первую половину октября мы стали устраивать семейные совещания на кухне, которая полностью была в нашем распоряжении, так как Андя, наша служанка, исчезла в начале войны. У нас появилась возможность уехать из Польши на Запад по поддельным документам как гражданам одной латиноамериканской страны. Отец знал почетного консула этой страны, которого я буду называть мистер Экс. У него был единственный незаполненный формуляр паспорта, но без консульской печати, которую забрал генеральный консул, покидая Варшаву с дипломатическим корпусом. Мистер Экс

предложил отдать этот паспорт в наше распоряжение. Но перед нами стоял вопрос, осмелимся ли мы вырвать себя из привычной среды и устремиться в неизвестность? Хотя мы были небогаты, в нашем доме никогда не говорили о деньгах (вообще деньги не были предметом разговора в еврейских семьях среднего класса), и я не имел ни малейшего представления, что они необходимы для выживания. Когда отец рассуждал вслух за или против этого предприятия, я видел только преимущества. Я хотел поступить в университет и, сознавая, что это было немыслимо в оккупированной немцами Польше, настаивал на отъезде. Что же касается денег, мы как — нибудь справимся, ведь у отца был счет в стокгольмском банке, чтобы преодолеть все затруднения.

По воспоминаниям мамы, решение уехать было принято после того, как немцы расклеили плакаты, объявлявшие, что хлебные карточки будут выдаваться только резидентам, зарегистрировавшимся у них. Отец пришел к выводу, что это был способ выявить евреев.

Мои аргументы и самоуверенность (необоснованная), бесспорно, помогли убедить отца: по прошествии времени я до сих пор поражаюсь необыкновенной смелости этого решения. Мать нашла еврейского гравера, который меньше чем за час подделал недостающую консульскую печать. Затем отец начал переговоры с германским командованием о выдаче разрешения на выезд. Гестапо обосновалось в Варшаве 15 октября, но отец имел дело исключительно с военными. Он рассказал мне, что, когда находился в германском штабе но поводу нашего отъезда, ему повстречался майор Сторжинский, который, заподозрив, что отец немецкий агент или коллаборационист, озлобленно посмотрел на него, но отец не имел возможности что — либо ему объяснить.

Пока все это происходило, я навещал моих друзей, и все они, к счастью, не пострадали во время штурма. Войдя во двор дома моего школьного товарища, который страстно любил музыку, я услышал звуки «Героической» симфонии Бетховена. Мать другого школьного товарища была так напугана, что отказалась открыть мне дверь. С моим лучшим другом Олеком Дызенхаусом все было в порядке. Как — то раз мы шли по Маршалковской и увидели очередь за хлебом, мы встали в очередь, разговаривая и смеясь, а мужчина, стоявший за нами, качал головой и бормотал: «Ах, молодежь, молодежь». Нам показалось это странным, но сейчас я понимаю его реакцию.

Наконец все документы были готовы, включая транзитную визу в Италию. Наш отъезд был назначен на 5.49 утра 27 октября на первом поезде, отправлявшемся из Варшавы после оккупации

города немцами. Это был военный поезд, который вез войска на побывку домой. Наш пункт назначения был Бреслау (сегодняшний Вроцлав).

Отец договорился с одним поляком немецкого происхождения (их называли фольксдойче), что он займет нашу квартиру — предположительно для того, чтобы охранять ее до нашего возвращения. Этот человек подписал подробный перечень имущества в квартире. Я собрал некоторые из моих сокровищ, в основном книги по музыке, истории искусства и мои фотографии. Я распрощался с остальной моей маленькой библиотекой, состоявшей в основном из томов по философии и истории искусства. Самым ценным в моей коллекции был многотомник Мейера *Konversationslexikon* — энциклопедия, опубликованная в конце XIX века, из которой я черпал свои знания по истории искусства. Русский цензор в свое время замазал черной тушью все места, которые находил недопустимыми, а обложки были аккуратно оторваны и пущены, как мне рассказывал дядя, на растопку в одну из холодных зим Первой мировой войны. Меня всю ночь сотрясала неудержимая дрожь.

Было все еще темно, когда я отправился на вокзал, чтобы договориться с двумя носильщиками. Мы путешествовали первым классом, с большим количеством багажа, как полагалось иностранцам высокого статуса. Вокзал был заполнен немцами в форме. В целях безопасности отец уговорил консула Экс сопровождать нас до Бреслау, откуда мы должны были продолжить путь в Рим через Мюнхен. Один из братьев матери, Макс, пришедший на вокзал попрощаться с нами, держал Коко, которую мы вынуждены были оставить. Собака скулила и дергала за поводок. Когда поезд уже начал набирать скорость, она вырвалась и прыгнула на подножку, а потом прямо мне на руки. Я уже не мог более с ней расстаться. В купе она забилась под сидение и оставалась там в течение всего пути, как будто понимая, что не должна находиться в поезде, и не желая создавать неприятности. Она оставалась с нами до своей смерти еще десять лет.

В нашем купе сидели немецкий врач в форме, сержант и полная женщина со свастикой, приколотой на лацкан костюма. Врач вступил со мною в разговор. Когда он узнал, что я из Латинской Америки, то сказал, что испанские апельсины лучше американских (а может быть, наоборот?) и что *Rockettes Radio Sity*[4] были великолепны, и что его сын попросил привезти польского садовника, добавив с усмешкой, что он не разрешит ему входить в дом, потому что поляки «воняют». Сержант достал кусок свиного сала из своего ранца, отрезал толстый ломоть и

молча его жевал. Мать, сидевшая рядом со мной, время от времени незаметно меня толкала, предупреждая не говорить ничего лишнего, что могло бы создать проблемы. Когда она попыталась выйти в туалет, немецкий солдат, стоявший в коридоре, преградил ей путь, сказав, что ей повезло, что ее вообще пустили в этот поезд. Очевидно, он хорошо ориентировался в вопросах расовой принадлежности.

Между оккупированной Польшей и Германией не было границ, и мы приехали в Бреслау без проблем. Чтобы не вызывать подозрений, отец выбрал один из самых лучших отелей в городе, *VierJahreszeiten*, недалеко от вокзала. Когда мы распаковались и помылись, я пошел в город и купил пару книг. Чистота и благосостояние города поразили меня. Вечером мы спустились в элегантный ресторан отеля на втором этаже, заполненный хорошо одетыми дамами и офицерами. Мы заказали жареную утку. Официант вежливо поинтересовался, имели ли мы купоны на мясо. У нас их не было. Он рассказал, как на следующий день их приобрести.

Я снова посетил этот отель шестьдесят лет спустя, когда он уже назывался «Полония». Теперь в нем были лишь третьесортные номера. Но ресторан на втором этаже все еще существовал, хотя оказался в четыре раза меньше, чем мне запомнилось.

Прежде чем отправиться в Мюнхен в воскресенье 29 октября, мы провели вторую ночь в Бреслау. У отца не было немецкой валюты, чтобы приобрести билеты в Мюнхен, а оттуда дальше в Рим. Он кружил по Бреславскому вокзалу в поисках офицера с честным лицом. Это была еще одна рискованная операция. Наконец он остановил свой выбор на ком — то и спросил его, уж я не знаю под каким предлогом, не будет ли он настолько любезен, чтобы поменять польские злотые на немецкие марки, что было дозволено делать германским военным, возвращавшимся из Польши. Офицер согласился.

Мы ехали в Мюнхен через Дрезден и прибыли туда во второй половине дня. Нам предстояло прождать несколько часов, прежде чем мы могли сесть на ночной поезд на Рим. Я был полон решимости использовать время в Мюнхене, чтобы посетить знаменитый музей, старую пинакотеку. Несмотря на возражения родителей, пообещав быть осторожным, я отправился от вокзала на Каро- линенплац, где в то время стоял мавзолей нацистским молодчикам, павшим в каких — то стычках за фюрера. У мавзолея стояли часовые, и вся площадь была увешена флагами со свастикой. До пинакотеки оставалось пройти не более километра, и вскоре я добрался до восточного входа. В конце лестницы стоял нацист в униформе.

— Здесь вход в пинакотеку? — спросил я.

— Пинакотека закрыта. Ты что, не знаешь, что идет война?

Я вернулся на вокзал. Позже мать призналась мне, что незаметно следовала за мной, на всякий случай. В 1951 году я снова проделал этот путь и был чрезвычайно рад, что нациста там больше не было, а я был.

Вечером мы приехали в Инсбрук, который со времени аншлюса (присоединения Австрии к Германии) использовался как пограничный пункт на пути в Италию. Офицер гестапо вошел в наше купе — кроме нас, там больше уже никого не было — для проверки паспортов: у нас был один на троих. Вскоре он вернулся и сказал, что, к сожалению, мы не можем продолжить путь в Италию, потому что у нас нет разрешения гестапо на выезд из Германии.

— Что же нам делать? — спросил отец.

— Вам необходимо следовать в Берлин, где ваше посольство оформит необходимые документы.

С этими словами он отдал честь и вернул паспорт.

Мы вытащили наш багаж из поезда и свалили его на платформу. Отец куда — то исчез. Мы с матерью беспомощно стояли, а вокруг нас весело болтали молодые немцы и австрийцы с лыжами в руках. Неожиданно вернулся отец. Он велел нам загружать багаж обратно в поезд. Мы сделали это в большой спешке, так как поезд вот — вот должен был отправиться. Едва мы разместили наши сумки в купе, как снова появился офицер гестапо.

— Я просил вас покинуть поезд, — сказал он строго.

Но он был небольшой начальник, и его слова не произвели должного впечатления. Отец, для которого немецкий язык был родным (он провел юность в Вене), старался исковеркать его как в грамматике, так и в произношении, чтобы сыграть роль испаноговорящего южноамериканца. (На самом деле никто из нас не знал ни слова по — испански). Он объяснил, что был у начальника вокзала Инсбрука и сказал ему, что нам необходимо вернуться в свою страну как можно скорее. Начальник вокзала, вероятнее всего добродушный австриец, у которого не было полномочий решать подобные вопросы, выслушал его и сказал что — то вроде «von mir aus», что можно перевести как «что до меня, то…», а может быть, он сказал более шутливо: «Das ist mir Schnuppe» — «Ну, мне — то все равно».

Офицер гестапо взял наш паспорт и ушел. Поезд тронулся и медленно направился к итальянской границе в Бренеро, находившейся в двадцати пяти милях. За окном виднелись массивные Альпы. Это был самый критический момент нашей

жизни, так как, если бы нас сняли с поезда в Бренеро и заставили ехать в Берлин, мы наверняка погибли бы, потому что «наше» посольство сразу бы узнало, что паспорт был недействительным, и, возможно, нас передали бы немецким властям.

Я не помню, как долго мы ожидали решения. Возможно, прошли минуты, но время тянулось невыносимо. Прежде чем мы достигли границы, офицер гестапо вернулся. Он сказал:

— Вы можете продолжить путь с одним условием.

— Каким условием? — спросил отец.

— Что вы не вернетесь в Германию.

— Aber Nein! (Никак нет!) — воскликнул отец, почти крича, как будто сама мысль о том, что мы вернемся в Германию, наполняла его ужасом.

Немец вернул нам паспорт и удалился. Мать разрыдалась, отец предложил мне сигарету, первый раз в жизни.

Рано утром мы прибыли в Больцано, где во время короткой остановки купили свежие сандвичи. Ярко светило солнце. Незадолго до полудня в понедельник 30 октября мы приехали в Рим.

Мое происхождение

Здесь настал подходящий момент повернуть стрелку часов назад и рассказать, кто я такой и откуда.

Я родился 11 июля 1923 года в семье ассимилированных евреев в маленьком городке Чиешин в польской Силезии близ чешской границы, в пятидесяти километрах от места, где будет построен концентрационный лагерь Освенцим. Мой отец Марк родился во Львове (Lemberg) в 1893 году и провел свою юность в Вене. Его предки, чья фамилия изначально писалась Пиепес, с начала XIX века в своем родном городе были известными гражданами среди евреев — реформатов. В 1840-х годах один из наших предков по имени Бернард, служивший секретарем еврейской общины, взял на себя инициативу и пригласил во Львов раввина — реформата, который возглавил общину под названием «Прогрессивный храм», состоявшую главным образом из людей свободных профессий. Хотя по современным стандартам «прогрессивный» иудаизм того времени был довольно консервативным, ортодоксальные евреи чувствовали себя настолько оскорбленными, что один из них, проникнув на кухню и подлив яда в еду, отравил нового раввина и одну из его дочерей.

В 1914 году отец вступил в Польский легион, который Юзеф Пилсудский создавал под германо — австрийским покровительством, чтобы бороться за независимость Польши. Отец оставался на службе вплоть до 1918 года, воевал против русских в Галиции под псевдонимом Мариан Ольшевский. Я не знаю, что он испытал, потому что, как и большинство людей, близко видевших войну, он не любил говорить о ней. В этот период он подружился с некоторыми офицерами, которые впоследствии стояли во главе Польской республики, и эта дружба оказалась весьма полезной в предвоенный период и для нашего побега из Польши.

Моя мать, Сара София Хаскельберг, которую друзья и члены семьи звали Зося, была девятой из одиннадцати детей преуспевающего хасидского бизнесмена из Варшавы. Мать вспоминала его как веселого человека, *bon vivant*, который любил есть, пить и громко распевать песни плохим голосом. У него были обширные дела с русским правительством. Он поставлял обмундирование и оружие для российской армии. Он приобрел во владение значительное количество недвижимости в Варшаве и ее пригородах. Некоторые из маминых братьев до войны учились в Бельгии в технических институтах и школах — интернатах. Семья

обычно проводила лето в курортном городке около Варшавы, где дедушка имел виллу. Переезжали туда в канун еврейской пасхи, еще до окончания школьных занятий, и возвращались после начала занятий в сентябре. В Варшаве они жили в доме, которым владел дедушка. Вплоть до 1939 года там не было ванной (хотя туалет был) и приходилось мыться в раковине на кухне.

Когда летом 1915 года русские оставили Варшаву, они заставили маминого отца уехать с ними, возможно для того, чтобы он не передал немцам то, что знал о русской армии. Следующие три года он провел в России, один из них уже при коммунистическом режиме. Благодаря связям с немцами было устроено так, что в 1918 году он смог вернуться домой, но его место должны были занять два сына, Генри и Герман. Оба женились на русских женщинах и прожили свою жизнь в Советском Союзе. Герман погиб в период сталинских репрессий. Он был арестован в ноябре 1937 года и сразу же казнен.

Мы считали канун Рождества 1902 года днем рождения моей матери, но это было не точно, потому что еврейские семьи в Российской империи часто меняли дни рождения сыновей и дочерей, чтобы сыновья могли избежать призыва в армию. (И действительно, ее брат Леон, эмигрировавший в Палестину в 1920-е годы, указал 28 декабря 1902 года как дату своего рождения). Мой дед по материнской линии умер от рака в год, когда я родился. Мать моей матери, которую я хорошо помню, мало говорила по — польски, так что мы почти не общались. Она погибла во время холокоста в возрасте семидесяти трех лет. Ее депортировали и отравили газом в нацистском лагере смерти Треблинка. Иногда после школы я заходил к ней, и меня всегда щедро кормили, но я не помню, чтобы она когда — либо навещала нас.

Мои родители встретились в 1920 году, когда отец жил в Варшаве. Мать рассказывала мне, что она впервые услышала о нем от подруги, которая жаловалась, что Марек Пайпс не уделял ей внимания, когда по делу приходил к ее отцу. Мать ответила с уверенностью, что вот она сумела бы сделать так, чтобы он пригласил ее на свидание. Она позвонила ему в офис и притворилась, что видела его в ресторане, куда, как она слышала, он часто ходил. Заинтригованный, он проглотил наживку и пригласил ее на свидание. Так началась любовная история, которая два года спустя закончилась браком. Свадьбу сыграли в сентябре 1922 года, после чего мои родители переехали в Чиешин, где два года ранее отец с двумя партнерами, одним из которых был его будущий шурин, открыли шоколадную фабрику «Деа». Она существует до сих пор под названием «Ольза» и

производит популярные вафли «Принц Поло». Город был (и остается) разделенным рекой: восточная часть была польской, а западная принадлежала Чехословакии. Евреи жили там по крайней мере с начала XVI века.

Мы провели только четыре года в Чиешине, и я плохо помню родной город. Я родился в двухэтажном доме, который стоит до сих пор. Когда 70 лет спустя мэр Чиешина присвоил мне звание почетного гражданина города, я упомянул во время церемонии три случая из моего детства, которые врезались в мою память. Я помнил, как мать сделала мне сандвич из ржаного хлеба с редиской, намазанный толстым слоем масла. Когда я ел его перед домом, редиска упала. Так я узнал, что такое потеря. Рядом жил соседский мальчик моего возраста, у которого была лошадка — качалка, покрытая блестящей кожей. Мне очень хотелось точно такую же. Так я познакомился с завистью. И наконец, мои родители рассказали мне, что как — то раз я пригласил своих друзей в продуктовый магазин и дал каждому по апельсину. Когда владелец спросил, кто заплатит, я ответил: «Родители». Так, заключил я, я понял, что такое коммунизм, а именно, что платит кто — то другой.

Я был в Чиешине еще несколько раз после того, как мы переехали: один раз во время зимних каникул 1937–1938 года, а второй раз в феврале 1939-го, после того как польское правительство заставило чехов, преданных союзниками в Мюнхене, отдать свою половину Чие- шина. Когда я шел по его покинутым улицам, меня наполняло чувство стыда за свою страну.

Население говорило на польском, немецком и чешском языках, переходя с одного на другой. Дома мои родители говорили на польском или на немецком. Со мной они говорили исключительно на немецком языке и нанимали немецкоговорящих нянь. Но я играл с детьми, которые говорили по — польски, и я тоже его выучил. В результате в возрасте трех — четырех лет я был двуязычным.

Должно быть, американцам трудно представить себе пересечение многих культурных течений в географическом центре Европы[5]. Несмотря на то что в Америке много этнических групп, английский язык и его наследие всегда доминировали в ее культуре. Там, откуда я родом, различные культуры равноправно сосуществовали. Такая ситуация позволяла воспринимать тонкие особенности иностранного образа мысли.

В 1928 году, продав «Деа», отец перевез нашу маленькую семью на короткий период в Краков, где жила его сестра с мужем и двумя сыновьями; там же жили родители отца. Его отец

Клеменс (или Калеб) родился в 1843 году, в эпоху Меттерниха. Я помню высокого горделивого джентльмена, который разрешал мне поцеловать его бородатое лицо, но никогда со мной не говорил. Он умер в 1935 году. В Кракове вместе с шурином и партнером отец основал еще одну шоколадную фабрику, филиал венской фирмы «Пищингер и Ко», которая специализировалась на выпуске шоколадных вафель. (Она работает и сегодня под названием «Вавель».) Мы прожили в Кракове меньше года. Доверив руководство фабрикой шурину и партнеру, отец перевез нас в Варшаву, намереваясь открыть там сеть магазинов по продаже шоколада. Но вскоре разразился мировой экономический кризис. Отец прекратил сотрудничество с Пищенгером и вышел из дела. Он занялся импортом, закупая фрукты, главным образом в Испании и Португалии, на валютные средства, выделенные ему друзьями в правительстве. Этих доходов, дополненных доходами матери от недвижимости, хватало на скромное существование. Я мог бы добавить, что отец не был создан для бизнеса. Несмотря на то что у него были хорошие идеи, ему не хватало упорства претворить их в жизнь, ему быстро надоедала каждодневная рутина руководства. Мои родители вели жизнь легкую и приятную: позже, когда жить стало тяжелее, отец вспоминал с ностальгией о том, как главной проблемой, которую мать решала каждое утро, было, в каком кафе провести время. У него была репутация щеголя: он входил в число самых модных и хорошо одетых мужчин Варшавы. У нас всегда была служанка, которая готовила, чистила и каждое утро разводила огонь в облицованных кафелем печках, обогревавших дом. Она спала на кухне, и ее зарплата составляла 5 или 6 долларов в месяц плюс жилье и питание.

Переехав в Варшаву, мы сначала поселились в одной комнате в пансионе дамы из Вены. Там мы познакомились с одной парой из Вены, Оскаром и Эмми Бюргер, которым суждено было стать нашими самыми близкими друзьями на всю жизнь. Оскар Бюргер был представителем австрийской компании *Steyr — Daimler — Риск* в Польше, производившей небольшие автомобили, предшественники «Фольксвагена». У них был сын Ганс, на год моложе меня. Вскоре мы сняли отдельные квартиры в одном доме, в другой части города, но когда были вынуждены освободить нашу квартиру, мы съехались с ними и следующие пять лет жили вместе. Наши родители были неразлучны, а Ганс стал мне как брат.

Толстой писал другу, что «дети находятся — и тем больше, чем моложе — всегда в том состоянии, которое врачи называют первой степенью гипноза». Я помню мое детство именно таким. Я

жил в своем собственном мире и лишь изредка входил в контакт с «реальным» миром. Вплоть до отрочества все, что я пережил, кроме моих мыслей и чувств, казалось, лежало вне меня и было не совсем реальным: как будто я жил в гипнотическом трансе, иногда выходя из него и снова в него погружаясь.

Когда мне было восемь или девять лет, мать научила меня одной короткой молитве по — немецки. Позже я узнал, что автором этой молитвы была поэтесса эпохи романтизма Луиза Гензель.

> Muede bin ich, geh' zur Ruh,
> Schliesse beide Auglein zu;
> Vater, lass die Augen dein
> Ueber meinem Bette sein[6] .

Ни тогда, ни позже я не испытывал сомнений в существовании Бога или Божественного провидения. Также я никогда не чувствовал потребности в доказательствах относительно того или другого. Более того, я всегда был абсолютно убежден в существовании Бога, потому что его присутствие чувствуется везде; все остальное казалось и кажется до сих пор условным и сомнительным.

Возможно, это объясняет, почему у меня было счастливое детство. На семейных фотографиях, которые мы умудрились спасти во время войны, я всегда снят улыбающимся, по крайней мере до того, как пришла тревожная юность. Внешний мир существовал для того, чтобы наслаждаться им время от времени, но если он становился угрожающим, я всегда мог найти убежище в своем внутреннем мире. Это чувство пережило мое детство и в какой — то степени сопровождало меня всю дальнейшую жизнь. Даже события Второй мировой войны, которые могли стоить мне жизни, казалось, не касались меня и поэтому не были неизбежными. Я был вполне уверен, что все кончится хорошо.

Тем не менее у меня была одна проблема с религией. Если, рассуждал я лет в тринадцать — четырнадцать, все, что существовало, происходило от вечного Бога, тогда всё, каждое существо, неважно, насколько маленькое, каждое событие, неважно насколько незначительное, должно существовать вечно. Но на деле сущее постоянно исчезало без следа. Рассматривая на уроке биологии в микроскоп амебу, я задавал себе вопрос: действительно ли Бог был в ответе за каждую из тех, которые когда — либо существовали? Рассматривая старые фотографии, я задавался вопросом, помнил ли Бог этого человека в толпе или эту лошадь, впряженную в телегу, ведь они уже давно умерли? Я

так никогда и не разрешил этот вопрос для себя. Моя любовь к истории в какой — то степени происходила из этой неразрешенной проблемы. Касаясь событий, которые были в прошлом и казались нам навсегда ушедшими, я в какой — то степени возвращал их к жизни и таким образом побеждал время.

Репутация предвоенной Польши как государства фашистского и антисемитского такова, что задаешься вопросом, как мог еврейский подросток вообще жить там в состоянии ином, чем сплошное страдание и отчаяние? Термин «фашизм» был предметом такой манипуляции советских коммунистов, начиная с 20-х годов, что он потерял всякий смысл. Итальянский фашизм — фашизм в исконном и точном значении этого слова — вырос из радикального социалистического движения, возглавлявшегося до 1914 года Бенито Муссолини. Во время Первой мировой войны, под впечатлением от патриотического подъема, охватившего Европу, и от легкости, с которой национальная принадлежность взяла верх над классовой принадлежностью, Муссолини привил национализм к социализму, провозгласив, что классовая борьба в современном мире противопоставляла не граждан одной страны, как учили социалисты, а страны и нации, одни из которых были богатыми и эксплуататорскими, в то время как другие — бедными и эксплуатируемыми. Постепенно Муссолини отменил соперничающие партии, ввел всеобъемлющую цензуру и заставил предпринимателей сотрудничать с профсоюзами под общим руководством государства. Это было мягким вариантом того, что произошло в Советском Союзе.

Ничего подобного не было в предвоенной Польше. До 1926 года Польша пыталась следовать демократическому курсу, но трудности оказались непреодолимыми, так как коммунисты и социалисты боролись с националистами и были нарушены права меньшинств, составлявших треть населения страны. В мае 1926 года Пилсудский, не принимавший участия в политике в предыдущие годы, совершил государственный переворот. Но он не выходил за определенные рамки: политические партии продолжали существовать открыто, свобода прессы соблюдалась и суды сохранили свою независимость. Несмотря на то что военные играли значительную роль в правительстве и Пилсудский мог отвергать предложения парламента, это была ненасильственная и мягкая диктатура. Вплоть до его смерти в 1935 году Польша оставалась традиционным авторитарным режимом, который имел мало общего с фашистской Италией и ничего общего с нацистской Германией.

Всеобщее представление о польском антисемитизме также нуждается в некоторой коррекции. Без сомнения, определяющим

критерием принадлежности к польской нации поляки считали приверженность католической церкви. Таким образом, православные украинцы или евреи не считались настоящими поляками, независимо от того, насколько они были преданы Польше и ее культуре. Это было результатом ста двадцати лет иностранной оккупации, в течение которых католическая церковь объединяла нацию. Население было пронизано враждебностью к евреям, столетиями внушаемой католической церковью. Это был не расистский антисемитизм, но от этого не менее болезненный, так как еврей мог его избежать только путем отрицания своей религии и своего народа, и даже тогда в глазах поляка еврей никогда полностью не мог избавиться от своего происхождения. Тем не менее не было открытой дискриминации евреев (кроме как в правительстве и в среде военных) и не было погромов. Большинство ортодоксальных евреев жили по своему собственному выбору в изолированных общинах, потому что такой образ жизни способствовал соблюдению религиозных традиций. Ассимилированные евреи, какими были мы, жили вне таких общин, в некоем промежуточном мире, но я должен сказать, что у меня было больше общего с образованными поляками, чем с ортодоксальными евреями, которые относились к нам как к вероотступникам.

Благодаря всем этим факторам польско — еврейский ребенок из среднего класса мог быть вполне счастливым в Польше до 1935 года. Конечно, были неприятные инциденты. В начале 1930-х мы жили в микрорайоне, где были единственными явными евреями. Это иногда приводило к оскорбительным выпадам. Один раз еврейский юноша из семьи крещеных евреев обозвал меня жидом. Я крикнул в ответ: «Сам жид», после чего он ударил меня до крови в голову перочинным ножом. Его родители долго извинялись. Но я не могу сказать, что мои детские годы были очень омрачены такими редкими инцидентами. Мы вели нормальную жизнь: зимой катались на коньках и лыжах, летом ездили за город на пикники, купались в большом бассейне «Легия» и ходили в кино.

Я ни в коей мере не был выдающимся ребенком и никаких заметных в раннем возрасте талантов у меня не обнаруживалось. Я мало читал. Однако меня считали очень симпатичным мальчиком: мой смугловатый цвет лица и как смоль черные волосы (моя мать настаивала, чтобы у меня была челка) были предметом восхищения, и меня часто принимали за индуса или перса. Одной из травм отрочества было то, что вдруг это всеобщее восхищение прекратилось.

Довольно странным для человека, который станет

впоследствии профессиональным писателем, было то, что в молодости я испытывал трудность с изложением своих мыслей на бумаге. Но говорил я с большой легкостью и в старших классах развлекал своих одноклассников импровизированными историями, в которых они фигурировали как действующие лица. Этот талант мне пригодился много лет спустя, давая мне возможность держать моих детей и внуков в напряженном ожидании, каждый вечер рассказывая им истории перед сном. Тем не менее для меня было сущей пыткой писать школьные сочинения. Я научился хорошо писать позже, когда образы сами возникали в моем сознании и выражали мои мысли.

Творческие поиски

1935 год был переломным в моей юности. Три важных события произошли в том году: умер маршал Пил- судский; нацисты издали Нюрнбергские законы, лишавшие немецких евреев гражданства и даже статуса человека; я испытал проблемы пубертатного периода.

Несмотря на то что последние десять лет своей жизни Пилсудский был военным диктатором, в молодости он увлекался идеями социализма. В 1887-м он был арестован и сослан в Сибирь за участие в заговоре, целью которого было покушение на царя Александра III, — в том же самом заговоре, который стоил жизни старшему брату Ленина. Одним из неизменных свойств социализма было неприятие любых форм этнического и религиозного своеобразия, которое социалисты считали помехой в классовой борьбе. Пока Пилсудский был у власти, в Польше не было открытого антисемитизма. Но почти сразу после его смерти власть перешла в руки генералов и полковников, служивших под его началом. Весь мир двигался в сторону авторитаризма и создания единых политических блоков. Польша вряд ли могла избежать судьбы Европы, увязшей в экономическом кризисе. Положение евреев стремительно ухудшалось также и потому, что нацисты раздували пламя антисемитизма за границей. Пошли разговоры о «решении еврейского вопроса» (хотя единственное, что нужно было «решить» — это проблему антисемитской паранойи). Начались бойкоты еврейских предприятий. Некоторые нееврейские магазины выставляли хорошо видные надписи, оповещавшие о том, что они «христианские». Поляков убеждали покупать только «у своих». В моей школе, где прежде католики и евреи мирно, хотя и раздельно, сосуществовали, студенты начали обсуждать «еврейский вопрос», под которым они подразумевали якобы вредное влияние евреев на экономику и культуру Польши. Получил хождение термин *zazydzenie*, или «юдаиза- ция» Польши. Начались избиения еврейских студентов в университетах, и министр образования в 1937 году под нажимом фашиствующих национал — демократов издал приказ о том, чтобы студенты евреи сидели на отдельных скамьях в левой части лекционных аудиторий. Все это создавало невыносимую обстановку.

Вскоре после смерти Пилсудского начались погромы. В марте 1936-го в маленьком городке Пржитик около Радома местные крестьяне ограбили евреев и двух из них убили, были и другие случаи насилия. Хотя в то время мне было только двенадцать лет, я испытал жгучее чувство возмущения, когда власти приговорили

к тюремному заключению защищавшихся евреев в Пржитике и оправдали убийц и грабителей.

Все это происходило на фоне государственного антисемитизма в Германии, что поощряло и делало легитимным распространение этой ненавистнической идеологии по всей Европе. Отец по обыкновению бежал домой слушать по радио очередной бред Гитлера. Несмотря на то что немецкий был моим вторым родным языком, я почти ничего не мог понять из этих истерических речей, прерываемых нечеловеческими воплями аудитории. Эти речи не столько пугали, сколько вызывали недоумение.

Мое еврейское происхождение, которое я просто воспринимал как факт, стало проблемой. Мы попали в капкан. Я симпатизировал сионизму. Однако местные британские власти, стремясь успокоить палестинских арабов, которые в 1936 году устроили массовые насилия над еврейскими поселенцами, значительно ограничили въезд в Палестину. Мы рассуждали о том, чтобы послать меня учиться в школу в Англию или даже на Кубу, но ничего из этого не вышло — отчасти из — за инерции, отчасти из — за нехватки денег.

Несмотря на то что мы гордились еврейским происхождением и были преданы ему, как и большинство ассимилированных польских евреев (приблизительно 5–10 процентов от еврейского населения Польши, то есть от 150 до 300 тысяч человек), мы не соблюдали еврейских обычаев. Изредка отец водил меня в синагогу, где я лишь наблюдал, но не мог понимать молитвы верующих. Меня поражало, насколько неформальными были синагоги по сравнению с церквями. Казалось, что католики вели себя в своих молитвенных домах как в гостях, а евреи — как дома. Обеспокоенная тем, что прекрасные праздники Рождества, которые устраивали Бюргеры, внесут смятение в мои представления о религии, мать раз или два заставила меня зажечь свечи Хануки, но это выглядело совершенно бесцветным по сравнению с Рождеством — с его мигающей зеленой елкой, горами подарков и пением «Святой ночи».

Мать напрасно беспокоилась о моих религиозных наклонностях. Когда мне пошел тринадцатый год, я осознал, что меня не готовили к бармицва. Я сказал родителям, что хотел бы пройти эту церемонию, и родители наняли старого еврея, чтобы он подготовил меня. Бедный наставник обучал меня вещам, которые, как он был убежден, я должен был знать еще в шесть лет, и делал он это так, как будто смирился с мыслью о бесполезности своих усилий. Когда мне исполнилось четырнадцать, у меня все — таки была бармицва в местной

синагоге семьи моей матери. По сравнению с роскошными церемониями, на которых мне позже доводилось бывать в Соединенных Штатах, моя церемония была весьма скромной. Меня попросили прочитать отрывок из Торы, после чего мы удалились в другую комнату вместе с другими членами общины, где мать выложила выпечку и вино. Вот и все. Единственный подарок, который я получил, был тефилин (филактерий[7]). Это был подарок бабушки.

Как тогда, так и позже я чувствовал себя неловко, если нужно было молиться на людях. Несмотря на то что, уже будучи взрослым человеком, я посещал службу по большим праздникам, соблюдал пост перед Иом Кипуром и воздерживался от хлеба в течение восьми дней еврейской Пасхи, я никогда не чувствовал себя в своей тарелке при публичных религиозных обрядах. Как и Гарри Вульфсон, известный еврейский ученый из Гарварда, я считал себя «ортодоксальным евреем, не соблюдающим обряды». Я всегда считал и считаю до сих пор, что еврейская вера исключительная, потому что она сочетает в себе идеализм и реализм. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что христианский идеал бедности и самопожертвования теоретически более благородный, но он практически неосуществим, и его никто не может достичь, за исключением незаурядных и выдающихся личностей. Вместо того чтобы побуждать евреев отказываться от богатства, наша религия советует им преумножать собственность, чтобы не быть обузой для общины и иметь возможность заниматься благотворительностью. Это кажется мне намного более реалистичной и этической доктриной, чем та, которую проповедовал Иисус.

Моя преданность еврейской вере и еврейскому народу основана на нескольких постулатах. Первый: иудаизм совершенно лишен языческих примесей; это бескомпромиссно духовная религия. Второй: меня всегда восхищало настроение смиренного идеализма, которое пронизывает еврейскую культуру, — способность сохранять моральные идеалы в мире, который жесток, особенно по отношению к евреям, и чувство юмора, делающее жизнь в этих условиях намного более сносной. Как и ортодоксальные евреи, я всегда рассматривал действия человека с этических позиций, как в личной жизни, так и в моей работе историка. Sittlicher Ernst — нравственная строгость — всегда была и остается для меня светлым идеалом. И наконец, меня бесконечно восхищает способность моих предков выжить во враждебном мире и несмотря ни на что сохранить преданность своей вере в течение двух тысяч лет.

В ядовитой атмосфере, создавшейся после смерти

Пилсудского, отец вынужден был взять в партнеры католика; это был его соратник по легиону, который, насколько я мог судить, был просто подставным лицом. В 1936 году отец открыл офис в Гдыне, главном портовом городе Польши. Мы навещали его в то и в следующее лето, но кроме этого у нас не было связи. Я не помню, чтобы отец звонил или писал мне хотя бы раз за время своего двухлетнего отсутствия.

Ухудшение политической и социальной атмосферы 1935 года совпало с моим переходом от детства к отрочеству со всеми сопровождавшими его физическими и моральными проблемами. Со мной начали происходить вещи, о которых я не имел ни малейшего представления, но которые превращали меня в совершенно другого человека. Поначалу это выражалось не столько в интересе к девушкам, сколько в глубокой интеллектуальной и эстетической метаморфозе.

Это началось с музыки. Один раз, проводя вечер у маминой сестры Регины, я крутил ручку настройки радиоприемника так называемой гетеродинной модели, который должен был принимать станции всей Европы, но на самом деле из него исходил в основном свистящий шум. Вдруг я услышал потрясающую музыку. Звучала последняя часть Седьмой симфонии Бетховена; судя по быстрому темпу исполнения, это, вероятно, была запись Тосканини. Я никогда не слышал ничего подобного. Музыка была не просто «красива», она обращалась ко мне на языке, который, мне казалось, я знал когда — то давно, но забыл, на языке не слов, а звуков. Эта музыка пронзила меня насквозь. В ту ночь я ворочался, не переставая, потому что музыка, звучавшая в моей голове, не давала мне спать.

Я был полон решимости снова выучить этот язык. Я начал часто ходить на концерты в филармонию (обычно по утрам в воскресенье), где слышал таких выдающихся пианистов, как Джозеф Гофман и Вильгельм Бакхаус. Я начал брать уроки фортепиано. В ноябре 1938 года я начал брать частные уроки гармонии у композитора, который имел подходящее имя — Иоахим Мендельсон. Он был карликом и по — доброму ко мне относился, давая почувствовать, что мне суждено стать композитором. Когда началась война, я готовился к тому, чтобы начать изучение контрапункта. Я также начал брать уроки фортепиано у ведущего польского исполнителя, чье имя, как я помню, было Розенберг. У него всегда было желчное выражение лица, которое моя игра не в силах была смягчить. Отец поощрял мои музыкальные интересы и брал меня в оперу и на концерты, хотя, когда я начал восхищаться оркестровой музыкой Вагнера, он просто пожимал плечами в недоумении. Он вообще с трудом

понимал мое развитие после детства и, к тому времени как я стал подростком, вовсе оставил попытки понять меня.

Молодые люди могут довольно реалистично оценивать себя, и если ошибаются, то в сторону чрезмерной недооценки. Я быстро понял, что, несмотря на мою любовь к музыке, мои таланты, будь то игра на фортепьяно или сочинение музыки, были в лучшем случае заурядными. С глубоким разочарованием смотрел я на то, как мои сверстники учились играть на фортепьяно без малейших усилий и как они делали это намного лучше меня. В результате я с сожалением пришел к выводу, что хотя и понимаю мистический язык музыки, я никогда не научусь выражать себя на нем. Продолжая брать уроки вплоть до начала войны, я знал наверняка, что мне не суждено стать музыкантом, и бросил эти занятия после отъезда из Польши.

Но я нашел замену своему увлечению. Меня заинтересовало не рисование, скульптура или живопись, а история искусства. В один прекрасный день зимой 1937–1938 года (мне было тогда 14 лет) в Варшавской публичной библиотеке я листал иллюстрированную «Германскую историю средневекового искусства» и, пробегая глазами по характерным изысканным картинам Византийской эпохи, остановил взгляд на фреске «Снятие с креста» Джотто из капеллы дель Арена в Падуе. Эта фреска начала XIV века, одна из серии о жизни Иисуса, положившая начало европейской живописи, произвела на меня такое же сильное впечатление, как Седьмая симфония Бетховена. Горе стоящих людей, усиленное плачем ангелочков, взирающих с неба, было настолько убедительным, что я будто слышал звуки их стенаний. Это был настолько ошеломляющий эстетический опыт, что он пробудил во мне страсть к изобразительному искусству. Кеннет Кларк назвал бы это «моментом озарения». Я начал усердно изучать историю всех направлений изобразительного искусства — живописи, архитектуры, скульптуры — и делал большое количество записей. Я перевел с немецкого половину «Истории музыки» О. Келлера. Летом 1938 года, которое я провел в частном поместье в западной Польше, я вставал рано утром, садился за стол в старом парке и читал несколько страниц из учебников по истории европейского искусства. Мной никто не руководил, и моя учеба сводилась к изучению имен художников различных школ, дат их жизни и главных произведений, без какого — либо исторического и эстетического комментария. Интерес к этому предмету продолжался, в то время как амбиции музыканта исчезали, и когда в 1940 году я пошел в колледж, я собирался посвятить свою жизнь истории искусства. Эта страсть объясняет, почему я так рвался — довольно глупо — посетить

Мюнхенскую пинакотеку, когда мы бежали из Польши.

После Бетховена и Джотто настал черед Ницше. Я обнаружил немецкого философа совершенно случайно, ранней осенью 1938 года, когда книга, которую я хотел взять в библиотеке, оказалась выдана, и я взял вместо нее написанную Генрихом Лихтенбергером биографию человека, чье имя было знакомым, но о ком я ничего не знал. Когда я пришел домой и открыл ее, то был ошеломлен, потому что читал о своих неоформленных, но сильных чувствах, ясно выраженных словами. «Философия Ницше строго индивидуалистическая, — читал я. — Что говорит тебе твоя совесть? Ты должен быть тем, кто ты есть! Человек должен прежде всего знать себя, свое тело, свои инстинкты, свои способности; он должен создать свои правила жизни, подходящие к его личности, измерять свои стремления в соответствии со своими наследственными и приобретенными способностями… не существует каких — то общих или всемирных правил, по которым можно найти себя… каждый должен создать свою собственную правду и нравственные нормы; то, что хорошо или плохо, полезно или вредно для одного человека, необязательно является таковым для другого».

Эти слова действовали как наркотик на подростка, ищущего свою идентичность. В то время как все учили меня подчиняться, Ницше учил бунтовать. Сейчас мне его совет кажется безответственной и подстрекательской болтовней. Мораль Ницше для так называемых свободных духом: «нет правды, все дозволено» — ужасает меня[3]. Возможно, это звучало как удачное bon mot в викторианской Европе, но в XX веке оно предоставило логическое обоснование для массовых убийств. Мое разочарование в подобных идеях — результат Второй мировой войны и холокоста. В своем дневнике в августе 1945 года я записал:

У меня всегда была некая склонность: меня привлекали предметы и идеи, которые, как я думал, не были обще- пришьятыми и стереотипными. Когда я был моложе и наивнее у эта склонность сделала меня заядлым последователем философии Ницше: его нападки на общепринятые понятия — «добро», «сострадание», «счастье» — привлекали меняу потому что я считал (эти понятия) обывательскими и вульгарными. С тех пор я понял, что они реже всего встречаются в жизни. Меня ввели в заблуждение книги, которые расхваливали их и заставляли думать, что они широко приняты, ведь они были настолько логичны и самоочевидны! Но теперь я знаю, что их найти труднее всего [8].

Тем не менее Ницше был первым, кто оказал на меня интеллектуальное влияние, и мысль о том, что я имел право быть

самим собой — думать, как считал нужным, даже если не всегда мог поступать, как считал нужным, — осталась со мной на всю жизнь.

Я рыскал по магазинам подержанных книг на улице Святого Креста, где покупал за копейки работы Шопенгауэра, Канта и других философов в оригинале на немецком или в переводе на польский. У меня не было философской подготовки и я смутно понимал, что читал, но страсть к познанию продолжала гореть неугасимо. Отец не очень одобрял мои философские интересы. Один раз, увидев, что я читаю «Пролегомены» Канта, он сказал, что я забиваю свою голову, и что мне следует изучать более практические вещи.

Насколько себя помню, я всегда считал, что реальность, которую мы воспринимаем своими чувствами, есть лишь внешний лоск, за которым скрывается настоящая действительность. Я помню, как маленьким мальчиком играл со своими двоюродными братьями на улице в Кракове. Мое внимание привлек шум бегущей воды, доносившийся снизу из — под канализационного люка. Это был самый обыкновенный канализационный люк и самая обыкновенная вода, но шум, исходящий из невидимого источника, укрепил во мне представление, что мы живем в мире теней. (Само собой разумеется, что в то время я ничего не знал о Платоне.) Я испытал нечто похожее на сельском празднике, где удочкой должен был поймать подарок, скрытый за перегородкой. Что еще есть за этой перегородкой? — задавал я себе вопрос. В другой раз мне пришла в голову мысль, что наши представления о предметах не соответствуют тому, что есть на самом деле, и что это лишь «символы», замещающие реальность, которые позволяют нам существовать в этой реальности, не постигая ее. Это чувство осталось со мной на всю жизнь: в моей научной деятельности мною всегда руководило стремление найти «реальное» за видимым.

Несмотря на то что я не стал музыкантом и даже историком искусства, моя юношеская страсть к музыке и живописи сильно повлияла на меня в том смысле, что во всей последующей научной работе я всегда сознательно стремился соответствовать эстетическим канонам. Много лет спустя я прочитал и согласился со словами Тревельяна «правда — это критерий исторического исследования, но его двигателем является возвышенная поэтическая мотивация»[4]. Сложность профессии историка заключается в том, что необходимо иметь два несовместимых качества: поэта и лабораторного исследователя. Первое позволяет вам парить, возвышаться, второе — сдерживает. Все, что я писал, я пытался выполнять на удовлетворительном эстетическом

уровне в том, что касается языка и структуры, и одновременно старался быть скрупулезным в своих доказательствах. Это в какой — то мере компенсировало мое разочарование, что я не стал художником. Но это означает и многое другое. А именно: я рассматриваю занятия наукой как эстетическое творчество и поэтому чрезвычайно личное; я просто не могу себе представить совместную работу с кем — то над статьей или книгой. Я всегда придавал больше значения глубокому осмыслению, чем просто знанию фактов. Все, что я написал, отображает мое личное видение. Поэтому я никогда не участвовал в коллективных научных проектах и никогда не считал нужным подстраивать свою работу под какой бы то ни было консенсус.

Такое отношение с самого начала порождало противоречивое восприятие моих писаний. Много лет спустя один аспирант в Гарварде спросил меня, почему мои работы постоянно провоцируют споры, и я не знал, что сказать на это, пока не нашел ответа в письме, написанном Сэмюэлом Батлером: «Я никогда не пишу о каком бы то ни было предмете, если не убежден, что мнение тех, к кому прислушивается публика, ошибочно, а это приводит к тому, что каждая книга, которую я пишу, противоречит мнениям влиятельных людей в данной области, и поэтому я всегда оказываюсь вовлеченным в споры»[5].

Моя ранняя страсть к искусству имела еще одно благотворное и устойчивое последствие: она привила мне иммунитет против любой идеологии. Все идеологии содержат ядро истины, которой их создатели приписывают всеобщую значимость. Во время случайных дискуссий с марксистами в молодые годы я не мог им возражать, потому что ничего не знал о марксистских догмах, но я был совершенно уверен, что никакая формула не может объяснить все. Некоторые люди стремятся видеть мир как нечто хорошо организованное, им необходимо, чтобы все было «на своем месте»; такие люди — благодатный материал для марксизма или других тоталитарных доктрин. Другие восхищаются тем, что Толстой назвал «бесчисленными, никогда не истощимыми проявлениями жизни»[9], в конечном итоге этот восторг уходит корнями в эстетику Я принадлежу к последней категории.

Я был очень стеснительным с девушками. По дороге в школу я часто встречал изысканную черноволосую и черноглазую красавицу моего возраста; я смотрел на нее, она на меня, но мы никогда не обменялись и словом. Как- то раз, когда я разглядывал книги на полке в публичной библиотеке, она проходила мимо и остановилась рядом; это было явное приглашение, но я не осмелился подойти к ней. Позже в Риме я узнал, кто она была, от

молодого человека, который дружил с ней в Варшаве. Нет сомнения, она погибла во время холокоста.

В июле 1938 года, когда мне исполнилось 15 лет, я начал время от времени делать записи в дневнике. Каким- то чудом он сохранился. Перед отъездом из Варшавы я сделал связку из самых ценных для меня бумаг, которым не нашлось места в нашем багаже. Мой друг Олек хранил ее и отдал некой миссис Лоле де Спучес в один из ее приездов. Это была дама польско — еврейского происхождения, гражданка Италии (о ней подробнее ниже), которая во время войны часто ездила в Варшаву, чтобы навестить свою семью. К тому времени, когда она вернулась в Рим, мы уже уехали, но она хранила бумаги в течение всей войны и вернула их мне летом 1948 года, когда я впервые вернулся в Европу.

Чтение моего дневника довоенных лет производит довольно гнетущее впечатление. Можно сделать скидку на то, что, возможно, я обращался к нему главным образом в тяжелые моменты, тем не менее в нем постоянно присутствует негодование. Отчасти оно было направлено против того, что меня окружало: польского национализма, антисемитизма и приближающейся войны. Но внешние причины не были единственным источником моего раздражения. Я обнаружил тогда, и с тех пор это много раз подтверждалось, что, если я не был занят важным интеллектуальным трудом, я легко впадал в депрессию. В возрасте 15 лет у меня не было важного интеллектуального занятия: я поверхностно занимался музыкой и историей искусства, сам по себе, без руководства, не зная, что из этого выйдет. Отсюда частые моменты уныния, которые исчезли навсегда, как только я обнаружил свое призвание к науке.

Занятия в школе в предвоенные три — четыре года были для меня настоящей пыткой. С того времени как мы переехали в Варшаву, я посещал расположенную в центре города частную гимназию, носившую имя ее основателя Михаэля Кречмара, где половина студентов были католиками, а половина евреями. Приблизительно в 1935 году атмосфера, до того вполне приемлемая, заметно переменилась к худшему. Добряк директор, преподаватель классической истории, был отодвинут в сторону учителями нового типа, националистами, которые взяли верх. Их возглавлял преподаватель польской литературы некий Тадеуш Родонский, ставший заместителем директора школы и моей Немезидой. В школе не было явных проявлений антисемитизма, но подспудно ощущалось его присутствие. В школьной программе делался упор на национальные предметы — польскую историю, польскую литературу, географию Польши, к которым мой интерес

был весьма ограниченным и которые мешали моей страсти к музыке, искусству и философии. Составлявшие десять процентов населения Польши евреи, которые якобы господствовали в польской экономике и культуре, вообще не упоминались. К ним относились так, будто они не существовали. Удивительно, насколько мало они повлияли на польское сознание. Польша, ее настоящее и прошлое — вот что было в центре школьной программы. Мир был охвачен экономическим кризисом, на востоке от нас Сталин убивал миллионы, на западе Гитлер готовился убить еще несколько миллионов, а мы изучали подробно *ablativus absolutus*[10] и нас заставляли проследить течение африканской реки Лимпопо. Неудивительно, что я не делал домашние задания и плохо вел себя в классе, за что меня или на время удаляли из класса, или, если мое поведение было особенно безобразным, отправляли домой на день или больше. Я часто читал Ницше под партой, забыв о том, что происходило вокруг меня. Из всех предметов мои знания по математике были самыми слабыми: я ничего в ней не понимал и из года в год переходил в следующий класс только благодаря вмешательству моей матери, а также потому, что за мое образование платили. (Многие, если не большинство студентов — католиков, насколько я знаю, учились на стипендию.) За исключением истории Древнего мира и географии мира, мои знания оценивались самыми низкими проходными баллами. Даже по поведению я получал только «хорошо». Но я не помню ни одного раза, чтобы учитель отвел меня в сторону и поговорил со мной о причинах моего плохого поведения и низких оценок или чтобы он взывал к моему самоуважению: единственным воспитательным приемом было наказание и унижение. Теперь мне кажется, что моя плохая успеваемость в школе впоследствии оказалась благотворной: благодаря тому что я не делал домашние задания, я выиграл время для изучения более важных вещей, чем те, которым меня учили, а также смог проверить свои способности и выявить таланты.

Когда со мной обращались по — человечески, я мог хорошо выполнить любое задание. Осенью 1937 года наш учитель истории Мариан Маловист попросил меня летом прочитать «Покорение Перу» Прескотта в немецком переводе, так как в то время не было перевода на польский. Осенью я должен был сделать доклад. Я написал реферат, но когда вернулся в школу, Маловиста, единственного еврея из учителей, в школе уже не было: он уволился, потому что не мог выносить антисемитские придирки Родон- ского. Я убрал реферат и получил его снова после войны вместе со своим дневником и другими бумагами.

Маловист, несмотря на полиомиелит, каким — то чудом остался жив после холокоста и получил должность профессора экономической истории в Варшавском университете. Он посетил Гарвард в 1975 году, и у меня наконец появилась возможность вручить ему с опозданием на сорок лет мой реферат о книге Прескотта. Мне казалось, что я установил некий рекорд. Он написал мне из Польши, что реферат вызвал слезы на его глазах, настолько он был поражен тем, что до войны четырнадцатилетний подросток смог написать историческое эссе на таком уровне, на который было неспособно большинство послевоенных студентов университета.

В июне 1938 года я закончил гимназию и намеревался поступить в двухгодичный лицей при той же школе. На процедуре вручения аттестатов присутствовал инспектор из министерства образования. Учительница вызывала каждого из нас к своему столу и задавала пару вопросов, которые должны были продемонстрировать нашу зрелость. Когда подошел мой черед, она спросила, где я родился. «В Чиешине», — ответил я. «А что интересного можно рассказать о Чиешине?» — «Город разделен на две части, одна принадлежит Чехословакии, другая Польше». «И кому должны принадлежать обе части?», — настаивала она. «Чехословакии», — ответил я без всякого колебания. «Почему? — спросила она удивленно. — Ведь там был референдум, который показал, что большинство населения хочет присоединиться к Польше». «Да, это так, — ответил я, — но итоги референдума были подтасованы». — «Спасибо, ты можешь сесть». На самом деле я ничего не знал о референдуме, я просто проявил упрямство и своеволие, потому что не хотел говорить то, что от меня ожидали, и хотел подчеркнуть мое неприятие польского национализма. Шестьдесят лет спустя я узнал, что в Чиешине не было никакого референдума и что город должен был принадлежать полякам потому, что они составляли большинство населения. Отец был в ужасе, когда я рассказал ему, что произошло. Или он, или мать пошли к учительнице уладить дело: мне кажется, прощение я получил потому, что подобные еретические взгляды я почерпнул из программ иностранного радио.

Почти никто из одноклассников не разделял моих художественных и интеллектуальных интересов, так что я по большей части был одинок. У меня было два друга, один из них, Александр (Олек) Дызенхаус, оставался преданным мне на протяжении всей жизни (он пережил войну в Польше и умер в Южной Африке). Другой, Питер Блауфукс, был чем — то вроде талантливого неврастеника. Он, к сожалению, погиб.

У меня была также подруга. Мы встретились зимой 1938–1939 года в курортном городке Крыница. Ванда Элельман была на два года старше меня и уже закончила гимназию. Судя по записям в моем дневнике, я был страстно влюблен в нее, но по прошествии времени мне кажется, что это было не так: должен признать, что, как только я уехал из Польши, я мало думал о ней. Тем не менее мы провели много счастливых часов вместе, особенно весной 1939 года, гуляя под цветущими каштанами парка Лазенки и сидя в кафе.

Война приближалась. Мать с Эмми Бюргер брали уроки вязания перчаток и шапок, чтобы в непредвиденных обстоятельствах иметь возможность применить эти навыки. Я посещал уроки английского языка в вечерней приходской школе методистов. Это был мой первый контакт с американцами, и они произвели на меня странное впечатление. Перед каждым занятием мы собирались в большом зале и пели самые популярные песни, такие, например, как «I love you, yes I do, I lo — o–ove you». Уроки вели женщина за фортепиано, большеротая и зубастая, и мужчина с напомаженными волосами, разделенными пробором посередине. Нам казалось удивительным, что песни о любви использовались для обучения. Но я выучил английский достаточно хорошо, чтобы вести беседу, и это в дальнейшем мне очень пригодилось.

В июне 1939 года я расстался с Гансом Бюргером, который вместе со своей семьей эмигрировал в Соединенные Штаты. Его мать Эмми была наполовину еврейка, что делало его на четверть евреем, и по Нюрнбергским законам оба считались неарийцами. Так как после присоединения Австрии к Германии в 1938 году надо было поменять гражданство, они посчитали благоразумным уехать. Я очень завидовал им.

Что отравляло мое существование в последний год школы перед войной, так это военные занятия, известные под аббревиатурой PW, что означало «военная подготовка». От нас требовалось приходить в школу каждый понедельник в мятой, цвета зеленого горошка униформе и заниматься всевозможной муштрой. В каникулы перед началом последнего года обучения в лицее мы должны были посещать трехнедельный курс военной подготовки вместе с учащимися из других школ. К концу июня 1939 года нас с одноклассниками отправили в лагерь, расположенный в лесном массиве Козёниц, приблизительно в ста километрах на юго — запад от Варшавы. Для меня это было сущей пыткой. Мы жили в грубо сколоченных бараках, спали на нарах с матрасами из соломы. У нас было достаточно еды, но самой простой и однообразной: например, на завтрак нам давали

кусок ржаного хлеба и черный кофе или чай на выбор. Но хуже всего было то, что ученики из других варшавских школ привнесли в лагерь атмосферу всеобъемлющего антисемитизма. Еврейских юношей оскорбляли и третировали, но, так как их было меньшинство, они терпели и воспринимали все вполне покорно. Единственное, что мне нравилось, несмотря на бессонную ночь, так это стоять на посту в лесу, где было тихо и уединенно.

Вскоре я попал в неприятную ситуацию. Меня поймали курящим в строю. Родонский, служивший резервным офицером в лагере, отчитал меня и назначил не очень строгое наказание. Затем меня определили в небольшую команду, которая должна была стоять в открытом поле, смотреть в небо и докладывать о появлении иностранных самолетов. Это было абсурдное задание, так как никаких иностранных самолетов не было и, даже если бы они были, мы не сумели бы их опознать. Я зашел в магазин неподалеку купить сигареты. Сержант, находившийся там со своими сослуживцами, предложил мне выпить с ними немного водки. Я никогда до этого водку не пил, но, польщенный тем, что ко мне отнеслись как к взрослому, принял предложение. Нас поймали, и опять я должен был предстать перед Родонским для дисциплинарного взыскания. Если бы мне позволили оправдываться, я бы обвинил сержанта, отвечавшего за нас. Но к тому времени мне уже все было настолько противно, что подсознательно я хотел, чтобы меня исключили. Некоторое время спустя нас собрали в поле для каких — то упражнений или чего — то в этом роде. Мимо проезжал бородатый еврей на телеге. Солдаты стали глумиться над ним; еще более отвратительным было то, что он присоединился к ним и стал смеяться над собой. Меня внутри всего перевернуло. Вскоре после этого, за три дня до закрытия лагеря, меня снова поймали курящим в бараке. С едва скрываемым торжеством Родонский объявил, что меня исключили. Больше мы не встречались, не прошло и года, как он попал в плен и был убит советскими органами безопасности, кажется, в Катыни.

Я возвратился домой. Мои родители расстроились, узнав, что случилось. Отец быстро сумел устроить так, чтобы я смог поехать в лагерь на вторую смену военной подготовки. Незачет по летней военной подготовке делал невозможным окончание школы. Вторая смена оказалась намного более приятная, потому что провинциальные школы, принимавшие в ней участие, не были пропитаны юдофобией, которая так сильно чувствовалась в Варшаве. Я закончил смену без проблем и возвратился в Варшаву в начале августа, незадолго до начала войны.

Италия

Мы прибыли в Рим утром 30 октября в понедельник. Оставив багаж на вокзале, мы вышли в город: пройдя по Пьяцца Эседра с великолепным фонтаном, мы повернули налево на Виа Национале. Стоял прекрасный осенний день. Отец сказал, что, хотя у него были знакомые во многих европейских столицах, к сожалению, в Риме он никого не знал. Не прошло и нескольких минут после этих слов, как кто — то крикнул: «Пайпс!» Мы обернулись. Кричал итальянский бизнесмен по имени Роберто де Спучес, который жил до войны в Варшаве. Это была весьма удачная встреча, потому что, как оказалось, де Спучес был единственным итальянцем, которого знал мой отец. Трудно поверить, что в Риме, городе с населением более миллиона жителей, его появление в этот конкретный момент, именно в этом месте, было простой случайностью. Де Спучес помог нам обосноваться в скромном пансионе недалеко от вокзала. У нас совсем не было денег, я вынужден был продать некоторые марки из моей коллекции за тридцать лир (приблизительно один американский доллар), чтобы заплатить за наш обед в тот вечер. На следующий день отец отослал телеграмму в Стокгольм относительно денег, и мы вздохнули с облегчением.

Несмотря на то что Польша прекратила существование и Италия как союзница Германии признала этот факт, польское посольство в Риме продолжало функционировать вплоть до июня 1940 года, когда Италия сама вступила в войну. Это было большим везением для нас, потому что отец знал посла — когда — то служившего в легионе генерала кавалерии и верного последователя Пил- судского, Болеслава Виниавы Длугошовского, который имел репутацию ловеласа в Варшаве в предвоенные годы. Как я позже узнал из писем отца, именно присутствие Виниавы в Риме и послужило главной причиной того, что отец выбрал Италию как место нашей остановки. Отец провел много часов в посольстве на Виа Беккариа в разговорах с генералом, который очень много сделал для нас. Он выдал нам польские паспорта для дальнейшего путешествия, уладил отношения с итальянскими властями, представил отца американскому консулу в Риме и даже некоторым светилам высшего общества Рима, чьи аристократические титулы сильно впечатлили отца.

Как иностранцы мы были обязаны зарегистрироваться в полиции вскоре после приезда. Я сопровождал отца и господина де Спучес в управление полиции на Пьяцца дель Коллегио Романо, довольно мрачной площади около дворца Муссолини.

Строгого, вида фашистский полицейский, разглядывая наш латиноамериканский паспорт, высказался относительно имени моего отца: «Marco e un nome ebreo» (Марк — это еврейское имя), — объявил он. «Да неужели? — возразил отец. — А как же насчет Святого Марка?» На это тому нечего было ответить. Конечно, полицейский мог бы возразить, что Святой Марк был иерусалимским евреем, но для этого ему не хватало эрудиции. Он сообщил, что пойдет проконсультироваться с начальством. Отец, не теряя времени, позвонил в польское посольство. Дело было улажено, и мы получили разрешение на пребывание в Риме в течение трех месяцев, срок, который был в дальнейшем продлен.

Отец был убежден, что война вскоре распространится на всю Европу, и поэтому хотел, чтобы мы уехали за океан как можно скорее. Его выбор пал прежде всего на Канаду, потому что мы думали (как оказалось ошибочно), что эта страна была более «европейской» и, следовательно, там легче приспособиться, чем в Соединенных Штатах, о которых мы черпали сведения в основном из кино как о стране бешеной деятельности и вопиющих контрастов. Но Канада не приветствовала въезд иммигрантов, если у них не было значительных сумм денег. Начиная с 1920-х, Соединенные Штаты выдавали иммиграционные визы по странам в соответствии с квотами, которые дискриминировали восточных европейцев. В декабре 1939 года в Рим прибыл консул Экс и привез наши польские документы, которые мы не могли взять с собой при отъезде из Польши. Имея эти документы и приглашение от семьи Бюргеров, мы подали заявление на американские визы. Началось ожидание. Шесть последовавших месяцев как раз были периодом *sitzkrieg* (“ложной войны”), в течение которого союзники и немцы стояли друг против друга без движения на Западном фронте. Война шла на море, немцы оккупировали Данию и Норвегию, а русские воевали с финнами. Но в Италии легко было оставаться довольным жизнью. Фашистское правительство Италии мало напоминало нацистскую Германию или Советский Союз. Итальянцы не склонны к фанатизму, и многое из того, что называлось *тоталитаризмом* (термин, которым Муссолини с гордостью именовал свой режим), было на самом деле фарсом, который никто, включая самих фашистов, не принимал всерьез. Отец занимался различными сделками, о которых я ничего не знал. Тем не менее они очевидно приносили достаточно денег, что давало возможность скромно жить приблизительно на сто долларов в месяц, не используя наш основной капитал, который к тому времени был переведен в безопасное место — в банк в Нью — Йорке.

Через месяц мы переехали из пансиона в комнату в центре

города на Виа Раселла, 131, квартира 5. На этой улице в марте 1944 года итальянские партизаны напали на отряд немецкой военной полиции, в ответ немцы схватили первых попавшихся 335 гражданских лиц и расстреляли их в Ардеантинских пещерах. Это было убогое существование в неотапливаемом здании, почти как в трущобе. В письме к Бюргерам в январе 1940 года отец так описал нашу хозяйку:

Я вообще не сумел бы написать вам это письмо, если бы у моих ног не было электрического нагревателя. Я дрожу от страха когда думаю о том, что сделала бы хозяйка, если бы об этом узнала. Моего счета в американском банке не хватило бы, чтобы расплатиться с ней… Если бы я мог дать по физиономии этой неаполитанской ведьме, то сделал бы это с огромным удовольствием. Ее характер не так уж плох, но она говорит всегда на повышенных тонах, почти кричит; по утрам она особенно груба; у нее беззубая рожа и она как ведьма волочет хромую ногу; когда она берет в одну руку швабру, а в другую ведро, я хватаю пальто и выбегаю подышать холодным римским воздухом. Нашу жизнь здесь делает трудной именно квартира. Мы должны экономить и по этой причине живем довольно скромно.

К счастью, в марте мы переехали в более удобную квартиру на Виа Пьемонте.

С помощью польского посла отец раздобыл паспорта и транзитные визы для членов нашей семьи, оставшихся в Польше, и даже для моего друга Олека. Все это было отправлено различными путями в Варшаву.

Мы с Олеком регулярно переписывались, по крайней мере раз или даже два раза в неделю, иногда на польском, но обычно на немецком, чтобы письма быстрее проходили цензуру. Читая эти письма (а я их все сохранил), не чувствуешь, что в Польше происходило что — то необычное. Мой друг в основном жаловался на скуку, которую он пытался развеять, изучая греческий и итальянский, читая Пруста, Пиранделло и навещая друзей. Из его писем я делал вывод, что мое неожиданное удивительное исчезновение из оккупированной немцами Польши сделало меня в глазах моих друзей неким фантомом: они стали сомневаться, существовал ли я вообще. В начале апреля Олек получил все необходимые документы для выезда в Италию от венгерского туристического агентства «Ибуш». Он, а вернее его мать лихорадочно добивалась получения необходимых разрешений от германских властей. Для них имел значение каждый день, потому что мы не скрывали, что, получив американские визы, сразу уедем из Италии. Германское разрешение пришло, но к тому времени итальянцы прекратили

выдавать въездные визы, а немцы закрыли венгерское туристическое агентство, которое оформляло их документы для путешествия. Так что Олек остался в Варшаве, и ему предстояло испытать все ужасы холокоста.

Несмотря на то что мы часто переписывались с нашими родственниками и вопреки увещеваниям поторопиться, из усилий отца ничего не получилось. По той или иной причине никто не приехал: большинство из них погибли, а те немногие, кто выжил, прожили недолго после войны. Они были вымотаны физически и эмоционально.

Отец особенно беспокоился о своей сестре Розе, ее двух сыновьях и о своей матери — вдове. Когда началась война, муж Розы, Израэль Пфеффер, уехал из Кракова в Восточную Польшу, но партнер уговорил его вернуться и заняться их общим делом, шоколадной фабрикой «Пи- щингер». Роза с двумя сыновьями поселилась в маленьком городке в Галиции. Когда русские оккупировали Восточную Польшу, Пфеффер оказался отрезанным от семьи, хотя время от времени присылал им деньги, которые зарабатывал, помогая немцам управлять фабрикой. Отец отчаянно пытался помочь им приехать в Италию. Он умолял деверя перевезти Розу с детьми в германскую зону оккупации, откуда они могли бы выехать за границу. В январе 1940 года отец встретился в Риме с неким господином Штикгольдом, который сообщил ему, что его сын во Львове знал, как перейти границу между советской и германской зоной оккупации в Польше. Отец телеграфировал своей сестре, чтобы она связалась с этим молодым человеком, которого я знал, потому что мы в детстве учились в одной школе. Если бы отец переговорил со мной по этому вопросу, то я бы посоветовал ему не связываться со Штикгольдом, потому что даже в детстве он пользовался дурной славой лжеца. Мошенник попросил мою тетю отдать ему драгоценности в уплату за переход границы. Наивная женщина так и сделала.

В конце февраля пришла телеграмма из Львова, что является свидетельством тесных отношений между Советским Союзом и фашистской Италией, так как советская цензура пропустила ее. Прочитав телеграмму, мать попросила меня отнести ее отцу, который обедал в любимом венгерском ресторане около фонтана Треви. В телеграмме было написано (по немецки): «Штикгольд исчез с деньгами, отложила поездку на три недели. Беспомощна и без средств. Телеграфируй Львов, что дальше». Читая телеграмму, отец побледнел и вскоре слег на несколько недель. Телеграмма означала смертный приговор его сестре, матери и племянникам. Его мать умерла естественной смертью в мае следующего года, но

Розу и ее двух сыновей убили немцы, очевидно, в 1943-м. До этого они скрывались в каком — то маленьком городке близ Львова; можно предположить, что какой — нибудь поляк или украинец выдал их. Пфеффер продолжал работать на своем месте и даже послал отцу, после нашего приезда в Америку, рецепты приготовления шоколада. Но, сделав свое дело, новым германским владельцам он оказался не нужен и был вывезен в Освенцим; никаких известий о нем больше не было.

Корреспонденция отца того периода (а мать сохранила ее) полна писем из Польши, Румынии, Литвы и Советского Союза, молящих о помощи. Эти письма были написаны наивным кодом, как, например, «Арнольд жаждет увидеть Дика», что должно было провести цензоров. Отец отчаянно старался помочь, но в результате мало что получилось. Почему, я не знаю. В наше время американские граждане могут посещать большинство стран мира, когда им заблагорассудится, и сейчас трудно представить себе, что означало слово «виза» для нас, еврейских беженцев, во время войны: оно означало жизнь. Нечеловеческие усилия должны были быть потрачены, чтобы добиться разрешения на въезд в Бразилию, на Кубу или в Шанхай или чтобы получить хотя бы транзитную визу, которая не вела никуда, но давала временное убежище.

Со мной не советовались и ничего не обсуждали, я ни в коей мере не был вовлечен в эти трагические дела, поэтому жизнь в Италии мне казалась сущим раем. Не было школы, военной подготовки, Родонского, не было *ablativus absolutus* и Лимпопо. Я заполнял свои дни тем, что с удовольствием ходил по римским музеям, часто бывал на концертах, в опере и в кино. Я зарабатывал на эти дешевые удовольствия, собирая почтовые марки со всех концов света в польском посольстве и продавая их тор- говцу — филателисту, беженцу из Германии. Покупая билеты в кино, я заметил, что некоторые произносили слово *dopolavoro* и получали билет за полцены, платя одну лиру вместо двух. Не зная, что означает это слово, но желая сэкономить, я, подавая деньги за билет в кино, непринужденно говорил: «Dopolavoro». Только позже я узнал, что *Dopolavoro* («После работы») была фашистской профсоюзной организацией. То, что никто никогда не подверг сомнению мое притязание на членство, свидетельствует о расхлябанности диктатуры Муссолини.

В Риме почти совсем не было иностранных туристов. В Сикстинской капелле, где в наши дни так много людей, что едва можно видеть фрески, тогда было не больше двух посетителей одновременно. Я побывал в каждом музее или галерее, а в некоторых не один раз, делая много подробных записей. Часами просиживал я в немецкой библиотеке искусства, находившейся на

площади, венчающей Испанскую лестницу. Там я собирал материалы для книги о Джотто, которую хотел написать. Через моих родителей я познакомился и подружился с молодой польско — еврейской женщиной, прибывшей в Рим из Шанхая в надежде вызволить свою дочь из Польши. Мы провели много времени вместе, посещая музеи, она была моей неизменной спутницей, и когда с ней случился нервный срыв, мне было очень тяжело. У меня были конфликты с отцом относительно моего будущего. Он беспокоился, что в бурлящем мире, в котором мы жили, я пропаду без надежной профессии или бизнеса. В дневнике того времени я нахожу следующую запись, датированную 21 декабря 1939 года:

Я отвергаю утверждение отца, что немыслимо, чтобы я стал ученым, и что со временем я должен буду сменить его на какой — нибудь «шоколадной фабрике» в Канаде. «Es kommt ausser Frage» (это совершенно невозможно), «kommt nicht in Betracht» (это не подлежит обсуждению) — вот что он мне заявляет… Но я знаю, что я буду решать за себя, я буду делать так, как считаю нужным.

Сейчас мне кажется, что у меня остались лишь самые приятные воспоминания о семи месяцах, проведенных в Италии. Но если судить по моему дневнику, который я вел урывками, то создается впечатление, что я был далеко не так счастлив, страдая от одиночества, тоски по родине; я скучал по моим друзьям и беспокоился о будущем.

Я узнал, что во Флорентийском университете предлагали специальные курсы для иностранцев по итальянскому искусству и культуре, и уговорил родителей разрешить мне записаться на них. Впервые в жизни я должен был жить самостоятельно. В середине марта мать поехала со мной во Флоренцию и нашла для меня комнату в квартире у одной еврейской женщины на Виа деи Бенчи, недалеко от церкви Санта Кроче, где находились великолепные фрески Джотто. К тому времени я уже достаточно понимал по — итальянски, чтобы посещать лекции. У меня не появилось близких приятелей, и когда меня настойчиво расспрашивали, я говорил, что я из Латинской Америки. Как — то раз во время лекции о влиянии итальянской литературы за границей один из студентов поднялся и заявил, что в аудитории есть студент из Латинской Америки. «Великолепно, — сказал мне профессор после лекции, когда ему представили меня. — Непременно приходите ко мне и расскажите о литературе в вашей стране».

После этого случая я перестал ходить на лекции. Вместо этого я проводил все свое время один: разглядывал флорентийские церкви, музеи и бродил по холмам, окружающим город. Была весна и все цвело. Жил я очень скромно. Мой обед

день за днем состоял в основном из макарон с кусочками мяса, апельсина на десерт и бокала вина, что создавало слегка веселое настроение. За это я платил семь лир (25 американских центов). Мои завтрак и ужин стоили пять лир в день, а плата за комнату составляла 120 лир в месяц. Это дает представление о том, какая в мире произошла инфляция за последние 60 лет: 700 лир давали мне возможность жить целый месяц, а сегодня их не хватит даже на чашечку эспрессо. Я следил за новостями о войне, читая *Osservatore Romano*, официальную газету Ватикана, которая была довольно объективной.

В квартире, где я жил, была еще семья беженцев из Германии, дантист с женой и дочерью. Я никогда не рассказывал им, кто я и откуда, но они, без сомнения, догадывались. Почти 60 лет спустя мне случайно попал в руки справочник о еврейских дантистах из Берлина. Я нашел имя моих знакомых и с облегчением узнал, что им удалось добраться до Сомали, а оттуда перебраться в Палестину.

Итальянское правительство ощущало постоянное давление со стороны Германии. Союзник требовал, чтобы проводились в жизнь антиеврейские законы, которые в основном игнорировались. В апреле 1940 года власти начали применять распоряжение, запрещающее евреям сдавать в аренду недвижимость. Мне пришлось съехать. Я снял комнату в маленьком пансионе по адресу Lungarno delle Gra- zie 10. Там были еще два постояльца — французская студентка и итальянский офицер в запасе. Мы обедали вместе. Как — то раз офицер сказал, что если его правительство прикажет воевать против Франции, он сложит оружие и сдастся. Я был ошарашен: в Польше, не говоря уже о нацистской Германии или советской России, подобное заявление, если бы о нем узнали власти, означало бы арест и расстрел офицера. Здесь же ничего не случилось.

Несмотря на то, что в Европе продолжалось относительное спокойствие, отец был полон решимости вывезти нас как можно скорее. В нашей семье только я мог немного изъясняться по — английски. И в конце апреля отец попросил меня сопровождать его в Неаполь, чтобы уговорить американского консула выдать нам визы. Наша просьба была отклонена, нам сообщили, что наша очередь подойдет в июне. «I am sorry» (мне очень жаль), — сказал чиновник американского консульства, когда мы уходили; я впервые услышал это выражение.

События в Европе приближались к развязке. 10 мая я прибежал домой рассказать французской студентке, что немцы напали на Бельгию и Голландию. Она собралась и немедленно

уехала домой. Два дня спустя пришла телеграмма от родителей; они просили меня вернуться в Рим. По — моему, им сообщили из американского консульства в Неаполе, что наши иммиграционные визы будет готовы 1 июня. 13 мая я вернулся и провел остаток месяца на Виа Пьемонте. Германские армии снова продвигались вперед с необыкновенной скоростью. Голландцы капитулировали 14 мая, бельгийцы 26-го, к началу июня немцы продвинулись вглубь Франции, а союзники отступали по всему фронту. Ожидалось, что Муссолини присоединится к Гитлеру и вступит в войну.

3 июня мать уехала в Неаполь за нашими американскими визами. Незадолго до этого отец получил испанские транзитные визы. В атмосфере растущей военной лихорадки добраться до Испании было трудно, но отец каким — то образом сумел достать два билета на небольшой самолет до Лас — Пальмас на испанских Балеарских островах. Было решено, что, так как мы с ним призывного возраста и могли быть задержаны в случае войны, мы полетим на самолете, а мать последует за нами на пароходе.

5 июня мы с отцом улетели в Испанию. Как раз вовремя, потому что, как мы узнали позже, именно в этот день британским и французским гражданам было запрещено покидать Италию, чтобы иметь возможность удерживать их в качестве заложников; не было никаких гарантий, что нам позволили бы уехать. Мы поехали в аэропорт на такси, взяв с собой как наши латиноамериканские, так и польские паспорта, потому что не были уверены, что итальянские власти зарегистрировали нас как латиноамериканцев. (На польских паспортах были проставлены как испанские, так и американские визы, в то время как на латиноамериканском — только испанская транзитная виза.) Отец попросил меня подкрасться к клерку, сидевшему за стойкой у прохода на посадку, и посмотреть незаметно на список пассажиров, для того чтобы узнать, было ли проставлено гражданство возле наших имен. Когда я подал сигнал, что гражданство не указано, друзья, провожавшие нас, забрали у матери сумку с апельсинами, где был спрятан наш фальшивый паспорт. После войны друзья сообщили нам, что несколько дней спустя на Виа Пьемонте пришла итальянская полиция арестовать нас.

Самолет поднялся в воздух, и вскоре мы приземлились в Лас — Пальмасе. Когда мы сошли с трапа, отец поднял шляпу и закричал: «Viva Italia!», итальянский пилот, очевидно, принимая его за испанца, ответил: «Viva Espana!» В тот же вечер мы сели на корабль, идущий в Барселону. На нем было много недавно

выпущенных из плена и возвращавшихся домой военнопленных республиканцев. Я разговорился с одним из них. В Барселону мы прибыли 6 июня.

Тем временем мать с багажом и нашей собакой Коко добралась до Генуи и 6 июня села там на корабль «Франка Фассио», который следовал в Барселону. Перед отплытием она спасла польско — еврейского знакомого. Его собирались снять с корабля как молодого человека призывного возраста, а она притворилась его невестой. Итальянский чиновник хотел знать, кто мог подтвердить их отношения. Мать назвала имя польского посла в Риме. Ему таки позвонили. Виниава сразу сообразил, в чем дело, и выразил удивление, что мать и молодой человек до сих пор еще не поженились. В результате молодого человека оставили в покое. Корабль, на котором плыла мать, причалил на следующий вечер (7 июня). Судя по нежным прощаниям, мать успела подружиться с половиной пассажиров на корабле.

В Испании мы провели две с половиной недели. Мало что осталось в моей памяти об этом периоде, лишь сообщение о капитуляции Франции и то, как мы слушали речь Черчилля на ломаном французском, в которой он предлагал Франции союз с Великобританией. Мы покинули Испанию 24 июня и отправились в Португалию, где надеялись найти корабль, направляющийся в Соединенные Штаты. К тому времени как мы добрались до Лиссабона, потоки беженцев уже прибывали из Франции, и все они преследовали одну и ту же цель: попасть в Америку. Американские пассажирские корабли отдавали приоритет гражданам США, и было крайне трудно найти корабль, чтобы переплыть Атлантику. Наконец нам удалось получить места на маленьком греческом судне *Nea Hellas*, которое прибыло из Нью — Йорка и следовало в Афины, но Италия вступила в войну и Средиземное море превратилось в военную зону Поэтому судно возвращалось обратно в Нью — Йорк, не совсем заполненное пассажирами. Мы взошли на корабль 2 июля и отплыли на следующее утро. Мы путешествовали третьим классом, это были самые дешевые места: еда была едва съедобная (одно блюдо в меню, которое я сохранил, называлось *Chou ndolma Horien- tale),* а вино отвратительное. На борту было довольно много греков, которым не позволили остаться в Соединенных Штатах, и они не расстраивались, что корабль возвращался. Самым знаменитым пассажиром был Морис Метерлинк — известный поэт и драматург конца XIX века, в наше время забытый и не читаемый. В хорошую погоду он сидел на палубе первого класса, прикрыв голову сеточкой для волос. Я получил от него автограф. Хотя была опасность, что немецкая субмарина остановит нас для

обыска, плавание прошло без инцидентов.

11 июля 1940 года мы причалили в Хобокене, штат Нью — Джерси. В этот день мне исполнилось 17 лет.

Колледж

Наши представления о Соединенных Штатах были настолько искажены, что когда отец, спускаясь по трапу, увидел на берегу человека, опиравшегося о фонарный столб, он сказал с облегчением, что, возможно, эта страна не настолько лихорадочна, как он полагал. Осей Бюргер встретил нас в Хобокене, и, проведя день в Нью — Йорке, мы отправились поездом в Трою, штат Нью — Йорк, где у Бюргеров была ферма.

Я примерно знал, чего ожидать от Нью — Йорка, и больше всего меня поразили не высота зданий или обилие машин — все это было известно из американских фильмов, — но тот факт, что в сопровождении моего спутника, сына друзей Бюргеров, я мог войти в фойе гостиницы «Волдорф — Астория» или зайти в музыкальный магазин и в маленькой кабинке прослушать любую выбранную мною пластинку классической музыки. На вокзале «Гранд — Сентрал» перед отправлением я подошел к газетному киоску купить какое — нибудь издание о высшем образовании. Я сказал: «Колледж, информация о колледже, пожалуйста». Продавец посмотрел озадаченно, но после минутного раздумья продал мне номер журнала *College Life* («Жизнь колледжа»), который был предшественником журнала «Плейбой».

Остаток лета мы провели на ферме. На сеновале, где мы с Джоном спали, мне как — то раз попал в руки том *Who's who in America* («Кто есть кто в Америке») 1914–1915 года издания. В конце книги я обнаружил более ста страниц рекламы различных школ и колледжей. Это было то, что надо: названия и адреса учебных заведений. Я купил сотню дешевых открыток и с помощью знакомого напечатал одинаковые запросы во многие колледжи. Я сообщал о том, что я беженец, у меня ограниченные финансовые ресурсы, но я очень хотел бы поступить в колледж. Мне нужны стипендия и гарантия трудоустройства. Я не знал, какая разница между Гарвардом и маленьким сельским колледжем. Из большинства колледжей я не получил ответа, некоторые ответили отрицательно, но из четырех пришел ответ, на который я надеялся: это были Батлер — колледж в Индианаполисе, Теннессийский университет, Ерскин — кол- ледж в Южной Каролине и Маскингум — колледж в Огайо. У меня не было критериев, по которым я мог бы сделать правильный выбор. Что склонило меня в пользу Маскин- гума, это рекламная карта на всю страницу в книге «Кто есть кто?» На этой карте они так изобразили свое расположение в Нью — Конкорде, Огайо, как будто это был reoipa- фический центр Соединенных Штатов.

Отец был недоволен тем, что я собирался уехать учиться в колледж, потому что хотел, чтобы я помогал ему в его новом бизнесе. Теперь я понимаю его лучше, чем тогда, когда любая оттяжка с получением образования казалась мне непомерным упрямством с его стороны. У меня были высокие, хотя и нечетко сформулированные устремления: я совершенно не знал, чем хочу заниматься в жизни, но был абсолютно уверен, что «делать деньги» не моя цель. Я чувствовал, что Бог спас меня от ада оккупированной немцами Польши для какой — то более высокой цели, чем просто выжить или жить в свое удовольствие. Это чувство меня никогда не покидало. Если бы отец поговорил со мной с глазу на глаз и объяснил, что он понимает и разделяет мое стремление учиться, но что в данных обстоятельствах моя помощь необходима, то я, возможно, и уступил бы, по крайней мере на какое — то время, на год или больше. Но в нашей среде отцы не относились к сыновьям — подросткам как к взрослым людям.

7 сентября 1940 года я уехал на автобусе в Огайо. На следующий день, в воскресенье утром, я прибыл в Нью- Конкорд. Территория колледжа была совершенно пуста, так как буквально все обитатели колледжа, да и городка, находились в церкви. Я поселился в местной гостинице и прошелся по городку. Здания из красного кирпича, некоторые были построены еще в середине XIX века, расположились на склонах холмов, украшавших ландшафт. Все это производило приятное впечатление, но простенький колледж ни в коей мере не походил на Варшавский или на Флорентийский университет. Что меня больше всего удивило, так это надпись, выгравированная над входом в одно из зданий колледжа. Это был отрывок из книги Исход, где Бог обращался к Моисею: «Сними обувь твою с ног твоих; ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Мне пришла в голову мысль, что, возможно, я по ошибке попал в теологическую семинарию. Но позже в тот же день вице- президент колледжа встретился со мной и провел меня по кампусу, и все показалось вполне нормально.

Как оказалось, мой выбор был великолепен. Мас- кингум был, конечно, не Гарвард, да и не притворялся таковым, но для меня он был намного более подходящим местом, чем какой — нибудь другой колледж, по двум причинам. Во — первых, он был небольшим. В нем учились семьсот студентов, соответственно было немного преподавателей, и это означало, что я не терялся в толпе. Я был предметом любопытства, потому что, кроме польской девушки, поступившей сюда до войны, я был единственным европейцем. Довольно быстро я познакомился с

большинством студентов и знал их имена, а они знали меня. Вторая причина заключалась в том, что я был очень беден: весь мой гардероб состоял из двух костюмов и четырех рубашек, что сделало бы меня посмешищем в более престижном университете. Вскоре меня взяли под свою опеку студенты, преподаватели и администраторы, и я провел в этом колледже два с половиной счастливых года.

Для европейца приезд в центральную часть Огайо в 1940 году был шагом назад, в XIX век: взгляды здешних людей и их ценности соответствовали взглядам европейцев до Первой мировой войны. Ощущалась некая стабильность, какой я никогда раньше не испытывал. То, насколько Европа была далека от этих людей, можно было понять из замечания одной умной и симпатичной девушки, с которой я встречался. Она сказала, что была рада встретить меня особенно потому, что, даже зная, что Европа существует, в душе в этом сомневалась. Кроме президента колледжа и нескольких преподавателей, никто не бывал в Европе. (Когда я снова посетил Маскингум в 1988 году для получения степени почетного доктора, большинство преподавателей и многие студенты бывали в Европе, причем некоторые не раз.) Мои истории о войне слушали благосклонно, но скептически. Одна из причин заключалась в том, что в подавляющем большинстве жители были республиканцами, а республиканцы в то время поддерживали политику изоляционизма Америки. Но помимо политических пристрастий, они верили, что человек добр, и их невозможно было убедить, что немцы были воплощением зла, как я их описывал. Один раз мне напомнили, насколько (якобы) фальшивыми оказались истории о немецких бесчинствах в Бельгии во время Первой мировой войны. Стало известно, что я читал Ницше, так как я часто бравировал этим фактом, производившим на всех сильное впечатление. Как — то раз вице — президент колледжа увидел, как я шел по кампусу, и предложил подвезти меня. Когда мы приехали, он принялся читать мне нравоучение. Он сказал, что несмотря на мои невзгоды я не должен терять веры в человечество, что люди в основном хорошие, а жизнь справедливая. Он закончил словами: «Так что вам не следует читать Ницше». Но к тому времени я уже перестал его читать.

В течение пяти семестров в Маскингуме я имел возможность наблюдать множество различий между Америкой и Европой.

Примечательное отличие было в том, что молодые американцы планировали свою жизнь с уверенностью, которую европейцы моего поколения считали неоправданно донкихотской и наивной; казалось, они жили будущим, а мы одним днем.

Просматривая журнал «Форчун», я обратил внимание на рекламу страховой компании из штата Мэриленд, которая гласила: «Непредвиденные события не должны изменять или нарушать дела и планы людей». «Да неужели? — подумал я. — Тогда почему же события, совершенно изменив ход *моей* жизни, привели меня из Варшавы сюда, в Нью — Конкорд?» Подразумевалось, что деньги могут предотвратить нежелательные изменения в жизни человека, но опыт научил меня, что деньги не решают все проблемы. Молодые американцы, казалось, шли в заранее известном направлении по жизни, в то время как мы плыли по течению, убежденные в том, что в противном случае потонем.

Кроме того, была огромная разница в отношениях между полами, которая неким образом тоже была результатом господствующего чувства уверенности в завтрашнем дне. Эти отношения регулировались строгими правилами и были нацелены на помолвку и брак. К третьему свиданию девушки обычно — более или менее открыто — ставили вопрос о моих намерениях. Моей реакцией была паника: в 18–19 лет брак был на последнем месте среди моих приоритетов. Как правило, если девушка получала неудовлетворительный ответ, то прекращала отношения. Отношения с девушками в Польше были более товарищескими; речь о браке не заходила, пока человек не становился зрелым. Одна из причин, по которой я позднее женился на моей будущей жене, заключалась в том, что она в течение двух лет нашего знакомства никогда даже не намекала на брак (она вышла из такой же культурной среды, как и я): мы были друзьями задолго до того, как стали возлюбленными. Вообще я находил американок всех возрастов намного менее уверенными в своей женственности, чем женщины в Европе. Они чрезвычайно стремились нравиться и угождать мужчинам, в то время как европейские женщины ожидали от мужчин, что они будут ухаживать за ними и делать им приятное. Феминизм, который появился в конце 60-х, только усилил эту неуверенность американок в себе, потому что относиться ко всем мужчинам как к потенциальным насильникам означает лишь, что женщина не имеет ни малейшего представления, как строить с ними отношения.

К концу второго курса я влюбился. Она была на год или два старше меня и играла на фортепьяно. Но и с ней тоже все пошло по известному сценарию: как — то раз вечером она спросила меня, что я думаю относительно брака. Когда я ответил, что не задумывался об этом, у нее по щеке прокатилась слеза. Летом ее письма стали приходить реже, звучать холоднее и к осени, когда я

вернулся к третьему курсу, мы перестали встречаться.

В то время общественная жизнь в Америке была насыщена нравоучениями. Что прилично, что можно и чего нельзя делать, что человек должен думать о важных вещах — все это было предписано и упорядочено. Наряду с полной свободой слова, которой американцы могли гордиться, они испытывали колоссальное давление, требующее подчинения принятым стандартам, и с этой точки зрения у американцев было меньше личной свободы, чем у европейцев. То, что позже стало называться политкорректностью, было присуще американской культуре уже тогда. Я не обижался на вице — президента колледжа за то, что он советовал мне оставить чтение Ницше, потому что знал, что он желает мне добра, но я не мог себе представить, чтобы какой — нибудь европейский профессор посчитал возможным оказывать такое давление. Но за этим скрывалась искренняя забота о людях, осознание того, что происходящее с другими имеет значение, — такого я не встречал в Европе, где доминировала философия о том, что человек должен сам заботиться о себе. Все это существенно изменилось в 60-е, как и отношения между полами. Я скорее предпочитаю прежнюю американскую культуру, до того как она стала такой гедонистичной. Но ведь еще Ницше предсказал, что пуританство закончится нигилизмом.

В области человеческих отношений меня ожидал еще один сюрприз. Там, откуда я родом, если незнакомые люди не были грубыми и враждебными к вам по какой- либо конкретной причине, например из — за этнических и религиозных предрассудков, то их отношение было корректным, но холодным. Дружелюбие распространялось только на друзей. В Соединенных Штатах правила хорошего тона требовали дружелюбного отношения ко всем. Когда я приехал в Ныо — Конкорд, один из старшекурсников предложил мне помочь устроиться. Он показал мне кампус, проводил в небольшой дом, где мне предстояло жить в течение первого курса, и ответил на многие вопросы о колледже и жизни студентов. Я очень обрадовался, что нашел друга, и так быстро, но когда он повстречался мне через несколько дней, то вел себя холодно и сдержанно, и мы в дальнейшем не поддерживали отношений. Как я потом понял, в администрации просто попросили его помочь мне, попавшему в новые условия иностранному студенту, и он сделал это любезно, но при этом не проникся ко мне никакими чувствами. Я же неправильно расценил его поведение и почувствовал себя оскорбленным.

Впоследствии я понял, что быть дружелюбным ко всем без различия считалось добродетелью потому, что так легче и

приятнее идти по жизни, и со временем сделал вывод, что, действительно, ни к чему не обязывающая улыбка намного предпочтительнее сердитого ворчания, пусть и обоснованного. Но я также пришел к выводу, что показная поверхностная любезность ко всем без разбора препятствует установлению более тесных человеческих отношений. Такая близость, которая возможна по отношению к одному или нескольким верным друзьям, была недостижима в стране, где моделью отношений, по крайней мере среди мужчин, были отношения «приятелей», а выражающие их американские слова *pal, buddy* не имеют эквивалента в польском языке.

История и ораторское искусство были моим «коньком». Маскингум был известен как колледж с хорошей командой ведения дебатов. Я вступил в нее и принял участие в нескольких дебатах по текущим проблемам, что научило меня выступать публично. Также я вступил в команду пловцов брассом, но не был достаточно силен для плавания баттерфляем. Мои оценки были вполне хорошими, на уровне четверок, и они мне доставались с минимальными усилиями. Самым главным моим достижением в колледже было овладение английским языком. К концу первого семестра я уже писал вполне приличные эссе; ошибки делал главным образом в употреблении времен глаголов и эту проблему я не сумел решить полностью до сих пор.

Атмосферу общения в Маскингуме можно охарактеризовать скорее как приятную, чем интеллектуальную. Молодые люди шли учиться в колледж, чтобы получить профессию, найти спутника жизни и провести четыре приятных года прежде, чем им придется начать зарабатывать на жизнь и заботиться о семье. Несколько раз я попадал в затруднительное положение из — за своей учености и приверженности идеалам, не имевшим отношения к повседневной жизни. В один из семестров я записался на курс по истории европейского искусства, который вел куратор музея. Как — то раз он показал на экране слайды картин и предложил нам назвать художников. Я произносил имена безошибочно, назвав почти каждого из них: Веласкес, Вермеер, Тьеполо и так далее. После одного занятия признанная красавица колледжа, в которую я был немного влюблен, спросила меня, улыбаясь: «Дик, а ты правда знаешь всех этих художников?» Я, право, не знаю, какого ответа она ожидала, но я сказал: «Конечно, нет, я просто удачно угадал».

Я прочитал «Тонио Крюгер» Томаса Манна и обнаружил мое сходство с главным героем и его чувством одиночества, вызванным артистическим темпераментом. В ноябре 1940 года я написал Томасу Манну письмо (к сожалению, я не сохранил

копии), в котором спрашивал его, что он имел в виду в этом рассказе. Он ответил дружелюбно и обстоятельно. В ответе из Принстона, Нью Джерси, датированном 2 декабря 1940 года, он писал:

Когда я писал рассказ, я представлял себе Тонио не человеком, стоящим ниже двух своих друзей, а человеком, превосходившим их. Он чуждался простой и обыденной жизни своих друзей, но на самом деле почти завидовал такой жизни. Однако, несмотря на то, что его зависть была окрашена сожалением оттого, что он был чужаком в такой жизни, он глубоко осознавал глубину и предназначение своей собственной жизни как художника.

Я нашел эти ремарки ободряющими.

Я зарабатывал на жизнь: сначала косил траву, подбирал мячики на теннисных кортах, а позже получил работу в библиотеке за минимальную тогда зарплату — 35 центов за час, Я должен был надписывать номера полок на корешках книг «электрическим пером». Но этих заработков не хватало. Отец отправил меня в колледж, вручив 300 долларов. Принимая во внимание, что он начинал новый бизнес и ему был нужен каждый цент, это была значительная сумма, но он ясно дал понять, чтобы я не рассчитывал на большее. Маскингум назначил мне стипендию в 200 долларов в год. По мере приближения второго семестра мое положение становилось отчаянным, так как мне были необходимы еще 200 долларов. Кто — то посоветовал мне написать в Международную организацию помощи студентам в Нью — Йорке. Я послал письмо с описанием своего затруднительного положения и получил с обратной почтой чек на 100 долларов! Это была манна небесная, дававшая мне возможность продолжить образование. Следующей осенью я получил 210 долларов из того же источника. Два года подряд летом я работал. В 1941 году продавал сигареты и сладости в магазине в Эльмире, штат Нью — Йорк, где мои родители открыли небольшую шоколадную фабрику («У Марка: лавка сластей»). Я работал 50 часов в неделю за 17 долларов 50 центов плюс иногда комиссионные. На следующее лето я работал шофером в компании «Крафт», развозя сыр по магазинам на грузовике. Мне это нравилось, потому что я работал один и проводил две ночи в неделю в дороге. В течение учебного года я зарабатывал дополнительные средства, читая лекции в окрестных церквях, в клубах «Рота- ри» и так далее о моей жизни в Польше во время войны, за что получал гонорар обычно в размере 5 долларов.

Судя по моим письмам родителям, я был поражен теплотой людей и веселой атмосферой в Маскингуме. «Здесь так здорово,

что вы даже не можете себе представить», — писал я родителям некоторое время спустя.

Армия

Вечером 21 июня 1941 года — я был тогда дома в Эльмире — радио прервало передачи сообщением о том, что Германия напала на Советский Союз. Год спустя, уже после Перл — Харбора, меня попросили еженедельно писать колонку политического и военного анализа в студен ческой газете в Маскингуме. Это были мои первые публикации и, перечитывая их, я нахожу, что они не плохи.

Я следил за военной кампанией в России с огромным интересом. Я сомневался в возможности победы русских, и первые месяцы войны на Восточном фронте подтверждали мои самые худшие опасения. Хотя мне суждено было посвятить свою жизнь изучению России и преподаванию ее истории, в то время у меня не было к ней интереса, и я почти ничего о ней не знал. Когда я жил в Польше, Россия была отделена от нас непроницаемой стеной. Я знал лишь, что двое из братьев матери женились на русских женщинах и жили в Ленинграде. Время от времени они писали бабушке, но я ничего не знал о их жизни. В конце 1930-х до меня доходили смутные слухи об ужасных событиях, происходивших в Советском Союзе, но я не имел ни малейшего представления о том, что происходило на самом деле, да и не очень стремился выяснить. Однако я узнал с изумлением, что на русско — польской границе русские провели вспаханную и заминированную полосу, охраняемую полицейскими с собаками.

После Перл — Харбора и объявления Гитлером войны Соединенным Штатам, Америка оказалась союзником Советского Союза. Интерес к этой стране колоссально возрос. Осенью 1942 года меня осенило, что благодаря некой схожести между польским и русским языком я мог легко выучить русский. Тут же я купил русскую грамматику и словарь и начал изучение языка самостоятельно. Мне кажется, что подсознательно я рассчитывал на то, что знание русского языка окажется весьма полезным в случае (а это казалось неизбежным), если меня призовут в армию.

Осенью 1942 года, в начале первого семестра третьего курса я попытался вступить в армию. В колледже мне стало не по себе, когда в мире происходили такие события. Увы, мне сообщили, что я не мог пойти добровольцем, так как был иностранным гражданином. Я должен был ожидать призыва. Призывная повестка пришла в январе, и уже в следующем месяце я вступил в ряды Военно — воздушного корпуса армии в Колумбусе, штат Огайо.

Прежде всего в американской армии меня удивило качество

еды: на завтрак нам давали апельсиновый или грейпфрутовый сок, яичницу или омлет, поджаренный хлеб или булочки. Позже в том же году, уже на другой базе, нам дали на десерт в День благодарения различную выпечку, включая торт безе с мороженым под названием «Аляска». После непродолжительного пребывания в Колумбусе мы вместе с сотнями других новобранцев отправились на поезде в неизвестном направлении. Поезд тащился целый день и целую ночь и наконец остановился в чистом поле, как потом выяснилось — в северной части Флориды. Военно — воздушный корпус расположился здесь в огромном палаточном городке, где я провел несколько недель, прежде чем меня перевели в элегантный отель «Виной» в Сэйнт — Петерсбурге, штат Флорида, для прохождения военной подготовки. Без отлагательств я получил американское гражданство. Военная подготовка не занимала много времени, и я в свободное время ходил на пляж.

В то время как других молодых людей из моей роты направили учиться в различные специализированные школы, меня никуда не отправляли, скорее всего потому, что командованию требовалось время, чтобы получить информацию обо мне в целях оформления допуска.

Как — то раз в мае я увидел объявление Армейской специализированной программы подготовки (АСТП), согласно которой солдат распределяли по колледжам и университетам для изучения как иностранных языков, так и инженерного дела. Одолжив дневной пропуск у приятеля, я отправился в офис АСТП в Сэйнт — Петер- сбург, чтобы подать заявление. По дороге обратно мне захотелось зайти в бар выпить пива, хотя у меня не было привычки ходить по барам. Краем глаза я увидел, как двое из военной полиции зашли в бар. Они попросили меня показать документы, что я и сделал, но я не знал наизусть номер пропуска, и меня под конвоем привели обратно в мою гостиницу Сержант приговорил меня к неделе работ по вечерам в так называемой кухонной полиции — КП. В тот же вечер я явился в гигантскую кухню гостиницы и получил приказ драить плиты. Разговорившись с поваром, я узнал, что он поляк. Когда выяснилось, что я тоже из Польши, он заявил, что можно забыть о наказании. Следующую неделю по утрам я запирался в туалете и читал. В таком неудобном положении я прочел основные романы Синклера Льюиса, которые взял в армейской библиотеке.

Наконец в июле я получил приказ прибыть в «Цитадель», военную школу в Чарльстоне, штат Южная Каролина, служившую местом распределения слушателей АСТП. Мне предписали изучать русский язык. Так как у меня был выбор из нескольких

университетов, я выбрал Корнелльский университет в Итаке, штат Нью — Йорк, потому что он был расположен недалеко от Эльмиры, где жили мои родители. В университет я прибыл в сентябре 1943 года и провел там следующие девять месяцев.

Нас учили знаменитые преподаватели, в большинстве своем русские эмигранты, среди них Марк Вишняк, который в 1918 году был секретарем Учредительного собрания, а впоследствии редактором известного эмигрантского русского журнала в Париже. Физик Дмитрий Гав- ронский представил меня Альфреду Веберу. АСТП впервые ввела метод полного языкового погружения при изучении иностранных языков. Наши преподаватели разговаривали с нами только по — русски. Первая фраза, которую мы выучили, была: «Где уборная?» На лекциях все следовали этому принципу и говорили по — русски, но я не могу сказать, что мы выполняли это требование и говорили по — русски в общежитии, которое располагалось в здании бывшего студенческого клуба, называемого «братством». Большинство студентов ничего не выучили, кроме нескольких фраз или слов. Преподаватели языка были ярыми противниками коммунизма, но держали свои чувства под контролем. Преподавание истории и политологии, однако, было поручено коммунистам. Одним из них был Владимир Казакевич, который после войны эмигрировал в СССР; другим — Джошуа Куниц. Они не скрывали своих политических симпатий. Студенты русской программы, а нас было около шестидесяти, были настроены вполне дружелюбно по отношению к Советскому Союзу, некоторые по идеологическим мотивам, но большинство по причине симпатии к союзнику, который сокрушал армии вермахта. Но даже они не смогли вынести пропаганды, которой пичкали нас Казакевич и Куниц. Их обоих буквально выгнали из аудитории.

Я освоил азы русского языка за три месяца. Впервые в жизни я действительно сознательно работал над предметом, а остальное время посвящал другим делам. Мой приятель научил меня, как проявлять и печатать фотографии, и я провел много часов в проявочной. В музыкальной комнате я слушал пластинки с записями классической музыки. Много времени я проводил в библиотеке, читая и переводя Райнера Марию Рильке, которого я для себя недавно открыл. Кроме того, я встречался с девушками.

Директором русской программы АСТП при Кор- нелльском университете был Чарльз Маламут, профессиональный переводчик. Именно он перевел на английский язык биографию Сталина, написанную Троцким. Как — то вечером Маламут принес в общежитие портативный фонограф и поставил для тех из нас, кто был польского происхождения (а мы жили в одной

комнате), запись приятного женского голоса, читавшего отрывки из поэмы «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича. «Кто это читает?» — спросили мы. Он ответил, что в Корнелле учатся две польские девушки, и назвал их имена. В то время моим лучшим другом был Казимир Кроль, высокий поляк, немного старше меня, имевший успех у девушек, но человек весьма меланхоличный. Он пригласил одну из девушек на свидание, выбрав ту, что была повыше. Это была Ирен Рот, моя будущая жена. Я пригласил на свидание другую девушку, ту, что читала на пластинке. Мы вчетвером пошли в кино и в молочный бар. Ни та, ни другая девушка не произвели на меня сильного впечатления. Но и мы их тоже не заинтересовали. Ирен записала в тот день в своем дневнике, что если бы ей пришлось выбирать между нами, то она выбрала бы того парня, который пригласил ее на свидание.

Но вскоре мы с Ирен стали тянуться друг к другу. В нашем прошлом было много совпадений. Наши матери были родом из Варшавы, а отцы из Галиции, и наши семьи были шапочно знакомы. Кроме того, мы оба изучили немецкий раньше, чем польский. В Варшаве мы жили почти на соседних улицах и с удовольствием вспоминали дни рождения, на которых мы бывали детьми. Семья Ирен бежала из Польши в первую неделю войны, пробравшись в Литву, а из Литвы в Швецию. Оттуда, с помощью старшего брата отца, жившего в Соединенных Штатах, в январе 1940 года они эмигрировали в Канаду. Вскоре после этого они переехали в Нью — Йорк. В Кор- нелльском университете Ирен изучала архитектуру. В наше первое свидание мы пошли на сольный концерт Рудольфа Серкина. В течение всего концерта она делала какие — то заметки на программке и передавала их мне, и эта привычка осталась у нее на многие годы. Мы вместе слушали пластинки классической музыки и занимались фотографией. Как — то раз я взял ее с собой в Эльмиру познакомиться с моими родителями. С первой же встречи она им очень понравилась.

В начале июня 1944 года у нас была церемония торжественного окончания АСТП, и я выступил с прощальной речью на русском языке. Мы ожидали, что нас пошлют в Школу кандидатов в офицеры, чтобы там вручить нам офицерский чин. Но получилось все по — другому. 6 июня англо — американские войска высадились во Франции, и вооруженным силам срочно требовалось пополнение. Мы узнали, что, вместо того чтобы послать нас в Школу кандидатов в офицеры, как было обещано, нас распределят по различным дивизиям пехоты для военной подготовки. Меня распределили в 310-й пехотный полк при семьдесят восьмой дивизии «Молния», расквартированной на базе

Камп — Пикет, штат Виржиния. Это была огромная военная база около Ричмонда. День отъезда был для меня весьма печальным.

Мне кажется, что в американской армии к людям в военной форме относились как к взаимозаменяемым единицам, словно это были части некой машины. Но солдаты воюют не только за свою страну, но еще больше за своих товарищей, особенно в таких небольших частях, как взвод, где не более двадцати пяти человек. Чувство товарищества — это необходимая составляющая в любой успешной военной организации. Все солдаты 78-й дивизии были отправлены в Англию тремя месяцами ранее для пополнения тех частей, которые должны были участвовать в высадке во Франции, в то время как офицеры и сержанты оставались на базе. Дивизия, в которую меня направили, была, можно сказать выпотрошена. Мы были всего лишь набором отдельных единиц, которым предстояло заменить слаженные части. Это не предвещало ничего хорошего.

В течение следующих восьми недель мы прошли через интенсивную и тяжелую военную подготовку, значительно отличавшуюся от того, что было в Военно — воздушном корпусе во Флориде. Температура воздуха летом в Виржинии часто превышает 90 градусов по Фаренгейту (30 градусов по Цельсию). Мы должны были выполнять строевую подготовку и маршировать в полном обмундировании в такую жару. Мне пришлось носить автоматическое ружье системы браунинг, переносной пулемет, весивший почти десять килограммов. Когда по вечерам мы располагались биваком, на нас нападали чиггери, противные мелкие насекомые, которые впивались в кожу и вызывали ужасное раздражение. Их можно было извлечь, лишь поднося зажженную сигарету к их заду, что заставляло их вылезать наружу. Солдаты в нашей роте были не самые лучшие, так как самые лучшие уже отбыли в Европу.

Я был весьма огорчен, что пять лет спустя после неприятного опыта в польском лагере военной подготовки, мне пришлось снова таскать пулемет. В своем дневнике я сетовал на то, что «был как животное в заточении, которое работает как мул, подчиняется как собака, и живет как свинья». Мне казалось, что я мог бы быть более полезен на войне со своим знанием языков, особенно немецкого и итальянского, языков врага. Я обратился к начальнику разведки дивизии. То был элегантный полковник, в гражданской жизни связанный с юридическим факультетом Гарвардского университета. Он высказал намерение откомандировать меня в штаб Джи-2. Но когда я вернулся через несколько дней выяснить, есть ли какие — нибудь новости о моем переводе, он сообщил, что вскоре я должен быть откомандирован.

Несколько дней спустя, на занятиях, где представителей рот обучали, как паковать оружие для перевозки за океан, а это было в конце августа 1944 года, мне объявили о переводе на военно — воздушную базу в Кеарнс — Филд в штате Юта. Моя дивизия отправлялась в Европу без меня. Она в какой — то мере была задействована в «битве за Выступ»[11].

В Юте корнелльские студенты встретились со студентами русской программы из двух других университетов, а в октябре нас перевели на базу Кемп — Ритчи в штате Мэриленд. База расположилась в бывшем клубе, который переделали для размещения здесь школы разведки. Каждые два месяца прибывала новая группа для прохождения интенсивного курса подготовки разведчиков, после чего выпускников производили в офицеры и отправляли на фронт. Но наша судьба было несколько иной. Нас держали как группу для специального задания, суть которого я выяснил только после войны. После конференции на высшем уровне в Тегеране в ноябре 1943 года американские и советские военные обсуждали проект создания совместных военно — воздушных баз на советской территории. Главной задачей Вашингтона было обеспечение инфраструктуры в войне против Японии, но американское командование европейского театра военных действий было заинтересовано также в использовании советских аэродромов для ударов по германским целям в Восточной Европе, которые были недосягаемы для бомбардировщиков, базировавшихся в Великобритании или Италии. Возникла идея так называемой челночной бомбардировки: американские бомбардировщики могли бы пролететь над Восточной Европой, сбросить бомбы на германские промышленные объекты и нефтяные скважины, приземлиться на советской территории, заправиться, получить комплект боеприпасов и на обратном пути повторить бомбардировку. Русские неохотно, но согласились с этим предложением, и весной 1944 года, как раз когда мы заканчивали курс в Корнелльском университете, предоставили три военно — воздушные базы на Украине в распоряжение американских военно — воздушных сил. Главная база находилась в Полтаве, а две вспомогательные — в Миргороде и Пирятине. Этот проект получил кодовое название «Неистовый». 2 июня 1944 года американские бомбардировщики совершили первый налет на германскую территорию с этих баз. Немцы, удивленные воздушным налетом с востока, 22 июня ответили мощной координированной атакой двухсот самолетов на Полтавскую базу и превратили ее практически в руины: 43 бомбардировщика «Б-17» были либо уничтожены, либо повреждены до такой степени, что не подлежали ремонту. Тем не

менее американские рейды возобновились в июле; в общей сложности было сделано более 2 ООО вылетов с советских баз. Эффект был незначительным, но трения с русскими постоянными. В конце лета русские отдали приказ закрыть три украинские базы. Однако окончательная эвакуация так называемого восточного командования произошла лишь в июне 1945 года[6].

Нашу русскую группу должны были послать на украинские «подлетные базы» в качестве переводчиков, но проект закрыли и наше участие не потребовалось. Таким образом, после окончания курса в Ритчи нас направили в Скотт — Филд в штате Иллинойс якобы для прохождения курса подготовки связистов, но на самом деле нас держали в резерве для возможных будущих заданий, где понадобятся специалисты, говорящие по — русски. Эта жизнь была скучной: освоение азбуки Морзе и изучение тонкостей радиотехники меня мало интересовали. Пребывание там все — таки сыграло одну непредвиденную, но важную роль в моем интеллектуальном развитии: именно тогда я решил стать профессиональным историком. Меня всегда привлекала история, отчасти потому, что прошлое возбуждало мое воображение, а отчасти потому, что она столь всеобъемлюща и грандиозна. Но только там я выбрал историю как профессию. Скотт — Филд находился около Сент — Луиса, штат Миссури. Там по выходным, получив увольнение, я проводил свободное время: ходил на концерты, в публичную библиотеку или разглядывал книги в книжных лавках. Как — то раз мне попала в руки книга Франсуа Гизо «История цивилизации в Европе» в переводе Уильяма Хэзлитта, сына известного эссеиста. Книга была серией лекций, которые Гизо читал в Сор- боннском университете в 1828 году. Она была не похожа ни на какую другую книгу по истории, которую я когда- либо читал. Пытливый ум может заинтересоваться любыми событиями прошлого, потому что нет ничего абсолютно ясного: всегда возникают вопросы о мотивах и последствиях и даже о развитии самих событий. Таким образом, можно увлечься историей цен на зерно в средневековой Венгрии, или жизнью и творчеством римского папы Иннокентия III, или политикой княжества Зербст- Аншталь по той простой причине, что эти сюжеты содержат интеллектуальные проблемы. Но подобным темам не хватает значимости в более широком контексте. Они лишь тренировка ума для решения задач, как игра в шахматы. И то же самое относится к общей истории стран и эпох. Она излагает, что произошло и, возможно, объясняет, почему это произошло, но не показывает, почему те или иные сведения представляют важность.

В истории, которую писал Гизо, то есть в такого рода истории, которую я принял как пример для подражания, прослеживается связь прошлого с настоящим. Это философская история, знание которой помогает нам понять самих себя, откуда мы пришли и почему мы мыслим так, как мыслим. С первой страницы Гизо дает определение своему философскому подходу к истории.

С некоторого времени идет много разговоров о том, что необходимо ограничить историю изложением фактов; и действительно, ничто не может быть более справедливым. Но мы всегда должны сознавать, что существует намного больше фактов, о *которых можно рассказать, и что факты сами по себе намного более разнообразны по своей природе, чем люди поначалу готовы признать… Именно та часть истории, которую мы привыкли называть философиейу — отношения между событиями, связь, объединяющая их, их причины и следствия — все это фактыу все это история в той же мере, в которой мы называем историей повествование о сражениях и о других материальных и зримых событиях… Цивилизация — это один из таких фактов… Сразу же я должен добавить, что такая история — самая великая история, которая включает в себя все.*

Четырнадцать лекций, которые следуют за этим введением, представляют собой величественный обзор эпох и стран, институтов и религий, и все это представлено в изысканной и элегантной литературной форме. Эта книга покорила меня. Она показала мне, что все, чем я интересовался, а именно философия и искусство, может обрести приют под просторной крышей того, что мы называем историей.

Остаток моей военной службы был непримечательным. Из Скотт — Филда мы вернулись в Корнелльский университет для повторного летнего курса, затем нас перевели обратно в Ритчи, где меня назначили оператором коммутатора в ночное время. В конце 1945 года нас перевели в Калифорнию в целях подготовки к будущему назначению в Корею в качестве переводчиков. Но к тому времени Япония капитулировала, война закончилась и мы мечтали вернуться домой. Наша часть носила таинственное название из абревиатуры FAH. Мне пришла в голову мысль, что эти буквы, должно быть, обозначали инициалы офицера в министерстве обороны, отвечавшего за нас. Я посмотрел справочник армейских офицеров и действительно нашел некого полковника по имени Фрэнк А. Хартман, инициалы которого повторяли эту аббревиатуру. Мы осмелились позвонить ему в Пентагон и сообщить, что мы прослужили уже более трех лет и поэтому заслуживаем увольнения. Несколько дней спустя пришел

приказ о том, что нас отправляют обратно на восточное побережье США. Я с нетерпением ожидал возвращения к гражданской жизни и возможности возобновить учебу. В марте 1946 года в Форт — Мид в штате Мэриленд я был уволен.

Холокост приходит в наш дом

Весной 1945 года мы узнали о капитуляции Германии и о событиях, которые стали личной трагедией для нас и всех евреев. По мере продвижения Красной Армии в Польшу, а оттуда в Германию, в газетах стали появляться сообщения и фотографии освобожденных концентрационных лагерей и лагерей смерти: люди, больше похожие на скелеты, горы туфель и очков, снятых с убитых, и крематории, где тела отравленных газом превращали в пепел. Мы были шокированы этими систематическими и массовыми убийствами: это казалось немыслимым не только потому, что было варварством, но и потому, что было иррационально, так как немцы могли бы использовать евреев для военных нужд. Правительства союзников знали о том, что происходило с евреями в оккупированной Европе, но предпочли хранить молчание из опасений сыграть на руку гитлеровской пропагандистской машине, согласно которой война произошла по вине и в интересах «мирового еврейства».

В моем архиве есть памфлет под названием «Массовое уничтожение евреев в оккупированной немцами Польше», изданный 10 декабря 1942 года находившимся в Лондоне польским правительством в изгнании. Этот памфлет адресован правительствам и членам антигитлеровской коалиции. В нем содержится точная и детальная информация о том, что сотни тысяч евреев были депортированы и почти столько же умерло от голода или было убито. Эту информацию проигнорировали. К своему вечному стыду, лидеры еврейских общин в Америке также предпочли хранить молчание о геноциде против своих собратьев. В конце апреля 1945 года я получил письмо от Олека, который выжил, скрываясь в «арийской» части сначала Варшавы, а затем Лодзи. Вскоре мать прислала мне вырезку из польско — еврейской газеты, которая описывала со слов Ванды, как она выпрыгнула из товарного поезда, направлявшегося к газовым камерам Треблинки, и затем оказалась среди польских рабочих, вывезенных на работы в Германию. Это было просто чудо. Но остальным членам нашей семьи чудо не помогло. Двоим из братьев моей матери удалось спастись. Когда восстановилось почтовое сообщение, они прислали нам письма, рисующие картину того, что стало известно как холокост. Эти братья моей матери не были высокообразованными людьми, и до войны они не многого добились, живя в основном с доходов, приносимых рентой с недвижимости бабушки. И это делает их письма более драматичными. Младший брат матери Сигиз- мунд, который до

войны занимался лишь тем, что развлекался с женщинами, писал: «Я брожу как безумец с одной только мыслью, что они вернутся. Я жду с волнением в сердце нашего любимого Арнольда, которого вместе с нашей любимой мамой, Максом, Эстер и Нюсей (их дочь) вытащили из гетто фашистские молодчики 9 сентября 1942 года и погрузили в гигантский поезд. Немецкие бандиты вначале сказали, что все это только для переселения, но, как мы узнали, это было просто убийство, потому что по приезде на место людей или сжигали живьем, или отравляли газом. Миллионы людей, все гетто были убиты таким образом или еще более жестокими способами».

А вот что писал Макс: «Мы с Сигизмундом были почти свидетелями того, как доктора Макса (Габриелев), Эстер (его жену) и Ясю (дочь) депортировали в Треблин- ку… Арнольд, которого мы все так любим, и о ком мы никогда не прекратим скорбеть, стоял, как всегда, с улыбкой на устах в «ряду смертников» вместе с нашей дорогой мамой, постаревшей, вымотанной жизнью. Но эта семидесятитрехлетняя женщина стояла смело… Увы, не было возможности спасти их. Это было выше человеческих сил или разума сделать что — нибудь, чтобы облегчить их участь. Не было возможности дать им яд».

Это немногое, что я могу рассказать о холокосте помимо того, что уже известно. Именно поэтому я намеренно избегал читать или смотреть фильмы и фотографии о нем. Причина в том, что каждый конкретный случай этой бойни, о котором я читал, и каждая фотография, которую я видел, навсегда врезались мне в память и живут там как страшное напоминание о чудовищном преступлении. Меня беспокоило такое мое отношение, но я не изменил его, чтобы сохранить нормальную психику и позитивное отношение к жизни.

Холокост не поколебал моих религиозных воззрений. Разумом и чувствами я принимаю в главе 38 Книги Иова слова Бога о том, что нам людям не дано понять Его замысел[12]. Многие евреи, включая моего отца, потеряли веру после холокоста. Но моя вера, наоборот, окрепла. Массовые убийства (включая и те, которые происходили одновременно в Советском Союзе) показывают, что бывает, когда люди отвергают веру в Бога, отвергают, что человек создан по Его образу и подобию; отрицают, что у человека есть душа, и поэтому низводят его до бездушного расходного материала.

Главным воздействием холокоста на мою психику было ощущение радости каждому дню жизни, который был мне дан, так как я был спасен от неминуемой смерти. Я всегда понимал и до сих пор понимаю, что судьба меня пощадила не для того,

чтобы я потратил жизнь на удовольствия или на самовозвеличивание, но для того, чтобы распространять моральное послание, показывая на примерах из истории, как идеи зла ведут к его воплощению. Учитывая, что многие ученые уже писали о холокосте, я решил, что мое предназначение в том, чтобы показать справедливость такого суждения в отношении коммунизма. Кроме того, я считал и до сих пор считаю, что вопреки Гитлеру обязан вести полнокровную и счастливую жизнь, быть удовлетворенным, что бы жизнь ни преподнесла мне, быть жизнерадостным, а не мрачным, ибо печаль и жалобы — это формы богохульства для меня, как и ложь или безразличие к жестокости. Эти взгляды, повлиявшие на мою личную и профессиональную жизнь, были результатом опыта, который я приобрел в юности. Вполне естественно, что люди, которым посчастливилось избежать подобных воззрений, смотрят на жизнь и на выбранный путь более беспристрастно. С другой стороны, я должен признаться, что с трудом переношу психологические проблемы других людей, особенно если они связаны с «поиском идентичности» или с какой — нибудь еще формой самокопания. Все это кажется мне крайне банальным. Я согласен с немецким эссеистом Йоганесом Гроссом, что человечество можно разделить на две категории: «тех, кто погружен в свои проблемы, и тех, кто открыт миру. Важное условие самосохранения заключается в том, чтобы людей, занятых своими проблемами, предоставить самим себе»[7].

Мне хотелось бы добавить два замечания к этой неисчерпаемой теме. Во — первых, кому не довелось жить при тоталитарном режиме, не могут себе представить, какое сильное влияние он оказывает на людей и как может заставить даже самых нормальных среди них совершать ужасные преступления, наделяя их сильной, целенаправленной ненавистью. Оруэлл точно описал этот феномен в романе «1984». Под влиянием этого чувства человек теряет нормальные человеческие реакции, но как только режим рушится, исчезают и его чары. Эта закономерность убедила меня в том, что никогда нельзя подчинять политику идеологии, так как даже если идеология основана на приемлемой морали, воплощение ее в жизнь обычно требует применения насилия, ибо общество в целом может ее не разделять.

Во — вторых, несколько слов о немцах. Традиционно германский народ не воспринимался как кровожадный: это была нация ученых, поэтов и музыкантов. И все — таки немцы оказались чрезвычайно способны к массовому убийству. В мае 1982 года я получил приглашение и был принят мэром Франкфурта Вальтером Валманом, с которым познакомился ранее

в Вашингтоне. Мы обедали у него дома и разговаривали о всевозможных вещах, переходя с английского на немецкий. И в какой — то момент он меня спросил: «Как вы думаете, мог ли нацизм возникнуть где- либо, кроме Германии?» Задумавшись, я ответил, что, с моей точки зрения, не мог. Он закрыл лицо руками и произнес: «Mein Gott!» (Боже мой!) Я тут же пожалел о том, что причинил боль этому достойному человеку, но я не мог сказать ничего другого.

Меня всегда поражало в немцах одно удивительное свойство. С одной стороны, им нет равных в обращении с неодушевленными предметами и животными, с другой — им не хватает понимания того, как надо обращаться с людьми, которых они воспринимают скорее как объекты[13].

Характерно, что в опубликованных позже письмах немецких солдат своим родным и близким из оккупированной Польши в 1939 году прослеживается эпитет «грязный» в описаниях поляков и евреев. Культура этих людей их не интересовала, только их гигиена[14]. Грязный человек или предмет обихода так же неприятен немцу, как и грязная машина. Немцам также не хватает чувства юмора. (Марк Твен как — то сказал о юморе немцев, что «им не до смеха»[15].)

Немцам не хватает некоторой терпимости к недостаткам человека, которые и становятся предметом юмора; они по природе механики, возможно, лучшие в мире, но человек — это живое существо, которое требует большой снисходительности и понимания. Человек — не машина, он может быть и непредсказуемым. Поэтому, когда немцам приказывают убить во имя идеи, они убивают и испытывают при этом не больше жалости по отношению к своим жертвам, чем к выкинутой вещи. Припоминаю, что как — то раз читал об одном немецком офицере СС, служившем в лагере Треблинка; когда приходили эшелоны с евреями, которых предстояло отравить газом, он рассматривал их не более чем груз. Такие люди как роботы могут косить из пулемета безвинных и беззащитных людей, совсем без эмоций, как строитель долбит асфальт дороги отбойным молотком. Такое презрение к человеку в сочетании с «чувством долга» и сделало холокост возможным именно в Германии. Русские убили больше людей, чем немцы, и убивали своих же, но делали они это без механической точности, без рациональности немцев, которые собирали и использовали волосы и золотые зубы жертв. Русские не гордились содеянным. Я никогда не видел фотографий советских злодеяний. Несмотря на то что немцам было запрещено фотографировать, они сделали бесчисленное количество снимков своих жертв.

Как — то раз я навестил в Мюнхене Чарльза Маламу- та, моего старого учителя русского языка из Корнелль- ского университета. Он снимал квартиру, которая, скорее всего, была реквизирована у немца. На столе лежал альбом, оставленный владельцами квартиры, обыкновенный альбом, в котором люди обычно хранят фотографии детей и поездок на природу. Но в этот альбом были аккуратно вклеены совершенно другие снимки; возможно, их слал домой глава семьи или сын, служивший фюреру на Восточном фронте. На первом снимке, попавшемся мне на глаза, был запечатлен немецкий солдат, тащивший пожилую еврейскую женщину за волосы к месту расстрела. На другой странице были три фотографии: возле дерева группа женщин с детьми на руках; та же группа, но полностью раздетая; их трупы в кровавой куче.

Глава вторая. Гарвард

Аспирантура

В молодости я превозносил до небес само понятие «университет». Идеалом для меня был Берлинский университет первой половины XIX века, когда там преподавали такие светила, как философы Гегель, Фихте и Шопенгауэр, а также историки Ранке, Нибур и Моммзен и теолог Шлейермахер. Университет представлялся мне сообществом ученых, молодых и старых, всецело посвятивших себя науке и бескорыстно делящихся с другими своими знаниями и мудростью, — такой изображена «академия в Афинах» на картине Рафаэля. Карьеризму и зависти не было места в этом воображаемом мной университете.

Стоит ли говорить, что я обнаружил совершенно иную реальность: университет оказался отражением общества. Занятия наукой вполне сочетались с преследованием своих целей и жаждой славы. Духа коллегиальности почти не ощущалось. Все занимались своими научными исследованиями и, как я обнаружил, профессора редко читали книги своих коллег, даже тех, кто работал в той же области. Даже если они и делились своими находками с кем — либо, то чаще всего это были ученые из той же области знаний, но работавшие в других университетах. В восьмидесятые годы меня пригласили стать членом Гарвардского клуба вечерних обедов под названием «Клуб неформальных бесед». Основанный в начале XX века, этот клуб собирался раз в месяц и после вечерней трапезы один из членов делал доклад о своих исследованиях. Единственная проблема была в том, что в клубе в основном были пожилые или ушедшие на пенсию члены. Часто после сытного ужина они впадали в дремоту.

Все сказанное, конечно же, отражает определенную долю разочарования, но не сожаления о моей жизни в академической среде. Несмотря на то что университет не оправдал моих возвышенных ожиданий, он, тем не менее, оказался весьма благоприятным местом. Сочетание исследовательской работы и преподавательской деятельности в атмосфере ничем не ограниченной свободы, вместе с чувством обеспеченности, устраивало меня полностью, и я считаю большим везением, что мне довелось провести мою сознательную жизнь в одном из ведущих центров мировой науки.

Пока я был в армии, мы с Ирен постоянно поддерживали связь, не только по почте, но и встречаясь, так как я часто получал увольнения на выходные, которые проводил или в Нью — Йорке, или в Эльмире. Летом 1945 года я уже во второй раз

учился в Корнелльском университете, проходя закрепительный курс по русскому языку. Мы с Ирен сблизились еще больше. Когда стало известно, что мое увольнение из армии не за горами, мы стали говорить о будущем и в январе 1946 года решили пожениться. К этому неизбежному решению мы пришли совершенно естественно. В дневнике я записал, что никакого решения с большой буквы и не требовалось. Это меня очень удивило, потому что, вспоминая Рабле и мучительные сомнения его героя Панурга о преимуществах и недостатках брака, я ожидал от себя больших колебаний. Наши родители не были вполне уверены в правильности решения. Мои считали, что мне рано жениться, ее предпочли бы бизнесмена в качестве будущего зятя. Но ни те, ни другие не возражали, и семья Рот устроила нам великолепную свадьбу в отеле «Дельмонико» в Нью — Йорке, после чего мы отправились в свадебное путешествие в Новую Англию и Канаду.

Нашему браку пошел уже шестой десяток, и мне кажется, что эта тема вряд ли кому — то интересна, кроме нас самих. Поэтому я не буду здесь много об этом писать. С самого начала мы были преданы друг другу и полны решимости сделать все необходимое для того, чтобы наш брак был успешным. Моя мать как — то сказала, что мы подходили друг другу так же, как крышка подходит к чайнику. Хотя Ирен и не была ученым, она хорошо адаптировалась к утонченной интеллектуальной среде, в которой оказалась, и создала для меня прекрасную атмосферу. Мы идеально дополняли друг друга. Если перефразировать слова Вольтера, она приняла на себя командование земными делами, а я витал в облаках, и между небом и землей мы вместе охраняли наш маленький мир. Ее очарование, красота и радостное восприятие жизни никогда не поблекли для меня. Семейная жизнь была для меня неиссякаемым источником радости и сил. В книге, которую я посвятил жене после нашей золотой свадьбы, я поблагодарил ее за то, что «она создала идеальные условия, чтобы я мог заниматься наукой». Это посвящение вызвало гнев некоторых феминисток, которые усмотрели в нем тот смысл, что моя жена пожертвовала собой ради того, чтобы готовить и стирать для меня. Вероятно, они не знали, что понятие «условия» в данном контексте включает в себя не только физический комфорт, но также — и прежде всего — духовный.

В конце 1945 года, пока я все еще носил военную форму пришло время подавать заявление в аспирантуру. Несколько ранее в том же году Корнелльский университет присвоил мне степень бакалавра, засчитав курсы, которые я там прошел в дополнение к Маскингуму. Благодаря этому мне не надо было

проходить дополнительные курсы в высшем учебном заведении до поступления в аспирантуру. У меня были смутные планы как — то соединить изучение России с изучением общей истории культуры. Такое направление предполагало выбор из Колумбийского, Йельского и Гарвардского университетов, где в то время находились главные научные центры Соединенных Штатов по изучению России. Я подал заявления в каждый из них, но с самого начала предпочитал Гарвард. Меня приняли во все три университета. На этот раз не предвиделось проблем с оплатой благодаря так называемому закону о льготах демобилизованным, по которому правительство оплачивало расходы на образование ветеранов, и в дополнение они получали небольшую стипендию, которую наши родители щедро дополняли. Ни тогда, ни позже мы уже не испытывали никаких финансовых затруднений.

Колумбийский университет я вычеркнул из списка почти сразу же, отчасти потому что мне не хотелось жить в Нью — Йорке, а еще потому, что ведущим историком России там был Джеройд Танкуери Робинсон. Если судить по короткой беседе, которой он любезно согласился удостоить меня, он был капризным педантом. Как выяснилось, он предлагал своим аспирантам писать диссертации на заранее подобранные темы, каждая из которых имела какое- то отношение к концептуализации проблемы революции, как, например, «Бухарин и революция», «Зиновьев и революция» и так далее. Такой подход был настолько же бесполезен для понимания России, ее настоящего и прошлого, как требование от аспирантов по американской истории писать диссертации по темам «Филмор и конституция» или «Хардинг и конституция».

В пользу Йельского университета было то, что кафедру по русской истории там занимал Георгий Вернадский, возможно самый выдающийся специалист в этой области в стране, автор множества книг, некоторые из них были изданы до революции. Я посетил Йельский университет, но возможность встретиться с Вернадским не представилась. Но что меня поразило в Нью — Хэйвене, так это обилие швейных ателье.

В Кембридже было все наоборот: мало ателье и множество книжных магазинов. Это сразу же расположило меня в пользу Гарварда, особенно когда я узнал, что профессор русской истории Михаил Карпович был человеком дружелюбным и оказывавшим аспирантам поддержку. Карпович мало публиковался, потому что у него была больная жена, которой требовался постоянный уход, к тому же он был неофициальным лидером русской общины на восточном побережье Соединенных Штатов и редактором

известного толстого эмигрантского ежеквартального издания «Новый журнал». Не в пример другим русским преподавателям в Гарвардском университете, тщеславным и недоступным, Карпович, напротив, был человеком скромным и уравновешенным.

В середине сентября мы с Ирен прервали наше свадебное путешествие и приехали в Бостон, где сняли небольшую двухкомнатную квартиру в районе Бэк — Бэй. У нас была новенькая машина, свадебный подарок дяди Ирен. Таким образом, мы устроились несколько лучше, чем другие аспиранты. Недостатком, конечно, было то, что я не имел возможности узнать получше других аспирантов, так как большинство из них были не женаты и жили в общежитиях.

По традиции в субботу, предшествующую началу осеннего семестра, исторический факультет устраивал собрание, на котором присутствовали все преподаватели, а также вновь принятые аспиранты и те, что вернулись в университет после летних каникул. Вероятно, в своем заявлении я так описал круг моих интересов, что создалось впечатление, что я хотел заниматься интеллектуальной историей и историей культуры. Поэтому факультет решил прикрепить меня к Крейну Бринтону. Он был одной из звезд нашего факультета, автором множества книг, включая «Анатомию революции». Бринтон спросил меня о моих интересах. По этому поводу я записал в своем дневнике:

Когда я показал ему предположительный список моих курсову состоявший в основном из курсов по философии и истории искусства, он воскликнул: «Вам необходимо изучать больше истории, политической истории, такой, которая просто объясняет, что премьер — министр такой — то ушел в отставку потому — то и потому — то и так далее». Я добавил к моему списку курс по английской истории, в какой — то степени против своей воли.

Бринтон быстро спустил меня с облаков на землю, как и я в последующие годы поступал со своими аспирантами. «Вам необходимо подготовиться к общим экзаменам по четырем дисциплинам за два года. Почти все дисциплины, если не все, должны быть по истории каких — нибудь стран. У вас есть какие — то предпочтения в национальной истории?» Я ответил: «Наверное, первой я выберу историю России». «Ну, в таком случае вам следует работать под руководством профессора Карповича. Он сидит вон там». Я подошел к Карповичу и записался на его курс. Вот в такой неформальной манере было решено мое профессиональное будущее.

Здесь настал момент объяснить мое отношение к стране, которой мне суждено было заниматься в течение всей моей

профессиональной жизни ученого. Это достаточно важно, если принять во внимание тот факт, что русские националисты постоянно обвиняли меня в «русофобии». Между тем я провожу четкое различие между русскими правительствами и русским народом, с одной стороны, и между образованными русскими и населением вообще, с другой. По отношению к русским интеллектуалам я испытываю глубокое восхищение и симпатию (даже если критикую их политические взгляды). Когда я читаю прозу Тургенева, Толстого или Чехова, поэзию Пастернака и Ахматовой, когда слушаю песни Окуджавы и Высоцкого или вижу героизм Сахарова, я чувствую себя дома. Действительно я почти что ощущаю себя русским. Но вещи представляются мне в несколько ином свете, когда я изучаю русскую политику, то есть то, что было в центре моего внимания как историка, или когда я встречаюсь с русскими, которые занимают какую — нибудь государственную должность. У русских чрезвычайно сильно развито чувство личных отношений, но им так и не удалось трансформировать человеческие привязанности в формальные неличные связи, столь необходимые для эффективного функционирования общественных и политических институтов. Поэтому им необходима «сильная рука», чтобы регулировать их общественную жизнь, то есть вертикальный контроль, заменяющий недостающие горизонтальные связи, которые так хорошо развиты в западных обществах. Мне очень не нравится эта особенность русской действительности и совершенно не нравятся люди, которые реализуют ее. Я также не испытываю никаких симпатий к русскому национализму и к антизападничеству, служащим связующим звеном между властью и необразованной частью населения. (Кстати сказать, мое отношение к Соединенным Штатам диаметрально противоположно по своей структуре: я испытываю глубочайшее уважение к общественной жизни в Америке, но, увы, не к ее культуре.) Все сказанное не имеет никакого отношения к русофобии. Вряд ли я посвятил бы свою жизнь изучению народа, который бы не любил.

Расширение интеллектуальных горизонтов: Исайя Берлин

Гарвард — это старейший и самый престижный американский университет. Чарльз Элиот, ставший его президентом в 1869 году, взял европейские университеты как пример для подражания и преобразовал провинциальную семинарию, с одной стороны, на манер английского колледжа, а с другой — на манер немецкого исследовательского университета. С тех пор Гарвард стал самым важным центром высшего образования в Соединенных Штатах. Университет достиг такого положения благодаря поддержке, моральной и финансовой, со стороны бостонской элиты, которая, более чем в других американских городах, ощущала потребность в культуре. Если доверять мнению американских научных кругов, Гарвардский университет удерживает этот статус и сегодня. Он достиг вершины своего великолепия и славы в два десятилетия, последовавшие за Второй мировой войной. В течение этого времени Гарвард считал себя и воспринимался всеми как университет, которому не было равных не только в Северной Америке, но и в мире. Когда я получил постоянное место на факультете истории, один из старших коллег заявил мне со всей серьезностью: «Вы даже не понимаете, что были на острие ножа: с одной стороны Гарвард, а с другой — полный мрак».

Гарвард имел такой уникальный статус благодаря нескольким факторам. Прежде всего следует отметить, конечно, преподавательский состав, который включал некоторых беженцев из оккупированной нацистами Европы и — также впервые — некоторых преподавателей — евреев, которые ранее были практически лишены доступа к ведущим университетам в остальной Америке, кроме разве что Нью — Йорка. Гарвардский университет был самым богатым высшим учебным заведением в мире, а это означало, что его возможности, особенно его замечательная библиотека, не имели себе равных в мире. И наконец, Гарварду было присуще некое высокомерие, которое легко переходило в надменность. Была даже такая шутка: человека из Гарварда легко узнать, но невозможно разговорить. Если Гарвард все — таки не переполнился самодовольством, так это потому, что он считал свое превосходство настолько очевидным, настолько закономерным, настолько признанным всеми, что просто не было необходимости им бравировать.

И вот в этот великолепный сосуд знания, опустевший за годы

войны, вливались в 1946 и 1947 году тысячи недавно демобилизованных студентов. Большинство из них были в действующих войсках несколько лет, они изголодались по знаниям, как, возможно, ни одно поколение до или после них. Они толпой устремлялись на занятия и буквально набрасывались на книги. Я не могу припомнить, чтобы выпускники в то время обсуждали планы трудоустройства, что стало предметом растущей озабоченности тех, кто пришел после них.

Когда я читал свой дневник за годы с 1938-го по 1946-й, я ощущал некое отчаяние и жалость к самому себе из — за того, что война сделала невозможным осуществление моих желаний и что не с кем было поделиться своими мыслями и интересами. Но это чувство исчезло, как только я прибыл в Кембридж. Меня окружало множество молодых людей, которые разделяли те же заботы и которые были не хуже, а может быть и лучше информированы, чем я. Атмосфера была насыщена уважением к интеллектуальным достижениям. Мне никогда не доводилось наблюдать что — либо подобное. И так случилось, что вскоре после зачисления в Гарвард я перестал вести дневник регулярно.

В то время Гарвард был все еще в тисках англофилии. Оксфорд и в несколько меньшей степени Кембридж были примером для научной, да и внеклассной жизни. Большая часть преподавания велась посредством системы индивидуального общения с преподавателем, а не лекционных занятий[16]. Система расселения студентов по так называемым домам (общежитиям — сообществам студентов) копировала английские Оксфорд и Кембридж, так же как и традиция «профессорских столов». В 1940-е и 1950-е годы Гарвард посетило множество английских ученых и писателей, усиливая английское влияние. Педантичность не приветствовалась. Не принято было обсуждать свою работу, а на разговоры о зарплате существовало табу: преподаватели вели себя так, будто они джентльмены с независимыми источниками доходов, которым просто выпал шанс найти в науке свое призвание. Это выглядело несколько глупо, но может быть объяснено как некая дань уважения к науке.

Гарвард на самом деле был нечто большее, чем сумма его составных частей. Среди преподавателей были утомленные профессора, которым надоел их предмет и студенты, некоторые из них получили места благодаря связям в обществе. Но тон задавали не они, а ученые с международным признанием. На факультете истории — специалист по колониальной истории Америки Самуэль Элиот Морисон, Уильям Лангер, специализирующийся по истории европейской дипломатии (какое — то время он находился в Вашингтоне, создав научно —

исследовательское подразделение, превращенное потом в ЦРУ), Крэйн Бринтон, Гаэтано Салвемини, политический беженец из Италии Муссолини, а также отец и сын Шлезингеры. В то время исторический факультет был, скорее всего, самым популярным, если судить по количеству выбравших его студентов, и их моральный дух был высок. Соответственно, это придавало уверенности историческому факультету. Атмосфера на факультете была несколько клановая, так как практически все постоянные преподаватели факультета защитили свои диссертации в Гарварде и были когда — то друг для друга учениками или учителями.

В первый год я прослушал положенные лекционные курсы, а также участвовал в двух семинарах: в одном с Карповичем, во втором с Бринтоном. Семинар Карповича был посвящен правлению Александра I, и в нем участвовали те, кому суждено было стать светилами по истории России: Марк Раев, который впоследствии стал профессором русской истории в Колумбийском университете, Леопольд Хеймсон, который потом преподавал в Чикагском и Колумбийском университетах, Николас Рязанов- ский — в Калифорнийском университете Беркли и Доналд Тредголд — в университете штата Вашингтон. Моя курсовая работа была на тему: «Русские мыслители и Европа, 1820–1840 гг.». В семинаре Бринтоная написал курсовую работу о военных поселениях при Александре I. Это стало моей первой научной публикацией, которая вышла в свет в *Journal of Modem History* в 1950 году.

Ирен хотела заняться каким — нибудь бизнесом, и мой отец дал нам 400 долларов для покупки небольшой химчистки недалеко от нашего дома. Мы работали там несколько месяцев, Ирен гладила вещи, а я их развозил. Но когда я получил оценки за половину семестра, и они оказались далеко не блистательными, мы продали химчистку. И в конце второго семестра у меня уже были твердые пятерки.

Ввиду широко распространенного опасения, что война с Советским Союзом неизбежна, я решил получить степень магистра, чтобы иметь в руках хоть какой — нибудь конкретный результат моей учебы, в случае если мне не удастся закончить докторскую программу. Все, что для этого нужно было сделать, — это подать ходатайство о присвоении степени. На выпускной церемонии 1947 года главным докладчиком был генерал Джордж Маршалл. Я внимательно слушал его речь и был разочарован, потому что не нашел в ней ничего, кроме общих мест. Такое же впечатление, похоже, было и у всех остальных, включая глав европейских правительств, пока Государственный департамент не

привлек их внимание к практическим моментам и не предложил разработать скоординированный план послевоенной экономической реконструкции. Эти шаги получили в дальнейшем развитие и стали известны как План Маршалла. Таким образом, речь на выпускной церемонии Гарварда 1947 года можно считать одной из самых важных публичных речей в XX веке, хотя она не казалась таковой, когда была произнесена.

Никакой войны не было, и под номинальным руководством преподавателя мой второй год учебы был посвящен «курсам чтения», то есть самостоятельной подготовке по четырем предметам для сдачи главного экзамена, который должен был состояться в конце второго года. Для экзамена я выбрал следующие предметы: средневековая история Польши и Богемии, эпоха Возрождения и Реформация, современная Англия и современная Россия. Я довольно хорошо выдержал суровое испытание в конце мая и летом 1948 года начал размышлять над темой диссертации.

Но прежде чем я углубился в свою диссертацию, мы с женой совершили поездку в Европу. Тогда мы думали, что при существующих напряженных отношениях между Соединенными Штатами и Советским Союзом, это вполне могло быть нашим последним шансом взглянуть на старый континент до того, как он будет превращен в груду руин. Мы пересекли Атлантику на *Kota Inten*, жалком, переделанном из военного транспортного корабля голландском судне с командой индонезийцев. Питание было скудное, поместили нас в разных общих каютах, и корабль постоянно кренило на одну сторону. Но через десять дней мы благополучно прибыли в Роттердам. А оттуда направились в Париж, где я повстречался с моим дядей Максом, уцелевшим во время холокоста, тем самым дядей Максом, который провожал нас на поезд в Варшаве в то памятное октябрьское утро 1939 года. Он спасся благодаря жене — польке, с которой состоял в гражданском браке. Она, рискуя собственной жизнью, скрывала его в своей квартире. Я также встретился с Олеком, который, по крайней мере внешне, совсем не изменился. Мы путешествовали с небольшим количеством денег, но доллар ценился высоко — в Париже комната с кухней и ванной около вокзала Сен — Лазар стоила всего один доллар в день. Наши требования были довольно скромны, и мы прекрасно проводили время. Из Парижа мы направились в Швейцарию и Италию. На обратном пути в Брюсселе я встретился с Вандой. Она вышла замуж за бельгийского булочника, которого встретила в немецком лагере принудительных работ.

Когда мы вернулись в Штаты в сентябре 1948 года, мы

поселились в Нью — Йорке, главным образом потому, что Ирен хотела быть поближе к своим родителям. Несколько дней спустя мы поехали на машине в Кембридж, чтобы я смог зарегистрироваться на следующий год аспирантуры. Как выяснилось, я перепутал сроки регистрации и опоздал. Декан пожурил меня за опоздание и сказал, что я смогу подать документы в конце периода регистрации. В течение этих двух — трех дней, которые я в основном проводил в Уайднеровской библиотеке, главной библиотеке Гарварда, мне повстречался Чарльз Тэйлор, главный специалист факультета по Средневековью. Эта встреча оказалась одной из тех, которые меняют жизнь человека. Тэйлор предложил мне место помощника преподавателя курса «История 1» — обзора западной цивилизации, обязательного для всех историков, его посещали также многие студенты других факультетов. В течение осеннего семестра Тэйлор читал лекции по огромному курсу «История 1» два раза в неделю в новой лекционной аудитории на Кирклэнд — стрит. Во время весеннего семестра курс вел Карпович. По пятницам студенты разбивались на группы приблизительно по двадцать человек и занимались под руководством аспиранта, который отвечал на вопросы и проводил тесты по заданному на неделю материалу.

Это был мой первый опыт преподавания, и мне он очень понравился несмотря на то, что требовалась лихорадочная подготовка и иногда импровизация. Я помню, как — то раз один студент спросил меня ни с того ни с сего, почему Филипп II, король Франции в Средние века, получил второе имя «Август». В настоящее время я бы ответил, что не знаю, но тогда я был молод и не хотел признаться в своей неосведомленности. Я попытался ответить и сказал, что это было потому, что он родился в августе. Как только окончилось занятие, я побежал в библиотеку, чтобы найти ответ, и с облегчением узнал, что Филипп II действительно появился на свет 21 августа 1165 года.

Темой диссертации я выбрал большевистскую теорию о национальностях. То было время, когда русский шовинизм, активно разжигаемый Сталиным, достиг своего апогея. Россия изображалась как страна, которая в течение всей своей истории была ведущей страной мира; всегда она была жертвой агрессии, никогда агрессором; всегда — страной великих научных и творческих достижений. Одна советская публикация того времени признавала первенство американцев только в двух изобретениях: вафельницы и электрического стула[17]. Мне казалось удивительным, что режим, официально стоявший на позициях марксизма — идеологии, осуждавшей национализм как

ухищрение буржуазии с целью отвлечь рабочих от классовой борьбы, держался такого оголтелого национализма. Я хотел понять, почему это произошло. С этой целью я начал изучать теории национализма, которые исповедовали основоположники социал — демократии и их ученики, особенно в Австро — Венгрии и в России. Я работал очень напряженно, потому что хотел выполнить программу подготовки докторской диссертации за два года. Это было нелегко, так как мне приходилось сочетать работу над диссертацией с преподаванием. Нагрузка несколько уменьшилась на следующий год, мой последний год в аспирантуре, потому что я получил на один семестр аспирантскую стипендию от только что основанного Центра российских исследований, что освободило меня от необходимости преподавать. Диссертация была готова в начале 1950 года. Я так усердно работал над ней, что, после того как подал секретарше факультета переплетенный экземпляр, меня увезли на «скорой» в больницу.

За полгода до этого родился наш первый сын Дэниел. Ощущение, даже косвенное, того, как живое существо приходит в эту жизнь, невозможно сравнить ни с чем, что я когда — либо испытывал: пока у Ирен продолжались схватки, я чувствовал, будто сам рождаюсь заново. В честь этого события в тот день я бросил курить и с тех пор не притронулся к сигарете.

Когда я работал над диссертацией, в феврале или марте 1949 года я познакомился с Исайей Берлиным, которому суждено было оказать большое влияние на мое интеллектуальное развитие. Марк Раев пригласил меня к себе домой на Боу — стрит встретиться с Берлиным, который читал курс по русской интеллектуальной истории в качестве приглашенного профессора из Оксфорда. Я не имел ни малейшего представления о том, кто такой Исайя Берлин, но согласился прийти. Собрались шесть или восемь аспирантов. Прибыл Берлин, одетый по своему обыкновению в черный строгий костюм — тройку. Он расположился удобно в кресле напротив нас и сказал: «Ну что ж? О чем будем говорить?» Как парализованные, мы сидели, не произнеся ни слова. Он быстро оценил создавшуюся ситуацию и задал вопрос: «Какая разница между поколением русских интеллигентов тысяча восемьсот сороковых и шестидесятых?» Поскольку мы продолжали молчать, он сам ответил на вопрос: «Первое поколение любило искусство и музыку, а второе терпеть не могло ни то ни другое». Затем он пустился в рассуждения в быстром темпе с полубританским, полурусским акцентом и его монолог нелегко было понять.

Так началась наша дружба, которая продолжалась почти пол

века, до его смерти в 1997 году. Я встречался с Берлиным много раз в Нью — Йорке, Риме и Лондоне; я останавливался у него дома в Оксфорде, и он всегда был рад мне. Это был необычайно разносторонний интеллектуал, диапазон его знаний охватывал философию, живопись, музыку, и он обладал удивительной способностью говорить с людьми всех возрастов и из всех слоев общества. Мне всегда представлялось, что, окажись он в любую эпоху в любой стране — будь то Москва 1840-х, или Париж 1860-х, или Лондон 1890-х или 1920-х, он был бы у себя дома.

Много лет спустя как — то раз он позвонил мне домой и сообщил, что находится проездом в Кембридже. Так совпало, что в тот вечер мы давали прием, и я пригласил его к нам. Вскоре я увидел, как около нашего дома остановилось такси, но время шло, а Берлин не появлялся. Я подумал, что он, вероятно, забыл свой бумажник, и вышел на улицу встретить его. Как оказалось, он был поглощен разговором с водителем такси. «Удивительный человек!» — воскликнул таксист.

Он был замечательным собеседником, потому что моментально схватывал то, что ему говорили, и отвечал так, что разговор продолжался и углублялся. У него было редкое качество, которым Троллоп наделил одного из своих героев, — способность входить в тему собеседника и делать ее своим собственным предметом обсуждения. Он был прекрасным слушателем и, если беседа иссякала, сразу приходил на помощь. В компании он всегда был остроумен и блистал хорошим чувством юмора. Если, как утверждал Макс Бирбом в своем эссе об Ибсене, «великие люди делятся на две категории — тех, которых любят, и тех, которых не любят», то Исайя Берлин абсолютно точно принадлежал к тем, кого любят.

Он был чрезвычайно остроумен. Стоит привести хотя бы два примера. Когда в начале семидесятых мы с Ирен проводили годичный академический отпуск в Лондоне, он позвонил и пригласил нас пойти вместе на «Фауста». Я ответил, что, к сожалению, мы не сможем пойти, потому что в тот вечер мы приняли приглашение от человека, который имел репутацию одного из самых почитаемых представителей высшего общества в Англии. «Ах, так это кафешное общество», — пробормотал Берлин, а затем себя же поправил: «Нет, лучше сказать нескафешное общество». В другой раз в разговоре упомянули имя хорошо известного историка литературы и критика. «Широко распространенный тип на континенте, — заметил он, — но довольно редкий в Англии». И добавил после паузы: «Истинный шарлатан».

Трудно найти какие — нибудь основополагающие идеи,

которые можно было бы отнести на его счет, так как разница между «ежом» и «лисой», сравнение, которое он заимствовал у малоизвестного греческого автора, а также различие между двумя видами свободы кажутся мне путаной схемой. Люди, а не идеи, вот в чем была его страсть. Его талант проявился в полной мере в жанре биографии. Он мог сделать портрет человека с поразительной проницательностью. К этому делу он подходил так же, как скульптор: работая с гипсом, добавлял черту здесь, изменял черту там и оттачивал ее, пока личность не проявлялась во всей своей сложности. Он мог писать не только о людях, которых знал лично, но и о тех, о ком знал только из косвенных источников, из литературы. Свой талант он продемонстрировал в полной мере в его, пожалуй, самом выдающемся произведении — книге «Русские мыслители», в которой он дал великолепные портреты представителей русской интеллигенции 1830-х и 1840-х годов.

Несмотря на все мое восхищение и дружбу, в конце концов Берлин все — таки разочаровал меня. Он, казалось, был отрешен от наполненных трагедией событий наших дней. Раньше мне представлялось, что причиной этого было его нежелание портить отношения с либералами и социалистами, которые доминировали в кругах, где он вращался. Но много лет спустя я с удивлением узнал из его биографии, что он проявил такое же безучастие по отношению к нарождающемуся нацизму в начале 1930-х. Несмотря на то что он часто говорил, что наш век был самым ужасным в человеческой истории, ему претила мысль как — то ограничивать себя политически. Я знаю, что он презирал советский режим, но публично избегал критиковать его, возможно потому, что в кругах, где он часто бывал, антикоммунизм считался вульгарной чертой, невзирая на то что коммунизм нес большую, возможно главную, ответственность за несчастья, выпавшие человечеству в XX веке. В 1971 году, когда Джордж МакГоверн был избран кандидатом на пост Президента Соединенных Штатов от Демократической партии, я оказался в затруднительном положении, потому что как зарегистрированный демократ всегда голосовал за демократов. Но я не мог с чистой совестью заставить себя подать голос за человека, настолько не подходящего на пост главы государства. Более того, я колебался, не стоит ли проголосовать за Ричарда Никсона, его оппонента от республиканцев. «Что бы вы сделали на моем месте, Исайя?» — спросил я. Он задумался на секунду и ответил: «Я бы проголосовал за Никсона, но никому об этом не сказал бы». Он совершенно неправильно считал, что итальянский фашизм был консервативной доктриной, игнорируя его

радикальные корни, потому что такие взгляды также были данью моде. Он никогда не сказал ни слова о моих книгах по истории русской революции, ни публично, ни приватно, несмотря на то что одобрял мой замысел, возможно потому, что они были бескомпромиссно враждебны к левым интеллектуалам в России и в Западной Европе. И все это притом что у него не было никаких иллюзий на этот счет.

Я был поражен, когда прочитал в его воспоминаниях о Борисе Пастернаке, что во время их встречи в середине сороковых, русский поэт критиковал его в глаза за то, что он не сочувствовал русскому народу и его страданиям. Берлин вспоминает об этом и, к его чести, делает это публично.

«Пастернак упрекал меня… не за то, что я пытался навязать ему свои политические или иные взгляды, но за то, что в его глазах было едва ли не хуже. Вот мы оба в России, и, куда бы ни упал взгляд, все было омерзительно, ужасно, отвратительный свинарник, но я казался явно излучающим бодрость. «Вы бродите и смотрите на все восхищенными глазами», — сказал он. Я был не лучше (так он сказал), чем любой иностранец, который ничего не увидел, и был в плену абсурдных заблуждений, которые сводят с ума бедных и несчастных русских»[1].

Я чувствовал в нем некую моральную отстраненность, и в конце концов она в какой — то мере отдалила меня от этого человека, которого я ценил во всех других отношениях и всегда брал с него пример. Биограф Берлина утверждает, что он потому так восхищался Герценом, что тот представлял для него некий недосягаемый «моральный идеал»: «Это был человек, который имел мужество и принял на себя политические обязательства, чего, увы, Исайя знал это, ему самому недоставало»[2]. Мне всегда казалось, что он был очень счастливым человеком, но из его биографии я узнал, что его терзали всевозможные сомнения: неуверенность еврея в нееврейском и подчас антисемитском английском обществе; угрызения совести ученого по поводу того, что он так и не написал большой труд; сомнения мужчины, неуверенного в себе при общении с женщинами. Хотя в последние годы его долгой жизни мы уже не были так близки, как раньше, я ему многим обязан, потому что именно он расширил мои интеллектуальные горизонты, способствовал тому, чтобы я изучал предметы и высказывался на темы, лежавшие вне поля моих непосредственных научных интересов. Это соответствовало моим собственным наклонностям, но было не в традициях американской академической культуры.

Уже в преклонном возрасте, а еще больше уже после смерти, он стал, к несчастью, любимцем прессы, то есть человеком

известным не за то, что он совершил, а за то, что просто был известен. Ходило много историй о нем и о его знаменитых удачных выражениях. Например, его ночная встреча с Анной Ахматовой в Ленинграде в 1945 году стала предметом научных статей, и даже темой книги, которая воспевала эту встречу как величайшее литературное событие XX века. Я совершенно уверен в том, что ему не понравилась бы такая поверхностная слава. Снизошедшая на него после смерти слава выдающегося мыслителя нашего времени была, конечно, преувеличением, потому что, как и сам он осознавал, он не был мыслителем такого масштаба, как Фридрих фон Хайек, или Карл Поппер, или ряд других, чьи имена приходят на ум. Он был не столько творческой личностью, создающей новое, сколько личностью, осмысливающей мысли других.

Начало преподавательской и научной деятельности

До окончания работы над диссертацией я совершенно не задумывался о том, где буду работать. Но в июне 1950 года мне пришлось столкнуться с реальностью: я был безработным доктором исторических наук. В университетах почти не было вакансий, потому что администраторы считали, что, после того как пройдет волна военных ветеранов, количество зачисленных студентов существенно сократится. Поэтому не было смысла увеличивать преподавательские штаты. (Количество принятых студентов в 1950 году более чем удвоилось в сравнении с 1940 годом в значительной мере благодаря Закону о льготах демобилизованным.) Многие из вновь испеченных историков оказались в аналогичной ситуации. Все, что наш факультет мог для нас сделать, это рекомендовать нас Массачусетскому технологическому институту в качестве преподавателей, чтобы дать азы гуманитарного образования начинающим инженерам. Эта перспектива не показалась мне привлекательной, и я отклонил предложение. Два года спустя я получил предложение занять вакантную должность в Индианском университете, но и его отклонил.

К счастью, мне предложили преподавать в рамках программы Комитета по истории и литературе в Гарварде — междисциплинарной организации, состоявшей из представителей различных факультетов гуманитарных наук. Никаких лекционных курсов не предполагалось, а преподавание велось исключительно путем прикрепления студентов к индивидуальным консультантам. Следующие шесть лет я провел, консультируя талантливых студентов, специализировавшихся на дисциплинах по русской культуре, а также иногда культуре других стран. Это была специализация только для отличников, с ограниченным приемом, программа для элиты.

В нашем маленьком коллективе, а нас было двенадцать наставников, были прекрасные отношения, как между нами, так и со студентами. Ежегодно зачислялось восемьдесят пять студентов. Мы работали с второкурсниками и третьекурсниками или индивидуально, или в небольших группах, а также руководили их исследованиями для дипломных работ. Кроме того, мы обсуждали различные темы, связанные с Библией, древнегреческими историками и творчеством Шекспира. Годы, которые я провел как наставник, были, по сути, временем

самообразования, потому что я должен был консультировать студентов по предметам, о которых знал не больше, чем они, и, следовательно, вынужден был усердно готовиться. Кроме того, я получал стипендию от Русского исследовательского центра, чтобы сделать на основе своей диссертации книгу.

В июне 1950 года мы погрузились в нашу машину и отправились в Калифорнию, где я провел лето, работая над материалами в Гуверовском институте. С 1948 года я также числился вторым лейтенантом запаса по специальности «военная разведка и допрос военнопленных». Это обязывало меня еженедельно посещать военную базу в Бостоне по вечерам, где я выступал или слушал лекции по разнообразным предметам. Как — то раз меня попросили прочитать лекцию о сооружении отхожих мест на открытой местности. Большинство младших офицеров были студентами, как и я, и профессиональные сержанты, работавшие на базе, относились к нам высокомерно. Прежде чем отправиться в Калифорнию, я оставил военным, как и требовалось, мой летний адрес, но попросил, чтобы мое досье не отсылали в Калифорнию, потому что собирался вернуться в Кембридж осенью.

Проезжая Кливленд, мы услышали по радио новость о нападении Северной Кореи на Южную. Когда мы прибыли в Станфорд, я ожидал призыва на военную службу, но неделя проходила за неделей, а никакого призыва не последовало. Когда в сентябре мы вернулись на восточное побережье, я узнал, что мою часть перевели из запаса на активную службу и отправили в Корею. Меня не включили в этот список, потому что мое досье, несмотря на мою просьбу, все — таки отправили на Западное побережье. Эта бюрократическая оплошность освободила меня, по крайней мере, от двух лет военной службы на Дальнем Востоке.

Работая над диссертацией, я сделал удивительное открытие. Я обнаружил, что Россия, как до революции, так и после нее, была многонациональной империей. В наши дни этот факт может показаться настолько очевидным, что не нуждается в пояснении. К настоящему времени выросла целая индустрия научных исследований, посвященных изучению национальностей, входивших в состав Советского Союза. Но в начале 1950-х это было не так. Как русские, так и американцы рассматривали СССР как гигантский тигель, где, наподобие США, многочисленные этнические группы добровольно отказывались от своей национальной идентичности во имя новой всеобщей «советской» идентичности. Те немногие урожденные американцы, которые специализировались на СССР, обучались у русских эмигрантов и полностью ассоциировали страну с Россией и русской культурой.

Достаточно сказать, что такой хорошо информированный и ясно мыслящий эксперт, как Джордж Кеннан, писал в то время, что Украина была настолько же полно экономически интегрирована в Советский Союз, как Пенсильвания в Соединенные Штаты: «В будущем возможно лишь минимальное нарушение этих экономических уз, и это само по себе в нормальных условиях должно обеспечить тесное политическое единство», — писал он в 1951 году[3]. Подобного рода экономический детерминизм подсознательно отражал взгляды Ленина, который в своих работах до 1917 года по этому вопросу утверждал, что экономические интересы возьмут верх над национальными и предотвратят распад царской империи. Этот тезис в модернизированной форме утверждал, что советская империя непременно выживет, несмотря на то, что все другие империи или распались, или были в процессе распада.

Мне не нужно было много времени, чтобы понять, насколько ошибочны были подобные аналогии между Соединенными Штатами и Советским Союзом. За исключением индейцев — аборигенов и африканских рабов, Соединенные Штаты были заселены иммигрантами, которые по собственной воле оборвали связь с родиной и приехали в Америку, чтобы обрести новую родину и стать американцами. Расселившись во множестве регионов континента, они утратили исторические корни. В России положение было совершенно иным. Она была не многонациональным государством, а империей. Эта империя была построена путем военных завоеваний благодаря более высокой степени политической и военной организации России. Подавляющее большинство покоренных народов продолжало жить на своих исконных территориях и говорить на родном языке. Несмотря на то что местные элиты должны были выучить русский в целях продвижения по службе, они благодаря этому факту не стали русскими, так же как, скажем, индусы, говорящие по — английски, не превратились в англичан. Даже советское правительство должно было признать этот факт и предоставить меньшинствам, составлявшим половину населения страны, номинальную государственность и ограниченную культурную автономию.

Мой план работы, предложенный Карповичем, состоял в том, чтобы проследить за распадом царской империи в 1917–1918 годах и за последовавшим затем созданием на ее руинах новой советской империи. Замысел книги и даже ее название четко формулировались в моем сознании уже в 1950 году, хотя, если судить по моим заметкам того периода, я намеревался закончить ее за один год, что было совершенно нереально. На самом деле

это заняло три года. Осуществление проекта представляло ряд серьезных трудностей, потому что каждый регион и каждая этническая группа имели свою особую историю, сформированную прошлым, которое простиралось в большинстве случаев на века. У меня складывалось общее представление, что в регионах, населенных преимущественно русскими, конфликты в период революции и Гражданской войны принимали характер социальных столкновений, а в приграничных территориях империи они выливались в межэтнический раздор. Большевикам удалось вновь завоевать разрозненные приграничные территории благодаря более мощной военной силе, а также из — за поддержки местного русского меньшинства.

Однако за восстановление империи была заплачена дорогая цена. В своих работах до 1917 года Ленин подчеркивал желательность ассимиляции нацменьшинств, чтобы национальные различия не мешали строительству социализма. Не пожелавшие стать русскими могли отделиться и создать свои собственные суверенные государства. Третьего варианта не предусматривалось. Но такой расчет оказался неправильным. Ленин полагал, что экономические узы с Россией будут сдерживать сепаратизм, но стремление избежать установления коммунистического режима и гражданской войны, которая последовала вслед за ним, взяло верх над экономическими интересами и привело почти все национальности к жажде независимости. Поэтому Москва вынуждена была предоставить им такого рода политические уступки и культурную автономию, которые раньше были совершенно неприемлемы для Ленина. Эти уступки придали национализму определенную легитимность. После окончания моих исследований по этому вопросу, у меня не оставалось сомнений в том, что, если центральная власть в России снова ослабнет, как это случилось в 1917 году, новая империя распадется. Это предсказание горячо оспаривали почти все специалисты по России.

В конце мая 1951 года, благодаря финансовой поддержке Центра международных дел при Массачусетском технологическом институте, мы с Ирен, оставив Дэниела с нашими родителями, отправились в четырехмесячное путешествие по Европе и Ближнему Востоку. Моей целью было проинтервьюировать оставшихся в живых членов национальных правительств бывшей Российской империи в период с 1917 по 1921 год. Я нашел довольно многих из них в Лондоне, Париже, Мюнхене и Стамбуле, и они очень помогли мне понять сложную ситуацию той эпохи. В Париже я установил контакт с грузинской эмигрантской общиной. Два года спустя я провел еще одно лето в

Европе, на этот раз в Мюнхене, интервьюируя беженцев из Центральной Азии. Почти все они были бывшими военнопленными в Германии. То, что они мне сообщили о жизни в своих регионах в 1930-е годы, усилило мое убеждение, что национализм продолжал существовать и не ослабевал в республиках СССР, что никакой массовой ассимиляции не происходило.

Результаты моих исследований увидели свет в 1954 году (в том же году родился наш второй сын Стивен) в книге под названием «Формирование Советского Союза: национализм и коммунизм, 1917–1924 гг.» в издательстве Гарвардского университета. Это было первое исследование по данному вопросу. Мне была особенно приятна оценка Карповича, который, прочитав рукопись и высказав несколько незначительных замечаний, заключил: «Ну, вы сделали то, что надо». Хотя и добряк, он не разбрасывался похвалой. Критика была благосклонной, почти вся. Я получил письмо от Кеннана, в котором он писал, что «полон благодарности и восхищения». Особенно он хвалил главу об Украине, которую охарактеризовал как «первое ясное и беспристрастное изложение проблемы». Также я получил хвалебное письмо от Е. Карра, хотя его (неподписанная) рецензия в *Times Literary Supplement* выражала недовольство «упрощением». Эта была моя единственная книга, которая получила хотя бы скупое признание советских властей, возможно потому, что не в пример моим другим книгам она не ставила под сомнение то, что им было важнее всего, а именно роль Ленина и легитимность установленного им режима. В 1964 году, после публикации некоторых архивных материалов о Сталине и о его разногласиях с Лениным, я выпустил новое издание книги. С тех пор книга переиздается, в 1997 году в издательстве Гарвардского университета вышло ее новое издание в мягкой обложке.

Благоприятным последствием издания книги было то, что она дала мне возможность читать мой первый курс лекций. Организовал это специалист по Византии Роберт Ли Вулф. Новичок на историческом факультете, Вулф прибыл в Гарвард из университета Висконсина. Он очень интересовался историей России и проявил интерес ко мне лично. Это был во многих отношениях удивительный человек, с огромным запасом знаний в разных областях, включая романы Викторианского периода Англии, о которых издал ставшую классическим текстом библиографию. Вулфа назначили директором программы регионоведения под названием «Советский Союз», ведущей к получению степени магистра. В 1953–1954 учебном году в рамках

этой программы Вулф пригласил меня читать курс по национальностям Советского Союза. В 1955–1956 учебном году этот курс стал частью программ исторического факультета.

Хорошо помню тот день, когда я впервые вошел в аудиторию «Бойлстон холл», чтобы прочесть первую лекцию моего собственного курса. Я быстро пробежал глазами по аудитории: было семь студентов. К моему смятению, двое из них встали и ушли, когда я представился и объявил название курса, — вероятно, они по ошибке пришли не в ту аудиторию. Я читал этот курс вплоть до 1960 года для гораздо большего числа слушателей.

Многие несведущие люди относятся к историческим исследованиям с определенной долей скептицизма, полагая, что прошлое уже и так всем известно, и что историки просто пересказывают ту же самую историю с различных точек зрения, стараясь быть непохожими на других. Процесс написания истории воспринимается ими как скучное и нетворческое занятие, хотя, конечно, если она написана ярко и живо, то может представлять интерес как развлекательное чтиво. Бытует мнение, что новое в истории связано лишь с появлением неизвестных прежде источников. Когда в конце 1980-х стало известно, что я пишу историю русской революции, меня часто спрашивали, не нашел ли я какие — нибудь новые источники. На самом деле, так называемые новые источники не добавляют знаний в такой степени, как многие полагают. Искусство историка заключается в том, чтобы по своим собственным критериям выбирать доказательства из огромного разнообразия фактов и сплетать их в убедительное и, по возможности, эстетически приемлемое повествование. Помимо этого, историк стремится создать некий синтез и сделать выводы относительно истории, которую он рассказывает. Такая задача чрезвычайно трудна, но, будучи выполненной на высоком уровне, приносит глубокое удовлетворение. Трудно передать наслаждение, которое испытывает историк, когда ему удается сделать запутанное понятным, а лишенное смысла наполнить значением. У меня это всегда вызывало эмоции, сходные с чувством, испытываемым художником.

Закончив работу над историей создания СССР, я стал думать, что же делать дальше. Поначалу я обдумывал возможность продолжить исследование о национальностях в СССР и довести повествование до начала тридцатых годов. Но меня сдерживало то обстоятельство, что, для того чтобы осуществить этот замысел как следует, мне придется выучить несколько трудных и не особенно полезных для меня языков, включая языки тюркской

группы. Я неохотно начал изучение турецкого языка по пластинкам, которые мне дала одна женщина. Ей они были не нужны, так как она рассталась со своим турецким женихом. Дело продвигалось неплохо до тех пор, пока я не столкнулся с проблемой гармонии гласных, особенностью урало — алтайской группы языков. Дело в том, что гласные одного и того же слова принадлежат к одной и той же группе, что затрудняет поиски этих букв в словаре. Наконец я сдался и бросил эту затею. Конечно, я продолжал время от времени писать в газеты и журналы о «национальной» проблематике Советского Союза, а также консультировал правительство по этим вопросам, но за исключением одного проекта, о котором речь пойдет ниже, я не занимался исследованиями по этой проблеме.

Мое внимание привлекла тема, занимавшая более значительное место в русской истории, а именно политическая культура. Меня поражало сходство между до- и послереволюционной Россией и мне хотелось заглянуть за фасад радикальных лозунгов советской пропаганды, чтобы рассмотреть неизменные черты политической жизни страны. Мне казалось очевидным, что, несмотря на революционную риторику, Советский Союз был «революционным» лишь со стороны, для иностранных государств, что же касается внутреннего положения, то это был глубоко консервативный режим, который имел больше общего с абсолютизмом Николая I, чем с утопичными фантазиями радикалов XIX века. Почему это так? Почему правительство, которое захватило власть во имя самых радикальных идеалов, когда — либо существовавших, так быстро превратилось в оплот реакции, использовавший радикальные лозунги исключительно для целей внешней экспансии? По этому поводу я записал в своем блокноте в 1956–1957 году:

Консервативное движение в России намного более самобытное и национальное, чем либерализм или социализм. Несмотря на то что и либерализм, и социализм имеют национальные корни, их идейное содержание было в основном импортировано с Запада, в то время как консерватизм был явлением местным, как в своем возникновении, так и в своем развитии. То, чего ему не хватало в идейной оригинальности, он вполне компенсировал своей тесной связью с российской жизнью. Следовательно, консерватизм намного лучше объясняет сущность движущих сил русской истории, чем какое — нибудь другое политическое движение дореволюционной эпохи.

Эта идея противоречила разделявшемуся всеми мнению, что Россия была страной радикальной, а советский режим — воплощением социализма Маркса.

В соответствии с этой идеей я решил написать историю русской консервативной мысли. Я начал с монографии о выдающемся консерваторе Николае Карамзине, являвшемся одним из первых русских профессиональных историков. Его «История государства Российского», опубликованная в 1816–1829 годах, привлекла широкое внимание общества. Накануне войны с Наполеоном он написал также «Записку о древней и новой России», предназначавшуюся исключительно для Александра I и его сестры, где мужественно подверг критике внутреннюю и внешнюю политику царя и особенно его смутные планы ослабить самодержавную форму правления. В этой работе, основываясь на исторических доказательствах, Карамзин утверждал, что самодержавие в России было неким оплотом безопасности, щитом и его даже мимолетное исчезновение или ослабление неизбежно приведет ее к краху.

Карамзин привлек мое внимание по нескольким причинам. Это был высокообразованный человек, он писал на прекрасном, хотя и несколько устаревшем, языке и был либеральным консерватором, а не заядлым реакционером. Его «Записка», приблизительно в сто страниц, никогда не была переведена на другие языки.

В 1955 году я опубликовал две статьи. Первая была основана на интервью с беженцами из Центральной Азии, которые я сделал в Германии двумя годами ранее. Статья предлагала доказательства того, что религиозная и этническая идентичность оставалась весьма сильной в исламских регионах СССР. Вторая статья касалась взглядов Макса Вебера на Россию. Это эссе выросло из неформальных дискуссий в Центре русских исследований о методологии, которую необходимо использовать при изучении чужих культур. Доминирующей методологией в Центре была социологическая. Основатель Центра антрополог Клайд Клакхон, изучавший индейцев племени навахо, никогда не претендовал на звание эксперта по России. Он основал Центр, чтобы повторить достижения другого антрополога — Рут Бенедикт, проницательного аналитика психологии японцев времен Второй мировой войны. Основной задачей Центра было стремление уйти от политики и истории и использовать другой подход к изучению Советского Союза. Смысл этого подхода был в том, чтобы рассматривать Советский Союз как «систему», которая, какие бы чувства она ни вызывала, доказала свою жизнеспособность, просуществовав сорок лет несмотря на социальные катаклизмы и войны. Клакхону помогали социологи Алекс Инкельс и Баррингтон Мур, которые знали русский, но они тоже сторонились истории. Вообще историков не особенно

жаловали в те годы, и я получил стипендию в Центре только благодаря поддержке Карповича.

Я относился скептически к абстрактному социологическому методу в отношении изучения страны с пяти- или шестисотлетней государственностью, чья история к тому же сильно отличалась от западной. Мне казалось, что, для того чтобы понять, почему судьба страны складывалась таким образом, необходимо углубиться в ее прошлое, особенно в историю ее социальных и политических институтов. Чтобы доказать это, я проанализировал две работы Макса Вебера о России, изданные после революции 1905 года, а также некоторые его статьи. Я разделял всеобщее восхищение немецким социологом, но, читая его очерки о современной ему России, понял, что он был безнадежно слеп, не сумев разглядеть значение и последствия происходивших там событий. Он находился под влиянием своей теории, утверждавшей, что профессиональные бюрократии настолько уже укоренились в современном мире, что революции стали невозможны. Февральскую революцию в России 1917 года он воспринял не как настоящую революцию, а как свержение некомпетентного монарха. Большевистский переворот воспринимал лишь как «чисто военную диктатуру» капралов, как «надувательство», у которого не было будущего. Моя статья

Моя ранняя страсть к искусству имела благотворное и устойчивое последствие: она привила мне иммунитет против любой идеологии.*Варшава, июнь 1939 г.*

Мои родители встретились в 1920 г. в Варшаве. Свадьбу сыграли в сентябре 1922 г.

Я родился 11 июля 1923 г. в городке Чиешин в польской Силезии. 70 лет спустя мне присвоили звание его почетного гражданина. На фото мне 4 года.

Оскару и Эмми Бюргер (они слева) суждено было стать нашими самыми близкими друзьями на всю жизнь, а их сын Ганс стал мне как брат.*1934?*.

В последний год перед войной мое существование отравляли военные занятия в школе. На фото я (слева) и мои самые преданные друзья Питер Блауфукс (в центре) и Олек Дызенхаус (справа).

Варшава 1938 г. Маршалковская, главная улица Варшавы, после бомбежки. 1 октября 1939 г. германские войска вошли в город.

Я с родителями на фото в поддельном паспорте граждан одной латиноамериканской страны. 27 октября 1939 г. мы покинули оккупированную Польшу.

3 июля 1940 г. мы отплыли из Лиссабона в США на маленьком греческом судне "Неа Хеллас". 11 июля, в день моего 17-летия, судно прибыло в Хобокен, штат Нью — Джерси.

Наша свадьба с Ирен состоялась 1 сентября 1946 г. в отеле "Дельмонико" в Нью — Йорке. Мы идеально дополняли друг друга. Семейная жизнь для меня — неиссякаемый источник радости и сил.

В апреле 1957 г. я месяц путешествовал по СССР. Больше всего меня расстраивала., не столько бедность и серость, сколько всеобъемлющая ложь….*С главой мусульман Средней Азии. Ташкент, апрель 1957 г.*

Свою первую книгу "Формирование Советского Союза" я писал три года. Она увидела свет в 1954 г. в издательстве Гарвардского университета. Критика была благосклонной… *Работа над рукописью. Уотертаун, 1951 г.*

А. Керенский был русским патриотом и не таил обиды на страну которая его отвергла.

«Макс Вебер и Россия», появившаяся в апрельском номере журнала *World Politics* за 1955 год, очень не понравилась гарвардскому социологу Талкоту Парсонсу, самому известному из

последователей Вебера в Соединенных Штатах. Парсонс сообщил мне позже, что задумал написать опровержение, но так и не собрался сделать это; он так и не сказал, что же такое неприемлемое нашел в моей статье. Я подозреваю, что дело было просто в lèse — majesté[18].

Здесь необходимо остановиться на системе заполнения вакантных должностей в Гарварде вообще и рассмотреть положение дел на историческом факультете в 1950-х годах в частности. В годы депрессии президент Гарвардского университета Джеймс Конант положил начало системе заполнения вакантных должностей по схеме, которая стала известна под названием «принцип: повышение или увольнение». Для того чтобы избежать положения, при котором орды молодых малооплачиваемых и много работающих преподавателей без всякого будущего в университете обслуживали бы профессоров с пожизненным назначением, он ввел строгую систему продвижения по службе. В самой нижней части служебной лестницы находился ассистент преподавателя, который получал контракт на пять лет, причем подразумевалось, что он имел достаточно высокую квалификацию для получения пожизненного назначения при условии, если проявит себя и будет вакантная должность. В декабре четвертого года работы деятельность преподавателя на факультете оценивалась. В результате его или рекомендовали на должность адъюнкт — профессора, что означало подтверждение статуса, или ему в этом отказывали, и у кандидата было полтора года, чтобы найти себе другое место. Однако иногда факультетам требовались преподаватели, не включенные в систему продвижения по службе. Для этих целей ввели должности лектора и инструктора, которые имели строго ограниченный срок контракта.

Когда я получил степень доктора в 1950 году, меня назначили на должность инструктора, которую можно было продлевать каждый год в течение трех лет. Я вел индивидуальные занятия со студентами по программе «Литература и история» в качестве инструктора до 1954 года. В тот год я получил назначение на должность лектора на один год. Таким образом, мои шансы получить постоянную должность в Гарварде были крайне малы, потому что, как правило, пожизненное назначение давалось тем, у кого была должность ассистента профессора, то есть тем, кто был включен в систему продвижения по службе. Мое будущее казалось еще более бесперспективным потому, что в 1954 году на должность ассистента профессора по русской истории был назначен Мартин Малиа, выпускник Йельского университета и ученик Карповича. Предыдущие три года он

преподавал в ранге инструктора курс по русской истории и получил разрешение вести аспирантский семинар, что было из ряда вон выходящим для человека на такой должности. В течение последующих четырех лет Малиа учувствовал в преподавании каждого курса по русской истории вместе с Карповичем и Вулфом. Кроме этого он вел курс по истории Советского Союза. Как бы это ни казалось странным, сложившаяся ситуация меня совершенно не волновала. Я был настолько уверен в себе, что не обращал внимания на факультетскую политику. Я был слишком занят исследовательской работой, писанием статей и преподаванием, чтобы обращать внимание на подобные вещи. «Что — нибудь подвернется и как — нибудь устроится, если не в Гарварде, то еще где — нибудь, и будет возможность продолжать научную работу», — думал я.

Отношения между старшими и младшими по положению преподавателями в Гарварде в то время были довольно официальными и холодными. Профессора, в чьей власти было даровать высшую награду — назначение на должность профессора, избегали любого намека на фаворитизм и по этой причине сторонились всякого контакта с нами вне работы. Не могу припомнить ни одного раза, чтобы старший преподаватель факультета пригласил меня к себе домой, за исключением Оскара Хэндлина, который со своей женой Мэри иногда приглашал молодых преподавателей к себе на Агассиз — стрит. Вообще за нами наблюдали со стороны — пристально и внимательно, но бесстрастно, как за рыбками в аквариуме.

В сентябре 1954 года мне позвонил Вулф. Он сообщил, что курс по имперскому периоду истории России в весеннем семестре должен был читать Малиа, но он не сможет это сделать, так как решил провести это время в Париже. Не соглашусь ли я заменить его? Конечно же, я согласился с огромным удовольствием. С воодушевлением я бросился готовить лекции, и за два месяца подготовил почти половину курса по истории России с 1801-го по 1917 год. Мои лекции били ключом фактов и идей, накопившихся за последние десять лет. В первый день занятий в четверг 3 февраля 1955 года в одиннадцать часов утра я вошел в аудиторию «Гарвард — холл» номер 201. Аудитория на 140 мест была заполнена битком. У меня закружилась голова. К моему удивлению и радости, первую лекцию и последовавшие за ней аудитория, в которой были слушатели разного уровня — от студентов до аспирантов, встретила с воодушевлением. Довольно скоро, однако, стало ясно, что студенты могут внимательно слушать лишь десять, двенадцать минут, поэтому я стал разнообразить лекции всевозможными историями и случаями,

лишь бы сюжеты имели хотя какое — нибудь отношение к предмету. Студенты, склонные к веселью, с удовольствием на это реагировали. В последующие сорок лет я читал много разных курсов, но никогда больше не испытывал такого радостного возбуждения, как в ту пору.

В течение того семестра, навещая Карповича, я встретился с Александром Керенским. Я пригласил его выступить перед моими студентами с лекцией о дореволюционном парламенте, Думе, где он был депутатом. Студенты были ошеломлены, увидев его во плоти. Керенский начал говорить медленно и ясно, но затем стал волноваться все больше и больше — до такой степени, что понять его было почти невозможно. Впоследствии мы встречались много раз, и он всегда был очень любезен. Однако бесполезно было обсуждать с ним эпоху революции. Он опубликовал три автобиографии и никогда не отклонялся от того, что там было написано. Во время правления Хрущева Керенский проявлял сочувственный интерес к реформам, потому что прежде всего был русским патриотом и не таил обиды на страну, которая его отвергла. Как — то раз он поведал мне свой секрет долголетия: никакой свежей выпечки, три «мартини» перед обедом и продолжительная прогулка после него. Был и четвертый компонент, возможно, самый важный, который я, к сожалению, забыл.

В 1955 году пришла еще одна хорошая новость, а именно — предложение Калифорнийского университета в Беркли провести там один семестр в качестве приглашенного ассистента профессора. В то время Калифорнийский университет стремился стать Гарвардом Западного побережья. Но этому не суждено было сбыться из — за радикального студенческого движения 1960-х, которое там зарождалось. Историю России там преподавал Роберт Кернер, чех по национальности, который в основном писал о Богемии и Центральной Европе. Его главным вкладом в изучение истории России была изданная в 1942 году книга «The Urge to the Sea» («Стремление к морю»), которая прямолинейно толковала ход русской истории стремлением России к теплым морям. Широкой поддержкой эта интерпретация не пользовалась, и молодые преподаватели Беркли с нетерпением ожидали неизбежного ухода на пенсию Кернера. На предполагаемое вакантное место Беркли выбрал трех кандидатов — учеников Карповича: Малию, Николая Рязановского, преподававшего в то время в Айове, и меня.

Лето 1955 мы с Ирен провели в Риме, где проходил десятый Международный конгресс исторических наук. Я сделал доклад о сторонниках абсолютизма в России XIX века — тема моих первых

исследований русской консервативной мысли. И вот здесь произошла моя первая встреча с советской делегацией, которую послали на конгресс для установления связей с западными учеными. Они как солдаты прошагали в аудиторию, где я собирался начать доклад, все в скверно сшитых, очевидно специально для посещения конгресса, костюмах с рукавами пиджаков на добрых шесть дюймов длиннее, чем нужно. С некоторыми из них у меня состоялся разговор, в частности с директором Института истории Академии наук А. Л. Сидоровым, специалистом по истории экономики России начала XX века. Как и многие другие, он стремился войти в международное сообщество ученых, с которым были оборваны все связи в 1930-х.

В конце января 1956 года мы приехали в Беркли. Меня тепло встретили историки — выпускники Гарварда, которые, казалось, держались вместе. Я нанес визит вежливости Кернеру, который вполне серьезно рассказал мне, что в 1928 году, когда Арчибальд Кэри Кулидж, ведущий специалист Гарварда по современной истории, лежал на смертном одре, и его спросили, кого он желает видеть своим приемником, он прошептал «Кернер». Но стоявшим вокруг него послышалось «Лангер», и вот почему Лангер, а не он получил звание почетного профессора истории в Гарварде. Я как мог старался дать понять Кернеру, что поверил в эту историю.

В Беркли было неплохо, хотя как университет штата он не предоставлял преподавателям столько свободы, как Гарвард. Например, количество лекций в неделю было строго определено по каждому курсу, и от меня требовалось, чтобы дверь моего кабинета была открыта всегда. Тем не менее мне там нравилось, и, хотя я скучал по Гарварду, если бы там ничего не получилось, я бы с удовольствием принял предложение от Беркли.

Когда я возвратился в Гарвард, чтобы читать курс по истории России XIX века в летней школе и быть ассистентом Дениса Брогана по курсу современной Великобритании, участь кафедр русской истории как в Гарварде, так и в Беркли все еще не была определена.

Чтобы отдалиться от напряженной атмосферы конкуренции, я решил провести год в Европе. Я подал заявление и получил грант Гугенхейма. 13 сентября 1956 года вместе с семьей мы отправились в Париж на французском лайнере «Фландрия». Карпович не советовал уезжать за границу, так как полагал, что лучше быть на месте, если я понадоблюсь, когда решение будет принято, но я решил рискнуть. У меня создалось впечатление, что Карпович предпочитал, чтобы мне предложили вакансию в Беркли, а не его кафедру в Гарварде. Причина на то была не личностного плана и даже не научного, а политического. Целью

своей жизни Карпович считал борьбу против широко распространенного в США мнения, что коммунизм был феноменом исконно русским, отражавшим национальную культуру, что русские были совершенно «другими», а понятие «русская душа» вызывало у него лишь презрение. Я был родом из Польши, страны, которая соседствовала с Россией в течение тысячи лет и которая находилась под российским владычеством более века. Поэтому, возможно, я подсознательно разделял отношение поляков к России. Наверное, я впитал эти взгляды позже, благодаря окружению, так как, живя в Польше, не испытывал, как уже говорилось выше, ни малейшего интереса к нашему восточному соседу. Мои научные изыскания укрепили некоторые из этих воззрений и в моем главном труде о российских политических институтах и культуре «Россия при старом режиме», вышедшем в 1974 году, я подчеркивал их своеобразие и неразрывность.

Карпович никогда не пытался повлиять на меня, но, мне кажется, ему был больше по душе подход Малии, который считал Россию европейской страной, всю «самобытность» которой можно найти на Западе. Как Малиа писал много лет спустя в книге *Russia Under Western Eyes* («Россия глазами Запада»), суждение, что Россия фундаментально отличалась от Европы, отражало скорее проблемы европейцев, чем российскую действительность. Особенности коммунистического режима, с точки зрения Малии, можно отнести на счет марксистской идеологии, импортированной с Запада. Однако Малиа никогда не удосужился объяснить, насколько мне известно, почему коммунизм нашел в России такую благодатную почву, в то время как в Западной Европе он всегда оставался маргинальным феноменом. Темой своей диссертации Малиа выбрал жизнь и творчество Александра Герцена, ярого западника (хотя и с некоторыми отклонениями). Эта диссертация была опубликована в 1961 году.

Утверждение, что Россия была страной европейской, можно аргументировать вполне убедительно, если рассматривать только ее «высокую» культуру — литературу, искусство и науку, которые действительно были европейскими, и игнорировать политические и социальные институты и культуру «низов» общества, которые европейскими назвать нельзя. Вот почему такие русские, как Карпович, и те из его студентов, которые разделяли его взгляды, концентрировали свое внимание на интеллектуальной истории, более того, на интеллектуальной истории социалистических и либеральных течений, мало обращая внимание на консервативные движения, которые более адекватно отражали

российскую действительность.

Вскоре после нашего прибытия во Францию произошли два важных международных события: антикоммунистическое восстание в Венгрии и война на Ближнем Востоке, когда Великобритания, Франция и Израиль попытались установить контроль над Суэцким каналом. Париж был взбудоражен. Но что мне запомнилось больше всего, так это лимит на потребление бензина, который ввели сразу же после начала военных действий против Египта. Французские шоссе, обычно переполненные, оказались мрачно опустевшими. Как иностранцам нам выдавали особые купоны, и на дорогах мы были почти одни.

Как это прекрасно — быть в Париже, если вам чуть за тридцать и если у вас достаточно денег для некоторого комфорта и удовольствий! Квартиру мы нашли в районе Отей, в южной части шестнадцатого округа. Дни я проводил в библиотеке, работая над Карамзиным, Дэниел ходил в школу неподалеку, а Ирен с трехлетним Стивеном наслаждались всем тем, что мог предложить Париж. Большинство наших знакомых были американцы, но я подружился с двумя европейцами. Борис Суварин был одним из основателей французской коммунистической партии и автором прекрасной биографии Сталина, опубликованной в 1935 году. Увы, симпатизирующая левым французская интеллигенция не удостоила ее внимания. Небольшого роста утонченный человек непререкаемой интеллектуальной честности, Суварин порвал с коммунистами в конце 1920-х и с тех пор стал одним из самых непримиримых их оппонентов. Он был практически изолирован в Париже, где интеллигенция была или коммунистическая, или прокоммунистическая. Я ценил его суждения, его дружба и одобрение также стали очень важны для меня.

По рекомендации Ираклия Церетели, грузинского меньшевика, который в 1917 году возглавлял Всероссийский Совет в Петрограде, а теперь жил в Нью — Йорке, я связался с Ноем Цинцадзе, одним из лидеров грузинской общины эмигрантов, и он познакомил меня с другими грузинами. Эти отношения принесли плоды много лет спустя.

Наше пребывание в Париже омрачалось тем, что мое будущее оставалось туманным. Ни Беркли, ни Гарвард не были готовы принять решение о назначениях на кафедры истории России. Друзья в Беркли сообщали мне, что факультет склонялся в пользу Малии, и я оставался в неведении до последнего момента.

Лицом к лицу с Россией

Самым большим событием года, проведенного в Париже, была поездка в Советский Союз. Сегодня трудно себе представить, насколько тогда Советский Союз был закрытым обществом для иностранцев. Нам легче было представить жизнь в средневековой Европе, чем в современной России, вся информация о которой исходила из официальных источников, не сообщавших ничего, кроме позитивных новостей. За иностранными журналистами и дипломатами следили круглосуточно. Их присутствие было ограничено несколькими центральными городами. Тех из них, кто не выполнял какие — то требования, объявляли персоной нон грата и предлагали покинуть страну. Поэтому интерес к Советскому Союзу был огромный. Моя враждебность к коммунизму привила мне некий иммунитет против фантазий об СССР. Мне казалось очевидным, что страна, тратившая столько усилий на то, чтобы оградить своих граждан от контактов с иностранцами, не дававшая возможности им уехать, не могла быть счастливой страной. Тем не менее у меня не было конкретного представления, какой она была на самом деле, и я старался по возможности смотреть на нее непредвзято.

После того как Хрущев сделал в 1956 году знаменитый доклад, обвинив Сталина в преступлениях против коммунистов, советское правительство предпринимало энергичные усилия, чтобы вывести страну из изоляции, в которую ее завел умерший диктатор. Одним из таких шагов было оживление туризма, который был неплохо развит в предвоенные годы. Конечно, это не был свободный туризм, как на Западе, но туризм, управляемый и контролируемый Интуристом — организацией, тесно связанной с КГБ. Маршрут путешествия должен был быть одобрен Интуристом, и в течение всего пребывания в СССР иностранцы находились под постоянным наблюдением КГБ, особенно пристальным, если речь шла об иностранцах, говоривших по — русски. Туристу разрешалось свободно передвигаться по городам, указанным в маршруте, и не возбранялось вступать в разговоры с местными жителями, но они были так хорошо вымуштрованы, что избегали любых контактов с иностранцами, так что если удавалось завести серьезный разговор с каким — нибудь русским, сразу возникало подозрение, что он связан с КГБ.

В начале 1957 года я узнал, что при Индианском университете организация «Межуниверситетский комитет по грантам для поездок» оказывала финансовую поддержку для научных поездок в Советский Союз. Вероятно, для того чтобы

оплатить постоянную слежку, советские власти разрешали иностранцам путешествовать только классом «люкс», так что финансовая помощь была просто необходима. Кроме авиаперелета, необходимо было платить 30 долларов в день (эквивалент сегодняшним 300 долларам) — сумма за пределами моих возможностей. С помощью Парижского туристического агентства я выработал маршрут тридцатидневного путешествия по России, Украине, Грузии и Центральной Азии. Организация под названием «Конгресс свободы культуры» пригласила меня посетить в конце поездки Индию для чтения лекций о моем путешествии по Советскому Союзу[19].

31 марта я прилетел в Хельсинки, а оттуда отправился на поезде в Ленинград. Поезд сделал длинную остановку в Выборге, который когда — то принадлежал Финляндии, а сейчас Советскому Союзу. Я прошелся по городу и был удручен тем, что увидел. Война закончилась двенадцать лет назад, и большинство европейских городов, разрушенных войной, были отстроены. Но Выборг, где проходили бои во время советско — финской войны, насколько я мог видеть, не был разрушен, он был в состоянии прогрессирующего упадка: здания обветшали, тротуары и улицы в рытвинах, не было ничего, что радовало бы взгляд. Но еще хуже выглядели люди — будто они только что вышли из подвалов; некоторые тащили ведра с водой.

Поздно вечером я приехал в Ленинград. Здесь ожидали два лимузина, которые доставили меня в построенную до революции «Асторию», лучшую гостиницу города, рядом с Исаакиевским собором. Когда мы пересекали площадь, я услышал, как какая — то женщина вскрикнула в темноте. Мы подъехали к хорошо освещенному входу гостиницы, и швейцары кинулись к машине за багажом. В этот момент женщина появилась на освещенном месте. «У меня украли сумочку!», — крикнула она. «Отстань!» — шикнул на нее швейцар. — Не видишь, что ли, иностранец в машине?» Эта сцена была предвестником всей поездки. На следующее утро я должен был прийти в офис Интуриста в здании гостиницы. Мне сообщили, что меня будет сопровождать в течение всего тридцатидневного путешествия гид — переводчик, сотрудница Интуриста. Я возразил, что мне не нужен переводчик, так как я говорю по — русски. Отказаться от гида — переводчика невозможно, таковы правила, ответили мне. Но я настаивал с удвоенной решимостью после того, как меня представили моему сопровождающему — женщине лет за тридцать с лицом, просто зашпаклеванным косметикой, с отталкивающим видом профессиональной кагэбэшницы. Особенно отвратительной ее делала слабая попытка изобразить обворожительную улыбку. Я

все — таки добился своего, и меня сопровождали в поездках местные сотрудники КГБ, некоторые из них были весьма приятного вида молодые люди и девушки.

Ленинград производил удручающее впечатление. Народ выглядел так же угрюмо и так же бедно, как и в Выборге, и от осознания того, что когда — то это была великолепная имперская столица, впечатление упадка только усиливалось. Целых два дня я бродил по улицам, и иногда на глазах выступали слезы. Вскоре после возвращения в Париж я писал Карповичу: «Все вокруг производит впечатление какого — то ожидания, будто жизнь здесь кипела раньше и еще проснется, но неизвестно когда». Я не мог толком разобраться, что же меня так удручало, пока не прочитал много лет спустя воспоминания княгини Зинаиды Шаховской, которая приезжала в Москву приблизительно в то же время. Она писала, что, вглядываясь в лица людей на улицах Москвы, «было тщетно пытаться найти хотя бы одно лицо, определенно принадлежавшее урожденному москвичу. Вокруг был один сплошной колхоз»[4]. Хуже того, советский режим ликвидировал тем или иным способом самую образованную и предприимчивую часть крестьянства. В результате те, кого можно было видеть вокруг, были как в культурном, так и в физическом отношении самыми отсталыми представителями российского крестьянства, выселенными или бежавшими из своих деревень. Они выглядели как варварские захватчики, покорившие и заселившие то, что некогда было процветающим центром цивилизации.

Я знал, что за углом моего отеля, на улице Гоголя (а раньше и теперь снова — на Малой Морской) жил брат моей матери Генри со своей семьей. На второй вечер, изучив обстановку заранее, я незаметно выскользнул из отеля и направился туда. Казалось, за мной никто не шел. Консьержка сообщила мне номер квартиры, и я поднялся вверх по лестнице. Вот что я записал в путевом дневнике:

Я позвонил, в ответ залаяла собака. Дверь открылась, передо мной стояла женщина, которую я сразу же узнал как мою тетку. Я видел ее лицо на фотографиях. Она удерживала большую лающую немецкую овчарку и спросила, кого мне нужно. Я назвался, и она пригласила меня войти. Я вошел в гостиную. За столом сидел мужчина в рубашке с короткими рукавами и ел суп. Я стоял молча с минуту, пока они усмиряли собаку. Затем еще раз попросил их назвать фамилию, и когда они подтвердили ее, я назвал свою. Моя тетя открыла рот от удивления и бросилась ко мне на шею, а мой дядя медленно, словно какая — то неведомая сила сразила его, ошеломленный, поднялся из — за стола. Мы обнялись,

расцеловались и расплакались.

Прошло какое — то время, и мы успокоились. Меня приняли с радостью в сочетании с трепетом. Я уверил их, что за мной никто не следил. Вскоре раздался звонок в дверь. Пришла подруга моей двоюродной сестры Норы. «Что здесь происходит? — спросила она. — В парадной полно людей, они снуют вверх и вниз». Ну что еще можно сказать о моей способности уходить от слежки?! Мы часто виделись в течение тех дней, что я провел в Ленинграде, вполне осознавая, что, куда бы мы ни пошли, за нами следят. Как — то раз Виктор, брат Норы, показал мне их в трамвае: пожилая бабушка с сумкой, как будто задумавшаяся о чем — то, или хорошо одетый молодой человек, выглядевший как студент. Эта слежка меня очень удручала. Как — то раз, когда мы прощались вечером, Виктор сказал, улыбаясь: «Не беспокойтесь. Занимайтесь своими делами, а уж мы как — нибудь разберемся с этим». К сожалению, он умер от рака, не дожив до конца коммунистического режима, чтобы увидеть свое желание исполнившимся.

После Ленинграда я направился в Москву, где меня также поселили в самой престижной гостинице города «Националь», напротив Красной площади. Москва показалась менее удручающей, может быть потому, что я начинал привыкать к Советской России, а может, столицу содержали в лучшем состоянии. Я связался с Сидоровым, которого встретил двумя годами раньше в Риме, и через него познакомился с несколькими историками. Я прочитал лекцию в Институте истории об американских исследованиях по России. В институте меня принимал некий М. М. Штранге, специалист по французской истории. Позднее я узнал, что во время войны он был высокопоставленным советским агентом в оккупированном немцами Париже. Он излучал дружелюбие, и не из — за какой — то личной или профессиональной симпатии, а просто потому что, вероятно, ему было поручено завербовать меня в «органы».

Много времени я проводил в книжных комиссионных магазинах, покупая за гроши дореволюционные издания, которые совершенно невозможно было достать на Западе. Было запрещено вывозить издания до 1917 года, но Штранге устроил для меня разрешение послать их почтой. Эти книги легли в основу моей библиотеки по русской истории.

Из Москвы я поехал в Киев. Этот город был сильно разрушен во время войны, и в нем было мало интересного. Одесса, моя следующая остановка, была еще менее интересной. В моей поездке это был самый неинтересный пункт: дождливым днем молодой небритый гид показывал мне пустынный пляж на

Черном море. Большую часть времени я провел за чтением, закрывшись в своем номере в гостинице.

Затем я отправился поездом в Сочи, а оттуда в Тбилиси. Атмосфера в столице Грузии совершенно отличалась от того, что до сих пор меня удручало в Советском Союзе. То была средиземноморская, а не славянская атмосфера наслаждения жизнью. В центре города можно было видеть дыры в зданиях, следы стрельбы во время волнений годом раньше, когда грузины вышли на улицы, протестуя против критики Хрущевым Сталина. Я сделал доклад для нескольких работников местного Института истории, и не мог не заметить и не восхититься тем, насколько свободнее в своих взглядах были эти люди, чем их коллеги в Москве. С тех пор ведет начало моя влюбленность в Грузию, где сорок лет спустя мне было присвоено звание почетного гражданина.

Из Тбилиси я вернулся в Москву, откуда должен был вылететь в Центральную Азию. Была организована еще одна встреча в Институте истории. Когда я закончил выступление, Штранге елейным голосом предложил мне поделиться впечатлениями от поездки по стране. Я сразу почувствовал западню и ответил неопределенно, что у меня было слишком много разных впечатлений, чтобы выстроить определенное мнение. «Но ведь у вас должны быть какие — то впечатления», — настаивал он. Но я все равно отказался комментировать. Этот разговор подвел итог попыткам КГБ завербовать меня. Во время моего следующего визита ни Сидоров, ни Штранге ни какой — либо другой работник Института истории не нашли времени встретиться со мной. Я стал врагом, и с тех пор «органы» стремились найти на меня компромат.

Во время второго короткого пребывания в Москве меня пригласили на прием в американское посольство. Посол Чарльз («Чип») Боулен спросил, куда я направлюсь дальше. Я ответил, что утром на следующий день должен лететь в Ташкент. «Вы уверены? — спросил он. — Кажется, все рейсы в Ташкент отменены». Вернувшись в отель, я выяснил в офисе Интуриста, что это действительно так. Мы, конечно, не могли тогда знать, что к северу от Каспийского моря шли секретные приготовления к запуску спутника, как раз по курсу авиалинии Москва — Ташкент. И действительно, впоследствии появились данные, что согласно изначальному плану запуск намечался на начало мая, как раз на время, когда я должен был пролетать над этим регионом, но запуск не удался[5].

Я настаивал на том, что мне необходимо ехать в Центральную Азию, так как у меня были запланированы

выступления в Индии. Власти согласились и предложили мне специальный рейс на маленьком самолете, который обходными путями полетит в Ташкент через Свердловск (сейчас снова Екатеринбург). В самолете был еще только один пассажир, молодой, элегантный, левых взглядов торговец предметами искусства из Парижа. Он распространялся о достижениях Советского Союза и о том, каких замечательных людей повстречал. Я прервал его чересчур напыщенную речь и сказал, что все его замечательные встречи были или со стукачами КГБ, или с теми, кто должен был давать отчет КГБ, и что он находился под постоянным надзором. Такая мысль ему не приходила в голову, и это его несколько озадачило. Наконец, во время обеда в Свердловском аэропорту его осенило: «Я знаю, почему вы так уверены, что за мной следят. Это вы следите за мной!»

Ташкент оказался не очень интересным, а Самарканд и Бухара, к сожалению, были тогда закрыты для иностранцев. Меня поразило, что мусульманские кварталы города были отделены от современных русских кварталов. Я пошел на представление гастролирующей труппы еврейских актеров, но оно оказалось до такой степени антисемитским по духу, что я ушел с чувством негодования после первого действия. Я намеревался отправиться обратно в гостиницу, однако заблудился в лабиринте старого города, но не испытал ни малейшего беспокойства, уверенный в том, что невидимая кагэбэшная компаньонка выручит меня. Однако никакой компаньонки не оказалось. Вероятно, кагэбэшники исходили из того, что, если иностранец купил билет в театр, он там будет оставаться до конца спектакля. Впоследствии такой образ мышления подтвердился.

В столице Казахстана Алма — Ате, моей последней остановке, я наблюдал первомайскую демонстрацию, на которой казахи безучастно несли портреты Сталина. На меня произвели сильное впечатление Тянь — Шаньские горы, окружавшие город. Сопровождавший меня молодой гид — как я понял, ленинградский студент, высланный в Центральную Азию за диссидентские взгляды, — с гордостью рассказывал о советских достижениях в регионе. Я задал ему вопрос: «А что будет, если казахи скажут вам, как алжирцы заявили французам: «Большое спасибо, а теперь, пожалуйста, убирайтесь». «Пусть попробуют», — ответил он.

Из Алма — Аты я полетел в Кабул в допотопном советском самолете, заполненном русскими «экспертами», летевшими в Афганистан для оказания дружественной помощи. Здесь меня поразило, что афганцы настолько позволяли Советскому Союзу вмешиваться в свои внутренние дела, что разрешили, например,

из узбекского Термеза в Кабул строить дорогу, которая могла служить только одной цели, а именно — доставлять советские войска в сердце Афганистана. Глава американской миссии, который любезно встретил меня в аэропорту и оказал гостеприимство в своей резиденции, сообщил, что главный проект помощи американцев заключался в строительстве хлебопекарни.

После непродолжительного пребывания в Индии, ослепившей меня своими красками и изнурившей невыносимой жарой, я возвратился в Париж. Весть о моем возвращении быстро распространилась, и я получил много приглашений с предложением рассказать о путешествии и показать слайды и фотографии, которые я привез с собой. Среди тех, кто выказал особый интерес к моим впечатлениям об СССР, был Вальтер Штоссель, в то время работавший в штате НАТО, а впоследствии посол США в Москве. Он организовал мою встречу с несколькими высокопоставленными чиновниками НАТО. Я описал им гнетущее впечатление, которое произвел на меня Советский Союз, и выразил сомнение, что такая бедная и отсталая страна могла представлять серьезную угрозу для нас. Они смотрели на меня с нескрываемым скептицизмом.

Больше всего меня расстраивали во время поездок в Советский Союз — и тогда, и позже — не столько бедность, серость и однообразие, сколько всеобъемлющая ложь. Я говорю не о бесстыдной лжи, льющейся из официальной пропагандистской машины, — я не встречал никого, кто обращал бы на нее серьезное внимание, — а о том, что все отношения между людьми, за исключением тесного круга друзей и семьи, основывались на притворстве. Все вокруг лгали и все вокруг знали, что вы знаете, что они лгут, и тем не менее необходимо было притворяться, что это не так. Ничего не изменилось с 1930-х, когда Андре Жид совершил свою знаменитую поездку в Советский Союз. «Правду, — писал он по возвращении, — говорили с ненавистью, а ложь — с любовью»[6]. Все это создавало удушающую атмосферу, из — за чего, уезжая из этой страны, испытываешь облегчение.

Мне хорошо запомнился инцидент, иллюстрирующий эту сторону советской жизни, который произошел в один из моих последующих визитов. Как — то раз я сел в трамвай в Ленинграде и, чтобы купить билет, достал из кармана мелочь. Вместе с советскими монетами оказалась также и монета в полдоллара с изображением Кеннеди.

Кондуктор, сидевшая у входа, сразу же разглядела ее и спросила: «А вы американец?» Я кивнул утвердительно, и она

стала настойчиво предлагать мне сесть на свое место. Пока трамвай катился по маршруту, она показывала всякие достопримечательности и громко нахваливала красоты города, уговаривая меня, так как я говорил по — русски, переехать сюда с семьей. Но вот трамвай остановился, пассажиры входили и выходили. Пользуясь сумятицей, кондуктор нагнулась ко мне, и выражение ее лица изменилось с притворно благостного на искренне взволнованное. Она спросила быстрым шепотом: «Ведь мы живем как собаки, скажите, разве не так?» Этот случай произвел на меня потрясающее впечатление: на одно мгновение была сброшена маска, которую советские люди обычно носили.

Когда я вернулся в Кембридж и рассказал об этом угнетающем чувстве, один из старших профессоров, вторя Понтию Пилату, произнес: «Дик, откуда вы знаете, что есть ложь и что есть правда?» Преднамеренное стремление избегать моральных и человеческих аспектов в суждениях о Советском Союзе характеризовало всю советологию и в большой степени объясняет полный провал ее попыток предвидеть судьбу этой страны.

Чем больше я узнавал о коммунизме или из личного опыта, или из чтения, тем сильнее чувствовал презрение к нему. Мою растущую ненависть лучше всего выразить словами Чехова из письма к другу: «Я ненавижу ложь и насилие во всех их видах… Мое святое святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались»[7]. Вероятно, не у всех такой низкий уровень терпимости ко лжи и насилию, лежащим в основе коммунистических режимов. Тем, у кого он выше, моя враждебность к коммунизму казалась просто навязчивой идеей.

Лето 1957 года мы провели в Энгадинской долине в Швейцарии в местечке Силс — Мария, рядом с домом, где Ницше провел много времени в последние годы жизни.

Объявления, расклеенные по всей деревне, гласили: «Дом Ницше продается». Лето я использовал, чтобы описать мое путешествие в Советский Союз, но так и не довел это дело до конца.

Профессорство

Мы возвратились в Кембридж в сентябре 1957 года, но никакого решения о вакансии Гарвардский университет так и не принял. Мое назначение на должность лектора на отделении истории и литературы, а также научного сотрудника в Центре русских исследований на один академический год было оформлено только в октябре. Тем не менее ситуация на факультете близилась к развязке. Карповичу оставался только один год до семидесятилетия, и по законам того времени в этом возрасте он был обязан выйти на пенсию. (В ноябре 1959 года он умер от рака.) Кроме того, Малиа четвертый год был в должности доцента. Это означало, что он должен был или получить повышение, или покинуть Гарвард. Я не был посвящен в обсуждения, происходившие на факультете осенью 1957 года. Но 3 декабря того же года меня вызвали в кабинет председателя факультета Майрона Гилмора, и он сообщил мне, что «после продолжительного и внимательного рассмотрения» вопроса факультет прошлым вечером решил рекомендовать мою кандидатуру на должность адъюнкт- профессора по российской истории, что означало штатную должность. Как записано в моем дневнике, «от этой новости я чуть не подскочил на месте».

Эта должность была официально предложена мне в апреле 1958 года деканом факультета искусств и гуманитарных наук Мак — Джорджем Банди, который был всего на три года старше меня. Я принял предложение без колебаний, не задавая вопросов и не ставя условий. Моя зарплата в 1958–1959 учебном году составляла 8 ООО долларов.

В романе «Анна Каренина» Толстой описывает беспокойство Вронского, после того как он завоевал сердце Анны и она ушла ради него от мужа. Он объясняет это чувство тем, что Вронский совершил «вечную ошибку, которую делают люди, представляя себе счастье осуществлением желания». Быть может, это наблюдение и верно в каком — то общем смысле, но оно совершенно не подходило ко мне. Я представлял себе счастье как возможность до конца своей жизни спокойно заниматься наукой. Как только эта возможность была предоставлена мне судьбой, я испытывал беспрерывное состояние счастья.

Преимущества профессорства в крупном университете не очень хорошо известны. На самом деле они уникальны. Во — первых, это гарантия — вплоть до обязательного ухода на пенсию, в то время в возрасте семидесяти лет. В наши дни обязательный выход на пенсию отменен, потому что это считается

«возрастной дискриминацией», и профессор имеет право преподавать так долго, как пожелает, даже будучи глубоким и дряхлым стариком. Во- вторых, рабочая нагрузка, по крайней мере в крупных исследовательских организациях, небольшая. В Гарварде мы должны были читать два курса в семестр, но это правило так и не было зафиксировано официально и многие профессора читали меньше этого минимума. В-третьих, академический год довольно короток. В Гарварде у нас было два семестра по двенадцать недель каждый, что на практике означало всего двадцать четыре рабочих недели в году, притом что лекции занимали не более пяти часов в неделю. В-четвертых, мы имели право брать академический отпуск без содержания раз в четыре года, а раз в семь лет имели право на целый семестр оплачиваемого академического отпуска. Для такого человека, как я, который всегда использовал возможность взять академический отпуск, преподавание сводилось к 120 часам лекционных занятий в год в течение трех лет, за чем следовал очередной академический отпуск. И наконец, нагрузка облегчалась еще и тем, что, если лекционный курс слушало более тридцати студентов, а именно так и было в большинстве моих курсов, факультет выделял нам из числа ассистентов аспирантов для просмотра и оценки письменных экзаменационных работ.

Конечно, профессорские обязанности не ограничивались только лекциями. Мы руководили работой аспирантов и принимали участие в заседаниях университетских и факультетских комитетов. Однако в целом уверенность в завтрашнем дне в сочетании с частыми очередными и академическими отпусками предоставляли завидную возможность заниматься научной работой и другой деятельностью в сфере индивидуальных интересов. Штатный профессор пользовался полным доверием в своей области. Считалось само собой разумеющимся, что он знал лучше других, как построить преподавание данной дисциплины: он преподавал то, что считал нужным, и когда считал нужным.

Занятия наукой — процесс весьма уединенный. В основном ученый общается сам с собой. Монтень, должно быть, считал мыслителей подобными себе, когда писал: «Nous avons une âme contournable en soi — même; elle se peut faire compaignie». («У нас есть душа, которая обнимает сама себя; она способна составить сама себе компанию».) Такая жизнь не каждому подходит, и я стал со временем советовать аспирантам, у которых появлялись признаки раздражения таким образом жизни, оставить академическую карьеру.

Профессорская жизнь, однако, не только радостна и легка.

Психологически ученые менее уверены в себе, чем большинство других людей. В своей массе, как мне кажется, когда они минуют порог среднего возраста, их охватывает тревога. Дело в том, что бизнесмен знает, что его дела идут хорошо, если он делает деньги; политик — если выигрывает выборы; спортсмен — когда становится первым в состязаниях, а популярный писатель — когда пишет бестселлеры. Но у ученого нет четких критериев, по которым можно судить об успехе. Поэтому он живет в состоянии постоянной неуверенности, которая растет с возрастом и становится все более угнетающей, если энергичные и молодые ученые прорываются на передний план и отвергают его труды как устаревшие. Главным критерием успеха для него является оценка и суждения ему равных. Но это влечет за собой стремление сохранять хорошие отношения с ними, что в свою очередь предрасполагает к конформизму и «групповому мышлению». Предполагается, что в этом случае ученые будут одобрительно цитировать друг друга, посещать конференции, редактировать и писать статьи для коллективных сборников. Профессиональные сообщества предназначены для того, чтобы способствовать этому. Те же, кто не играет по этим правилам или существенно отклоняется от общего мнения, подвергаются остракизму. Классическим примером такого остракизма может служить отношение к одному из выдающихся экономистов и теоретиков обществоведения прошлого столетия Фридриху фон Хайеку. Его бескомпромиссное осуждение экономического планирования и социализма окончилось тем, что его изгнали из профессиональной деятельности. Он прожил достаточно долго, чтобы дождаться времени, когда его взгляды взяли верх и его репутация была восстановлена присуждением Нобелевской премии. Но не всем в аналогичной ситуации везет так, как ему. Такое поведение, которое можно наблюдать и в сообществах животных, усиливает сплоченность группы и чувство безопасности отдельных ее членов, но также препятствует творчеству.

Меня особенно огорчает отношение многих ученых к преподаванию не как к священному долгу, а как к синекуре, наподобие того как относились к своим обязанностям средней руки протестантские пасторы в Англии XVIII или XIX века, которые не считали нужным хотя бы ради приличия притворяться, что верят в Бога. Типичный ученый, закончив и опубликовав диссертацию, сам утверждает свой авторитет в данном предмете и до конца своей жизни пишет и читает лекции по этой или близкой ему теме. Коллеги приветствуют подобного рода компетентность и не терпят того, кто пытается взглянуть на

предмет более широко, потому что это означает посягательство на их вотчину Общие обзорные тексты по истории не принимают всерьез и называют их «популярными» и якобы полными ошибок, особенно если они не воздают хвалу ордам тех, кто работает в этой области. В рассказе «Скучная история» Чехов поставил диагноз подобного рода бесплодию, объяснив его отсутствием «главного элемента творчества: чувства личной свободы… без свободы, без мужества писать как хочется… нет и творчества»[20].

Таковы неприглядные стороны профессии ученого, но тех, кто выбрал свой путь, это не должно беспокоить.

Мое назначение было встречено теплыми поздравлениями доброжелателей и воплями зависти некоторых других (о них я узнал из третьих уст). Те, кто тщетно стремился получить эту кафедру, никогда мне этого не простили. Как я узнал в ту пору, зависть в некотором смысле худший из семи тяжких грехов: если первые шесть наносят вред самому грешнику, то этот вредит объекту зависти, который может защищаться, только нанося ущерб самому себе. Бальзак хорошо охарактеризовал зависть как «постыдное накопление несбывшихся надежд, нереализованных талантов, неудач и уязвленного самолюбия».

В течение последующих тридцати восьми лет, прерываемых только периодическими академическими отпусками и двумя годами службы в Вашингтоне, я преподавал в Гарварде всевозможные курсы по русской истории: средневековая Россия, имперская Россия, история русского общественного мнения, история российских институтов власти, вводные курсы обязательной программы: по русской цивилизации и русской революции, аспирантские семинары и семинары для первокурсников. Вместе с моими коллегами Уолтером (Джэком) Бэйтом и Дэвидом Перкинсом, мне довелось вести курс о Кольридже на факультете английского языка и литературы. Количество записавшихся на мои курсы варьировало в зависимости от политического положения. Когда пресса уделяла много внимания Советскому Союзу, количество слушателей увеличивалось, когда на передний план выходили внутриполитические проблемы, оно уменьшалось. (Мне как- то сообщили, что количество студентов на курсах японского языка следовало за индексом Никкей на токийской бирже ценных бумаг.)

Как правило, абитуриенты, принятые в Гарвард, были весьма развиты в том смысле, что быстро схватывали материал, однако уровень их знаний был ужасающе низок. Когда я подготовил в 1985 году свой первый семинар для первокурсников по истории русских интеллектуальных течений, 127 студентов подали заявки

на 12 мест, и я решил предложить им короткий тест. Я не рассчитывал на то, что они будут знать что — нибудь о России, но считал, что человек, интересующийся историей интеллектуальных течений, должен быть знаком с классикой мировой литературы. Увы, я был сильно разочарован: кроме «Преступления и наказания», которое, как мне кажется, они читали как триллер, и «Мадам Бовари» (из тех студентов, кто изучал французский в старших классах школы), они не знали ничего: Диккенс, Толстой, Джордж Элиот, Чехов, Сервантес — для них это были просто имена, которые они, может быть, когда — то слышали, да и то вряд ли. Меня ужасало, насколько молодежь Америки была *déraciné* (потерявшей почву) в культурном отношении, насколько она была лишена культурного багажа, на который могла бы опереться, сталкиваясь с неизбежными проблемами жизни. Положение было настолько скверным, что, если подавший заявление обнаруживал хоть какое — то знакомство с крупным писателем или мыслителем прошлого, я сразу же зачислял его или ее на семинар.

Я также руководил исследовательской работой многих аспирантов. К тому времени когда я вышел на пенсию, под моим руководством получили степень доктора исторических наук более восьмидесяти аспирантов. Некоторые из них, возможно даже большинство, придерживались политических взглядов левее моих, но я никогда не оказывал на них давления. Кроме того, я предоставлял им большую свободу в выборе темы диссертации. Личные отношения с ними складывались по — разному. Некоторые, получив научную степень и свои кафедры, вообще исчезали из поля зрения; другие поддерживали поверхностные контакты, возобновляемые когда им требовались рекомендательные письма; некоторые стали друзьями на всю жизнь. В целом создается впечатление, что американские аспиранты относятся к своим профессорам не как к интеллектуальным и духовным наставникам, а как к людям, необходимым им на определенной ступени жизни для карьерного роста. Приблизительно так же они относятся и к школьным учителям. Когда я описывал подобное отношение русским коллегам, те находили его совершенно непонятным.

Был я и членом всевозможных факультетских и университетских комитетов, но мне это занятие не нравилось. В 1968 году я стал директором Центра русских исследований на пять лет. Нельзя сказать, чтобы я особо отличился в этой роли, хотя я и достал какие — то средства от фонда Форда.

В 1964 году, когда у меня было больше дюжины аспирантов, мы обсуждали с ними как использовать их таланты для общей

пользы — их собственной и для науки в целом. Мне пришла в голову мысль основать периодическое издание, куда бы помещались рецензии на книги по русской истории, публиковавшиеся в Советском Союзе и не находившие отклика на Западе. Аспирантам понравилась эта идея; так появилась «Критика» — журнал, выходивший три раза в год под моим общим руководством, материалы писали и редактировали исключительно сами аспиранты. У нас набралось более пятисот подписчиков, и мы стали самоокупаемыми. Журнал выходил до 1984 года и должен был закрыться, потому что к тому времени количество аспирантов по русской истории в Гарварде сократилось до двух — трех человек. Мне кажется, что «Критика» была уникальным изданием в США, дававшим возможность аспирантам заниматься профессиональной работой и положить начало своим собственным публикациям.

Контакт с молодежью в процессе преподавания — это великая награда для преподавателя, так как помогает ему оставаться молодым. Кроме того, это стимулирует научную деятельность. Каждый раз когда я начинал работать над большой книгой, такой как «Русская революция», я читал лекционный курс по данной тематике. Сталкиваясь с аудиторией не информированной, но образованной и жаждущей знаний, я был вынужден четко формулировать свои мысли, так как любая туманность или неясность моментально вызывала соответствующую реакцию. Было два случая, когда критические замечания моих студентов заставили меня обратить внимание на серьезные изъяны в моей аргументации и убедили меня переделать книгу, над которой я работал.

Струве

Закончив в ноябре 1957 года работу над текстом Карамзина «Записка о древней и новой России», я занялся поисками какого — нибудь другого крупного консервативного русского мыслителя. Летом 1958 года мне попали в руки воспоминания Семена Франка о Петре Струве, одном из столь же блистательных, сколь и противоречивых деятелей российской интеллектуальной и политической жизни в период с 1890-х по 1930-е годы.

Струве родился в 1870 году в семье ассимилированных немцев. Его дед Вильгельм бежал в Россию, чтобы избежать наполеоновского призыва в армию. Он стал знаменитым астрономом своего времени, основателем Пулковской обсерватории. Среди его потомков насчитывается три поколения известных астрономов. Отец Петра, высокопоставленный чиновник на российской государственной службе, после того как у него возникли неприятности с начальством, перевез семью на несколько лет в Штутгарт. В результате не по годам развитый юноша чувствовал себя как дома и в Германии, и в родной ему России. В течение всей своей жизни Струве исповедовал идеи, которые нелегко сочетались в России. В молодости он был социалистом, который отдавал предпочтение свободе перед равенством, а став либералом, считал, что свободу России принесет не буржуазия, а рабочий класс. Пылкий патриот России, он видел величие своей страны неразрывно связанным с западной культурой. В 1890-х, сначала как студент университета, а потом как публицист, он сделал учение Карла Маркса известным в России. Когда русские марксисты попытались основать социал — демократическую партию, они поручили ему написать соответствующий основополагающий манифест. Еще до достижения тридцатилетнего возраста он стал знаменитостью.

Затем начались неприятности. В конце 1890-х Струве, которого Максим Горький назвал «Иоанном Крестителем всего нашего возрождения», попал под влияние немецких ревизионистов, считавших ошибочным предсказание Маркса о неизбежном и нарастающем обнищании рабочего класса. В своих блестящих статьях Струве раскрыл несостоятельность социальной теории Маркса и пришел к выводу, что социализм победит только в результате эволюции, а не революции, то есть в результате постепенного улучшения положения рабочих и выгод от их участия в политической власти. Аргументы ревизионистов оказались вполне убедительными, и дальнейшие события подтверждают их правоту. Но в накаленной атмосфере

радикальной интеллектуальной жизни в России подобные идеи казались просто еретическими. Революционная фракция, более заинтересованная в захвате власти с помощью революции, чем в улучшении положения рабочих, сомкнула ряды и исключила Струве из партии, чего не произошло в отношении Эдуарда Бернштейна, который играл подобную роль на Западе.

После этого Струве вступил в ряды нарождавшегося либерального движения и стал редактором его главного органа «Освобождение», публиковавшегося за границей. После революции 1905 года, разочарованный тем, что русская интеллигенция не желала работать в рамках нового конституционного порядка и продолжала поклоняться революции, он оставил политику и посвятил себя журналистике и изучению экономики. В 1917 году он был избран в Академию наук. Он был одним из немногих либералов, кто не принял Февральскую революцию, опасаясь, что она приведет к первобытной анархии. Струве эмигрировал на Запад в 1919 году и умер в оккупированном нацистами Париже в 1944 году.

Струве привлекал меня не только своим пророческим анализом марксизма и коммунизма, несмотря на сопротивление, которое он встречал. Например, в 1920-х годах, когда начало НЭПа убедило многих русских и иностранцев, что Советская Россия вошла в Термидор- скую фазу революции, он предсказывал, что коммунизм не потерпит ни политическую, ни экономическую свободу, и, следовательно, эта система не реформируема: любая реформа привела бы к его краху, что полностью подтвердилось семьдесят лет спустя. Более всего меня привлекали в Струве бескомпромиссная интеллектуальная честность и гражданское мужество: готовность до конца следовать своим убеждениям, невзирая на то, насколько непопулярными они могут оказаться. В биографии Струве я писал, что он обладал в высокой степени добродетелью, которую древние греки называли *arete* и которая означала полную самореализацию. Это качество Струве в сочетании с огромной эрудицией и удивительно трезвым мышлением сделало меня его горячим почитателем.

Когда мне впервые пришла в голову мысль написать биографию Струве, я полагал, что это займет два года. Но оказалось, что я не представлял себе, как много он писал, как разбросаны по разным изданиям его труды и как нелегко их собрать. На биографию Струве из двух томов я потратил в общей сложности не менее десяти лет урывками в течение двадцати лет. Первый том вышел к столетию его рождения в 1970 году, второй — в 1980-м. Мои надежды, что этот труд приведет к переоценке

вклада и места Струве в российской истории, не оправдались. Разумеется, советские ученые проигнорировали мой труд. Для них он оставался, согласно ленинской характеристике, «ренегатом»[21]. Западные же исследователи российской истории находились в тисках собственного «ревизионизма», который в основных чертах следовал за советской интерпретацией, и держались той точки зрения, что все происходившее — результат действия «истории снизу», то есть классовой борьбы, и, по сути, игнорировали биографию «неудачника». Однако я никогда не жалел о годах, потраченных на изучение жизни этого необыкновенного человека, отчасти потому, что считал для себя честью познакомиться поближе с такой благородной личностью, а отчасти потому, что испытывал благодарность за полученные от него знания о сущности коммунизма и коммунистической России. Он оказал на меня большое влияние во многих отношениях. Позже, когда мое внимание привлекла проблема частной собственности и ее отношение к политической свободе, я обнаружил, что мои мысли по этому поводу, осознанно или нет, удивительным образом основывались на идеях Струве.

1961–1962 учебный год, воспользовавшись моим академическим отпуском, мы провели в Париже. Наше второе пребывание в Париже было даже приятнее первого, потому что мы были знакомы с большим количеством людей и чувствовали себя уже более привычно. В то время президентом страны был де Голль и он не жалел средств, чтобы сделать Париж еще более прекрасным: многие здания были очищены от въевшейся за десятилетия грязи. Если не обращать внимания на редкие террористические акты ОАС, нелегальной организации французских националистов, обозленных предоставлением независимости Алжиру, то можно сказать, что страна была спокойной и процветающей. Я работал над биографией Струве в Национальной библиотеке и в Институте живых восточных языков. Мы много путешествовали: в Швейцарию, долину Луары и в Испанию. Первую половину лета 1962 года мы провели в Сент — Максим, на Ривьере, в поместье, раскинувшемся на многих акрах и покрытом раскидистыми соснами и виноградниками.

В результате поездки нескольких преподавателей Гарварда в Ленинград в январе 1959 года было заключено соглашение об обменах преподавателями с Ленинградским университетом. В 1962 году мою кандидатуру предложили в качестве кандидата на такой обмен, и после нескольких задержек, связанных с получением советской визы, в середине марта я полетел в Москву. А из Москвы, где провел несколько дней, отправился в Ленинград ночным поездом. В поезде, прежде чем уснуть, я

выпил глоток коньяка «Мартель Кордон Блё», который привез из Франции и взял с собой для утешения в моменты приступов депрессии, которые часто посещали меня в России. Бутылка была упакована в красивую голубую с золотом коробку с изображением Людовика XIV. Но горничная в гостинице в Москве не удержалась и взяла ее себе, а бу- тылку по моей просьбе запаковала в обычную оберточную бумагу, но сделала это так, что ее горлышко заметно выделялось. Я попросил проводника разбудить меня за полчаса до прибытия.

Очевидно, он забыл о моей просьбе, так как первое, что я услышал утром, когда он открыл дверь, было его громогласное объявление: «Ленинград!». У меня едва хватило времени одеться, как поезд остановился и два носильщика ввалились в мое купе за багажом. Я схватил портфель и бутылку коньяка и, ступив на платформу, увидел исторический факультет университета в полном составе, чтобы приветствовать меня; все смотрели на злополучную бутылку. Я был в ужасе. К счастью, оказавшийся там американский аспирант освободил меня от этого позорного предмета.

До отъезда из Парижа я написал текст четырех лекций на русском языке о русском консерватизме XIX века. Честно говоря, я преследовал политическую цель. Не критикуя напрямую советский режим, я хотел показать, что консерваторы царской эпохи предвидели несчастья социалистического, коммунистического общества, в котором жили мои коллеги. Мое выступление вызвало огромный интерес: на мои лекции пришли несколько сот студентов и немалое число преподавателей. Сначала мне сказали, что после каждой моей лекции будет дискуссия, но оказалось, что руководство факультета передумало. Опасаясь «провокационных» вопросов, декан закрыл заседание сразу после моего выступления. Тем не менее после третьей лекции, как будто по сигналу, студенты ринулись ко мне и, окружив, стали задавать разные вопросы, большинство из которых действительно можно назвать «провокационными».

Преподаватели относились ко мне крайне сердечно. Когда я заболел гриппом, мои лекции отложили на другие дни до полного выздоровления. Они также раздобыли для меня пенициллин, который можно было достать только на “черном рынке”. Однако каждый дружеский жест, как я потом обнаружил, зависел от того, буду ли я соблюдать правила игры, а именно — воздержусь от того, чтобы писать или говорить что — либо, что могло бы повлечь неприятности для них со стороны властей. Трудность выполнения этого условия заключалась в том, что существовала высокая доля вероятности, что я не смогу его

соблюсти, столкнувшись с необходимостью говорить правду. Потому что когда правда на одной чаше весов, а целесообразность на другой, я без всяких колебаний выбираю правду, следуя приписываемому Аристотелю изречению: «Платон мне друг, но истина дороже». Печальное следствие этого принципа заключается в том, что друзья могут стать врагами.

Работая над биографией Струве, я узнал, что в ранний период своей жизни он встречался с Лениным. Исследуя эту тему, я детально изучил первые контакты Ленина с санкт — петербургским рабочим движением, единственные его прямые контакты с рабочими вплоть до 1917 года. Некоторые исследования я провел во время пребывания в Ленинграде. К своему удивлению, я узнал, что небольшая группа рабочих в столице, связанная с профсоюзами, сторонилась радикальной интеллигенции, включая Ленина, потому что была более озабочена улучшением экономического положения и образования, чем политикой. Этот опыт привел Ленина к выводу, что пролетариат на самом деле не был предан революции и поэтому революционный дух должен быть привнесен в его ряды извне — профессиональными революционерами, которые могли быть только интеллигентами. Это немарксистское заключение привело Ленина к формулированию в работе «Что делать?» бланкистской доктрины «революции сверху», которая стала сущностью большевистской теории и практики.

Небольшая книга «Социал — демократия и рабочее движение в Санкт — Петербурге, 1885–1897 гг.» (1963), в которой я изложил эти мысли, вызвала целую бурю в кругах советских историков, так как, основанная на очевидных фактах, она бросала вызов обязательной для всех доктрине, что большевистская партия всегда выражала интересы «трудящихся масс». Исторический факультет Ленинградского университета попал в неприятное положение, приняв у себя такого нарушителя спокойствия, как я, и оказав содействие в допуске к архивным материалам, использованным в таких низменных целях. (На самом деле в тот приезд я нашел мало сколько — нибудь значимых архивных материалов.) В результате факультет заставили разорвать со мной отношения. По приказу свыше две бедные русские женщины, историки (с одной из них я консультировался) написали книгу «Мистер Пайпс фальсифицирует историю» (Ленинград, 1966). В ней было столько ошибок, искажений и просто лжи, что я так и не сумел ее дочитать до конца. Даже обложка этой непристойной книжонки, черная с желтыми буквами, была отвратительна в своем антисемитизме.

Эпилог этой истории был довольно любопытным. Как мне сообщили американские студенты, учившиеся по обмену в Москве, за написание такой подрывной книги на меня наиболее агрессивно нападал «академик» И. И. Минц, сталинский лакей, которому было поручено служить надзирателем над исторической наукой, занимавшейся советским периодом. (Как я узнал позже, в начале 1953 года, будучи сам евреем, он играл видную роль в давлении на еврейскую интеллигенцию с целью заставить ее просить Сталина депортировать всех евреев в Сибирь.) Когда несколько лет спустя Минц появился в Соединенных Штатах и попросил о встрече со мной, я отказался. Тем не менее он отыскал мой кабинет в Уайд- неровской библиотеке. Войдя, и еще до того как снять пальто, он воскликнул: «Поздравляю! Вы написали блестящую книгу». — «Вы действительно так думаете?» — «О, да». Когда мы присели, он сообщил мне, что я сделал только одну ошибку, а именно — подверг Ленина критике во вступлении, то есть до того как были представлены доказательства, что якобы создавало впечатление о предвзятом отношении к нему.

Эдмунд Вильсон и Джордж Кеннан

Наша жизнь шла своим чередом: когда я преподавал, осень и весну мы проводили в Кембридже, а лето на даче, которую купили в 1960 году в местечке Чешам в штате Ныо — Гемпшир прямо над Серебряным озером в менее чем двух часах езды от Кембриджа. С тех пор я писал в основном там. Удивительно, но факт: я совершенно американизировался только после того, как провел несколько летних сезонов в сельской местности. Только после знакомства с дикими цветами и деревьями и наблюдая за кроликами и хомячками, я пустил корни в эту землю, чего не мог сделать на мостовых города. Уже в 1980-х я занялся садоводством, что укрепило мое чувство близости к этой земле.

В начале 1960-х я познакомился с двумя известными людьми, Эдмундом Вильсоном и Джорджем Кенна- ном. Оба они оказали на меня весьма большое, но различное влияние.

Вильсон, ведущий в своем поколении американский критик, а также историк литературы и писатель, пользовался репутацией человека резкого, эгоцентричного, с которым трудно было иметь дело. Даже энциклопедия «Бри- таника» в заметке о нем — вопреки обычной сдержанности — отметила его «брюзгливый характер». В какой — то степени такая репутация была оправдана. Он терпеть не мог толпы, чувствовал себя ужасно, если к нему относились как к знаменитости, и буквально душевно страдал, если ему приходилось выступать на публике[22]. Его инстинктивной реакцией в таких случаях было бегство. С людьми, беспокоившими его, он мог быть груб. Как — то раз, после того как он вынужден был пройти через мучительное испытание в связи с награждением медалью Макдауелла в Петербороу, штат Нью — Гемпшир, к нему подошла дама и в моем присутствии спросила его, что он думает о недавно опубликованном романе «Группа» Мэри Мак — Карти. «Я не читаю романов моих бывших жен», — ответил он резко. Как — то раз польский эмигрантский поэт, хорошо известный в Польше, но не в Соединенных Штатах, рассказал ему невнятную историю о том, что кто — то не отнесся к нему должным образом. «Вы понимаете, он просто не знал, кто я такой», — добавил поэт, объясняя поведение обидчика. Вильсон ответил с притворной невинностью: «Так кто же вы?»

Прежде чем судить о его манерах, добавлю к сказанному, что ему постоянно докучали писатели, стремившиеся заручиться его одобрением: его положительная рецензия могла сделать имя начинающему писателю. Поэтому, чтобы оградить себя от подобного рода давления и иметь возможность заниматься своим

делом, он надел маску неприступности. Он даже напечатал карточки, содержащие ответы на всевозможные просьбы, с которыми к нему могли обратиться: «Эдмунд Вильсон сожалеет о том, что не имеет возможности: читать рукописи, писать статьи или книги по заказу… давать интервью… читать лекции… подписывать книги незнакомым… предоставлять свои фотографии» и так далее, так что все, что ему оставалось сделать, получив очередную просьбу, это отметить в карточке определенную строку и отослать ответ.

Благодаря тому, что мне ничего от него не было нужно и у нас было много общих интересов, мы прекрасно ладили. Впервые мы встретились в феврале 1960-го на «пикнике с шампанским» в доме Маркуса и Митси Кан- лифф: они приехали в Гарвард на год из университета Сассекса. В то время Вильсон работал над книгой *Patriotic Gore* («Патриотическая кровь»). На меня сразу же произвели впечатление его неутолимая любознательность, нежелание почивать на лаврах и готовность получать новые знания даже в качестве подмастерья. То его интересовал французский символизм, то Ленин и русская революция, то свитки Мертвого моря и венгерский язык и литература. Мне никогда не встречался человек его возраста и репутации такого уровня, который настолько проявлял бы свойственную молодым любознательность. Мы часто вели разговоры, иногда в Кембридже, когда он заходил к нам, а иногда в его доме в Уэллфлит. (Я подозреваю, что он иногда страдал от приступов депрессии и нуждался в моральной поддержке.) Мы обсуждали широкий круг проблем; говорил он с некоторым усилием и даже с едва заметным заиканием, но слушал очень внимательно. Он был неисправимым романтиком во всем: наш общий друг как — то сказал, что, идя на прием, Вильсон каждый раз рассчитывал на какое — то яркое впечатление.

В политике, однако, он был ребенком. Я имею в виду не только его увлечение в 1930-е годы коммунизмом, о котором он как — то сказал мне: «Нас обманули». Похоже, он также совершенно не понимал, чем занимается правительство, зачем оно собирает налоги, зачем нужна армия. Все, что не имело отношения к литературе и культуре в самом широком смысле слова, он считал бесполезным.

В 1970 году у него случился удар. Когда вскоре после выздоровления он зашел к нам, Ирен, открыв дверь, взглянула на него и сказала: «Эдмунд, вы хорошо выглядите». Он подмигнул, но не произнес ни слова. Однако, уходя, сказал: «Вы знаете, Ирен, человек проходит три стадии возраста: молодость, зрелость и старость. Вы сейчас определили меня в четвертую: когда кто — то

“хорошо выглядит”».

В последний раз мы видели его в апартаментах шикарного бостонского отеля «Риц». Очевидно, он получил много денег, снял этот номер и, расположившись там как королевская особа, принимал посетителей, опрокидывая один «мартини» за другим. Он был в прекрасном настроении. Мы поговорили немного и собрались уходить, так как нам нужно было идти на прием. «Останьтесь», — попросил он, но мы отказались и ушли. Я всегда сожалел о том, что предпочел очередной прием с коктейлями еще одному часу с Эдмундом.

Его вдова Елена рассказала нам, что он хорошо обдумал слова, которые скажет на смертном одре. Как бы там ни было, но он умер в родительском доме, в Талкотви- ле, штат Нью — Йорк, где проводил каждое лето под присмотром сиделки. В то утро она спросила его, хочет ли он сначала позавтракать или принять душ. «Я хочу завтракать», — ответил он и умер.

Меня очень порадовало, что, как следует из его посмертно опубликованных дневников 1960-х гг., он очень ценил нас. Ведь он мог быть весьма резким по отношению к людям.

Джордж Кеннан во многом был противоположностью Вильсона. Если Вильсон был низеньким и толстым, то Кеннан высоким и элегантным. Публичные выступления были пыткой для Вильсона, а Кеннан это делал с естественным изяществом. Больше всего меня восхищала довольно редко встречающаяся способность Кеннана понимать основные свойства коммунистической системы, причем без иллюзий, характерных для американских либералов, а также его понимание сложных взаимосвязей между коммунистической системой, российской историей и русским народом. Его «длинная телеграмма» 1946 года, а также статья в журнале *Foreign Affairs* («Мировая политика») за подписью «Мистер Икс» хорошо известны и не требуют подробного пересказа. В них он изложил принципы «политики сдерживания», которые утверждали, что энергичные действия по сдерживанию советской экспансии приведут к падению коммунистической системы.

Весной 1960 года он прочитал серию лекций по истории в аудитории Сандерс — театр в Гарварде, где сотни людей слушали их как завороженные. Через год они были опубликованы под названием «Россия и Запад при Ленине и Сталине». Без всякого снисхождения к публике, без малейшей попытки сделать сложное более понятным путем упрощения или сенсационности, опираясь лишь на силу своего интеллекта и красноречия, Кеннан прочитал один из самых впечатляющих курсов, которые мне когда- либо приходилось слышать.

Но допускал он и ошибки, которые со временем повлияли на его суждения. Главным изъяном его характера было непомерное тщеславие. А это самый большой враг мыслителя, потому что ставит удовлетворение своего «Я» превыше истины. Кеннан был родом из семьи среднего достатка на Среднем Западе, но возомнил себя аристократом XVIII века. Как — то раз я слышал, как он говорил, что понятие «посол» подразумевало, что дипломат в этой должности обязан писать каждую неделю своему министру доклад от руки, как это делалось два столетия тому назад. И действительно, он считал XVIII век вершиной западной цивилизации, которая пала под натиском промышленной революции[8]. Он основал научный центр в Вашингтоне для изучения России и Советского Союза и назвал его «Институт Кеннана» — в честь своего двоюродного дедушки, автора известной в конце XIX века книги «Сибирь и ссылка», а на самом деле, чтобы воздать честь самому себе. Позднее он основал кафедру, носящую его имя в Принстонском институте высоких исследований.

Среди его недостатков можно назвать странные политические идеи, которые он мог исповедовать наряду с другими, вполне разумными, взглядами, совершенно не осознавая противоречивости такого положения. Например, он был убежден, что все великие державы имеют право на свою зону влияния. Когда мы встретились в Нью- Йорке в декабре 1960 года, он мне сказал ни с того ни с сего, что Советская Россия «имела право» на Иран, хотя Москва этого и не требовала. Для компенсации же, считал он, необходимо оккупировать Кубу и убрать столь близко расположенную к американским берегам советскую базу. Когда мы совместно давали показания сенатскому Комитету вооруженных сил в 1980 году, он настаивал на том, что недавнее советское вторжение в Афганистан было «оборонительной» акцией.

Мне кажется, он полагал, что ему суждено стать государственным секретарем, но его взгляды препятствовали занятию важного государственного поста. Он никогда не приблизился к реализации своих политических амбиций. Когда он был послом в СССР, Москва объявила его персоной нон грата, после того как он сделал недипломатическое заявление, сравнив Советский Союз с нацистской Германией. Госсекретарь при Эйзенхауэре Джон Форстер Даллес бесцеремонно уволил его из Госдепартамента. При Кеннеди он отправился послом в Белград, но не преуспел на этом посту и вскоре удалился в Принстон на постоянный покой.

Неудачи в карьере наполнили его горечью и разочарованием

по отношению к стране, которая, с его точки зрения, обошлась с ним так скверно. Более того, он испытывал отвращение к Соединенным Штатам, как они ему представлялись, и его возмущало влияние иммигрантов. При всякой возможности он жаловался на то, что всего в нескольких кварталах от Белого дома полно секс — шопов. Личные неудачи оказали влияние и на его видение СССР. Все больше и больше он оправдывал действия Советов и фактически отказался от своей собственной теории сдерживания. Как — то раз он сказал, что, перечитывая свою знаменитую статью за подписью «Мистер Икс», он не мог поверить, что когда — то написал ее. В другой раз отрицал, что, рекомендуя сдерживание, имел в виду военное вмешательство, хотя в статье за подписью «Мистер Икс» совершенно недвусмысленно заявил, что «для Соединенных Штатов вполне приемлемо своими действиями оказывать влияние на внутренние события» в России и в коммунистическом движении[9]. Тридцать пять лет спустя, критикуя политику Рейгана подталкивания Советского Союза к реформе, он также недвусмысленно отрицал, что мы можем каким — то образом оказывать влияние на внутриполитические события в СССР. В 1980-е годы он продолжал предупреждать, что жесткий курс Рейгана по отношению к Советскому Союзу неизбежно приведет к третьей мировой войне. Когда в 1991 году Советский Союз неожиданно развалился, он оказался в затруднительном положении, потому что ему приходилось получать поздравления по поводу триумфа стратегии, от которой он давно отрекся. Можно сказать, что в Кеннане уживались две стороны его личности. Бертрам Вулф, автор книги «Трое, которые сделали революцию», как — то справедливо заметил, что его непредсказуемые политические колебания напоминали колебания Гамлета: «Я безумен только при норд — норд — весте; когда ветер с юга, я отличаю сокола от цапли» (Пер. М. Лозинского).

Так случилось, что весной 1960 года Вильсон, Кен- нан и Исайя Берлин были в Кембридже. Я считал, что такое совпадение давало уникальную возможность пригласить троих мыслителей мирового класса к нам домой на ужин, чтобы усесться поудобней и насладиться беседой. Для разнообразия я также пригласил Артура Шлезинге- ра — младшего. Я предвкушал утонченную беседу между членами этого квартета, но, увы, как оказалось, все четверо были солистами, не привыкшими к игре в паре с кем- то еще. Разговор во время обеда, да и после него, был тривиальным. Все, что я помню об этом вечере, так это то, что Вильсон и Берлин обсуждали различные названия галстука по — русски, а Шлезингер воткнул вилку в отбивную котлету, поднес ко рту и

откусывал прямо от нее.

Западная цивилизация

Одним из светил нашего факультета был Уильям Лангер. До войны он опубликовал несколько классических книг о дипломатической истории Европы до Первой мировой войны, в которых использовал впечатляющее количество источников на различных языках. Он также был редактором «Энциклопедии мировой истории», которая остается до наших дней незаменимым справочником. Он был чрезвычайно требовательным к себе и к своим студентам. Часто рассказывали про него одну историю. Как то раз он вернул аспиранту его курсовую работу и заявил, что, несмотря на то что она заслуживала пятерку, он поставил пять с минусом, так как аспирант не использовал итальянские источники. «Но, профессор Лан- гер, — протестовал аспирант, — я ведь не читаю по — итальянски». На что Лангер будто бы ответил: «Откуда вы знаете, вы что, попробовали?» Его прозвищем было «Мясник». Когда я спросил его, почему, он ответил с характерным для него гнусавым выговором: «Мясник, потому что всех режу на экзаменах». Но со временем, когда я узнал его поближе, он стал гораздо мягче.

В июле 1963 года — мне как раз исполнилось сорок — я получил от него письмо с предложением принять участие в создании двухтомного учебника для первокурсников по истории западной цивилизации под его редакцией. Книги должны были иметь много хороших иллюстраций, предоставленных издательством «Американ Херитидж», которое собиралось издать этот двухтомник совместно с «Харпер энд Роу». Планировалось, что будет четыре автора. Я должен был отвечать за главы о Европе после 1800 года. Это предложение привлекало меня по нескольким причинам. Я был не против того, чтобы отложить биографию Струве, над которой уже проработал пять лет, и написать что — нибудь, что требовало широкого обобщения. Кроме того, предоставлялась возможность вплести историю России и Восточной Европы в контекст западной цивилизации; обычно им отводилась лишь второстепенная роль. Наконец, был обещан весомый гонорар, что тоже было весьма привлекательно, потому что в то время у меня не было никаких источников дохода, кроме зарплаты. Я согласился.

Три с половиной года я весьма усердно работал над учебником, изучая огромное количество литературы по многим аспектам сташестидесятилетнего периода европейской истории, необычайно насыщенного событиями. Особенное внимание я уделял развитию культурной и интеллектуальной мысли в России

и Восточной Европе. Это были сильные стороны моего исследования. Главы же, касавшиеся политической и экономической истории, были написаны более традиционно. Моя работа получила высокую оценку, когда богато иллюстрированный двухтомник вышел в свет в марте 1968 года.

Поначалу профессиональный мир встретил книгу настолько хорошо, что трудно было ожидать большего: двести колледжей стали использовать учебник в своих курсах, а количество проданных экземпляров второго тома за первый год составило 33 тысячи. Но на следующий год цифра продаж упала до 21 тысячи, а затем до 9 тысяч. Одной из причин было то, что авторы первого тома «От человека эпохи палеолита до возникновения европейских государств» писали столь напыщенно, что первокурсники с трудом могли разобраться в материале. Преподаватели перестали использовать этот том, а заодно и второй. Кроме того, время выхода книги оказалось весьма неудачным. Дело в том, что конец шестидесятых был периодом волнений в колледжах, бунта против любых традиций и авторитетов, включая учебники, и даже против самого понятия «западная цивилизация».

В 1970 году издатели подготовили новое издание моего раздела под названием «Европа с 1815 года», а на следующий год — второй том, первая половина которого «Европа с 1500 года» была написан Дж. Г. Хекстером. Но, увы, потенциальная аудитория этих книг была намного меньше, чем учебника по западной цивилизации в целом. В 1975 году вышло второе сокращенное издание оригинальной версии книги в мягкой обложке под логотипом того же издателя без роскошных иллюстраций, но к тому времени книга уже утратила свою новизну. Понятие «западная цивилизация» уступило место «мировой истории», но этому предмету не хватает внутреннего единства, так как различные регионы мира развиваются в различном временном измерении. Кроме того, обусловленный достойным, но туманным стремлением к равенству, такой подход не давал возможности ознакомить молодежь с источниками своей собственной культуры.

1967-й был годом пятидесятилетия Русской революции и по рекомендации американского Совета научных обществ я организовал в апреле конференцию по этой проблематике в Гарварде. Ученые и фонды, к которым я обратился за финансовой поддержкой, оказывали на меня давление, убеждая пригласить советских историков. Я отказался на том основании, что речь шла не о научных темах или истории далеких эпох и стран, а о Русской революции, бывшей в Советском Союзе предметом не

научного исследования, а политики, которую строго контролировали власти, считавшие ее жизненно важной для поддержания своей легитимности. В итоге один ученый отказался принять участие в конференции, а некоторые фонды отказались оказывать финансовую поддержку.

Но конференция все же состоялась, и это было большое событие. Список участников включал ученых с мировым именем; среди них Ханна Арендт, Исайя Берлин, Е. Г. Карр, Мерл Фэйнсод, Джордж Кеннан, Леонард Шапиро, Хью Сетон — Уотсон и Бертрам Вулф. Мы не предпринимали никаких попыток придти к какому — то общему мнению. Доклады конференции вышли в 1968 году под названием «Революционная Россия».

В июне 1968 года я провел какое — то время в Хельсинки, работая над материалами о Струве в университетской библиотеке. До 1917 года это была одна из российских библиотек, регулярно получавших периодические издания, и там хранились, в частности, газеты, которые невозможно было найти где — либо на Западе. Я жил в маленьком номере в гостинице, проводил большую часть дня в библиотеке, а затем часами бродил по улицам. Я был совершенно счастлив и задавался вопросом, не было ли мне предназначено стать монахом. Когда работа была закончена, я отправился на пару дней на пароходе насладиться видами чистейшего озера Саймаа.

21 июня я приехал в Прагу, где ко мне присоединилась жена. Город был охвачен тихой революцией, которой руководил Александр Дубчек. Меня поразило, как быстро исчезла вся символика коммунистической власти: серп, молот, красные флаги, портреты Ленина. В витрине одного магазина был портрет только Томаша Масарика, основавшего в 1918 году Чехословацкую республику. Портрет привлек толпу, которая разглядывала его, потому что изображение Масарика было запрещено свыше двадцати лет. Но несмотря на непринужденную атмосферу обычной жизни все же чувствовалось некоторое беспокойство, что русские не станут терпеть подобные перемены. Советские офицеры в форме сновали по пражским улицам с отчужденным и осуждающим видом. В одной пивной я с тревогой наблюдал, как несколько чехов пытались убедить нескольких сидевших в угрюмом молчании русских, что они никоим образом не были угрозой их стране и их режиму. Мне пришла в голову мысль, что было бы намного убедительнее, если бы они делали упор на том, что Варшавский пакт встретится с кровавым сопротивлением, если пойдет на военное вторжение.

Вторжение произошло двумя месяцами позже, и оно было бескровным.

Исторический «ревизионизм»

Шестидесятые годы были периодом больших перемен в университете. В Гарварде первые признаки грядущих перемен появились уже в 1961 году после избрания Джона Ф. Кеннеди. Как и остальные члены семейного клана, Кеннеди был выпускником Гарварда. Репутация клана была не из лучших. Накануне выборов 1960 года доктор Рональд Ферри, магистр студенческого клуба под названием «Уинтроп — хаус», в котором когда — то состояли и жили все Кеннеди и членом которого я стал в качестве преподавателя, пригласил меня на ланч в тщетной попытке уговорить не голосовать за Джона Кеннеди. Он рассказал мне о том, что старый Джозеф Кеннеди оказал явное и вопиющее давление на университет после того, как Тедди Кеннеди попался на лжи. Но, как и весь Гарвард, я был очарован симпатичным демократом, который не в пример Эйзенхауэру был так красноречив, так начитан и относился с таким уважением к интеллектуалам. После того как несколько видных представителей Гарварда во главе с нашим деканом Мак — Джорджем Банди ушли в администрацию Кеннеди, мы стали воспринимать Белый дом как филиал Гарварда. Университет стал более политизированным. Здесь можно заметить, что когда двадцать лет спустя я стал работать в администрации Рейгана, один старший коллега на факультете отозвался обо мне в частной беседе как о «предателе». Я узнал об оскорблении, но он так и не смог понять, почему я после этого отказывался подавать ему руку.

Перемены ощущались и в учебных аудиториях. Студенты шестидесятых меньше стремились к знаниям и в меньшей степени были расположены к веселью. У некоторых я замечал стеклянный взгляд — явный признак действия наркотиков. Атмосфера смутного раздражения отчасти объяснялась войной во Вьетнаме, которая грозила студентам призывом в армию. Раздражение, однако, имело глубокие корни, так как оно охватило студентов стран Западной Европы, не участвовавших в войне.

В середине шестидесятых беспорядки вспыхнули в нескольких крупных американских университетах, особенно в Беркли и в Колумбийском университете, но у Гарварда, казалось, был иммунитет. Увы, это было иллюзией. В 1969 году студенческая «революция» разразилась и в Гарварде. Беспорядки были организованы группой, называвшей себя «Студенты за демократическое общество». Но вполне возможно, что ими руководили радикалы старого поколения, презрительно

относившиеся к демократии, а многие молодые члены организации были выходцами из семей сталинистов.

9 апреля в двенадцать часов дня, выходя во двор после лекции, я увидел несколько сот студентов, собравшихся позади здания «Университет — холл», где размещались администрация факультета изящных искусств и наук, а также кабинет декана. На ступеньках несколько молодых людей разглагольствовали перед толпой. Один студент, одетый в свежевыглаженную форму железнодорожного инженера, вышел из толпы и направился к зданию со звездно — полосатым флагом. Этот молокосос с лицом младенца, очевидно, должен был олицетворять американский «пролетариат». Со ступенек библиотеки имени Уайднера съемочная бригада фиксировала происходящее на пленку. Толпа, казалось, была спокойна и просто развлекалась.

Настал момент, когда главный оратор прокричал в громкоговоритель: «Ну что, пошли в здание?» Толпа ответила громким возгласом: «Нет!» Он снова пронзительно прокричал: «Они не спросили нас, когда вошли во Вьетнам, пошли и мы». И они вошли в здание, чтобы избить работавших там людей и покопаться в конфиденциальных файлах. К сожалению, администрация, хотя и была предупреждена, не приняла превентивных мер, таких, например, как оцепление здания полицией, что могло бы разрядить обстановку. А теперь двор университета был блокирован, а здание Университет — холла «оккупировано». Позже в тот вечер прибыла полиция, чтобы выдворить вторгшихся силой.

Именно на это и рассчитывали организаторы мероприятия. Применение полицией силы моментально возбудило остальных студентов, которые оставили без внимания причину, сосредоточившись на следствии. На следующий день в университете воцарился хаос. Меня попросили прийти пообедать в общежитие «Уинтроп — хауса», чтобы помочь успокоить студентов. Один из них сидел с перевязанной головой, что — то бессвязно рассказывая.

Беспорядки не преследовали какой — нибудь четкой цели. Хотя было написано бессчетное количество «программ», это был просто эмоциональный взрыв, оказавший влияние как на преподавателей, так и на студентов. Все накопившиеся чувства обиды, несбывшихся надежд, которые прежде сдерживались, вырвались на поверхность. Ассистенты и аспиранты хотели получать более высокую зарплату, ортодоксальные еврейские студенты — кошерную еду в своих общежитиях. Лекции часто прерывались радикальными студентами; порой какой — нибудь профессор посмелее отваживался выгонять их, иногда прибегая к

помощи аудитории, но большинство преподавателей были совершенно беспомощны. Было довольно странно, что, несмотря на мою репутацию консерватора, у меня не возникало проблем со срывом занятий. Главным образом жертвами становились либерально настроенные профессора, испытывавшие чувство вины. Каждый, кто наблюдал подобного рода явления в ограниченном пространстве, знает, что массовая истерия передается от одного человека другому как вирус, без всякой причины и без всякой четкой цели. Ей совершенно невозможно сопротивляться. Я помню, что в те дни писал всевозможного рода «меморандумы» и «воззвания», которые никогда не покидали мой рабочий стол, потому что у них не было адресата. Они были мне нужны, чтобы сохранить душевное равновесие, когда вокруг все посходили с ума.

Преподавательский состав раскололся по вопросу об ответных мерах. Одна часть поддержала решение ректора университета Натана Пьюси вызвать полицию; другая была против. Первые организовались в «консервативную» фракцию, а вторые в «либеральную». Каждая фракция насчитывала около тридцати преподавателей. Остальные девяносто процентов преподавательского состава притворялись, что ничего не происходит, и продолжали жить по заведенному распорядку. Консервативная фракция, в которую я вступил, собиралась на дому у своих членов, чтобы сформулировать тезисы по принципиальным вопросам для собраний преподавательского состава, которые в то время проводились раз в несколько дней. Либералы поступали точно так же, но делали упор на «диалоге» с бунтующими студентами, что на деле означало попытку найти способы их умиротворения. Обычно такие степенные факультетские заседания, посвященные обсуждению тривиальных мелочей, превращались в дебаты со спорами до хрипоты. Ввиду того, что их посещаемость стала намного выше, чем обычно, заседания пришлось перенести из Университет — холла в театр Леб на Брэттл — стрит. Ход заседаний передавался по громкоговорителю собиравшимся на улице толпам. Я слушал эти дискуссии с чувством, похожим на тошноту. Было трудно поверить в то, что ради умиротворения толпы так много наших напуганных преподавателей были готовы отказаться от всего, что сделало наш университет выдающимся, и в то, насколько нечестны они были в попытках оправдать свои страхи. Пребывая именно в таком состоянии, преподавательский корпус проголосовал за то, чтобы создать учебную программу для чернокожих и разрешить им принимать участие в выборе преподавателей для этой программы. Однако вряд ли кто — то

серьезно верил, что такая программа стоила потраченных на нее усилий. Преподаватели приняли это решение скорее под впечатлением от фотографии в газете, на которой группа вооруженных чернокожих студентов выходит из Виллард Стрэйт — холла в Корнелльском университете, где происходили сходные события и где администрация просто прекратила всякую деятельность.

Мое уважение к коллегам так и не восстановилось полностью: их личная заинтересованность и трусость слишком явно прикрывались мнимой озабоченностью учебным процессом. Поведение студентов также не способствовало улучшению моего мнения о них. Большинство были запуганы и лишены инициативы. Зачинщики беспорядков действовали без всякого риска для себя, так как либеральное общественное мнение хотя и осуждало эксцессы, тем не менее считало, что насилие было вызвано вескими причинами для недовольства, и симпатизировало бунтарям. Когда нашей соседке рассказали о взрыве, который устроил один радикальный студент в лаборатории ускорителя, в результате чего один ученый погиб, она рассуждала вслух о том, что убийца хотел нам этим «что- то сказать». Когда полгода спустя небольшая группа молодых русских диссидентов, зная, чем им это грозит, устроила демонстрацию на Красной площади в знак протеста против оккупации Чехословакии, их моментально арестовали и посадили в тюрьму. Это было героизмом, а действия наших университетских диссидентов были простым фиглярством.

После шестидесятых Гарвард основательно изменился. Он осознал свою миссию проводника общественных перемен и все более и более посвящал себя решению общественных проблем. Вместо того чтобы заниматься приобретением знаний, хотя бы эзотерических, и передачей их студентам, в Гарварде теперь делался упор на то, чтобы идти всем навстречу. Вместо того чтобы подбирать преподавательский состав и студентов, основываясь только на критериях таланта и творческих способностей, университет стремился к гендерному и расовому разнообразию. Элитарный подход, даже если это касалось только уровня интеллектуальных способностей, не приветствовался. Многое из того, что делал Гарвард, напоминало мне эксперименты с образованием в ранний советский период, когда стремились ликвидировать обособление вузов и впрячь их в дело социальных преобразований. В целом новая тенденция напоминала советский подход, когда каждое учреждение и в значительной степени университеты должны были внести свой вклад в решение социальных проблем.

Вскоре после этих событий я уехал в Калифорнию, чтобы провести 1969–1970 академический год в Стан- фордском Центре высоких исследований проблем поведения. Мои родители присоединились к нам. Но это было несчастливое время для них, так как у отца случился легкий инсульт, а затем стали проявляться симптомы рассеянности, и врачи поставили диагноз болезни Альцгеймера, о которой я никогда ничего не слышал.

Послевоенные годы были для отца довольно печальными. Его бизнес не удался. К 1948 году он понял, что после отмены ограничений на продажу сахара не сможет конкурировать с крупными сетевыми магазинами конфет, и закрыл свои магазины. Какое — то время он оптом торговал игрушками. Отец не мог понять мир в эти бурлящие шестидесятые. Возвращаясь от нас, с Гарвард- сквера, он качал головой в недоумении, задаваясь вопросом, почему всё и все вокруг были настолько «отвратительными». Он явно страдал от депрессии. В мае 1971 года мать решила переехать в Бостон, чтобы быть поближе к нам. Она ухаживала за отцом, пока у нее были силы, а затем поместила его в дом для престарелых. В последние месяцы своей жизни — он умер в апреле 1973 года в возрасте восьмидесяти лет — отец уже не узнавал никого из нас. В одно из моих последних посещений его в доме для престарелых он сидел в кресле, держа за руки какую — то совершенно ему незнакомую пожилую женщину, тоже пациентку, безучастно уставившись в мигающий экран телевизора. На похоронах я прочитал замечательную тридцать восьмую главу из книги Иова, в которой Господь, выслушав Иова и трех его друзей, пытавшихся понять причины несчастий Иова, сказал то, что было выше их понимания: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь?» Тридцать лет спустя я прочитал этот же отрывок на похоронах матери.

В течение учебного года, проведенного в Станфорде, я закончил первый том биографии Струве. Когда я вернулся в Гарвард осенью 1970 года, обстановка в университете существенно переменилась к лучшему. Главной причиной этого была отмена президентом Никсоном призыва в армию. Успокоительное действие этой меры показывает, что за проявлением Weltschmerz («мировой скорби») бунтовавших студентов скрывалась немалая доля личного интереса. Несмотря на то что мир был восстановлен и университетская жизнь вошла в свою колею, Гарвард уже никогда не был прежним. Во — первых, хотя бы потому, что он потерял свою уникальность. Когда по стране прокатилась волна беспорядков в университетах, Гарвард,

как оказалось, был настолько же подвержен массовой истерии, как и другие университеты. Во — вторых, под давлением снизу Гарвард упразднил многие из так называемых элитных традиций. Например, в столовых были упразднены «профессорские столы», а преподаватели поощрялись, если они проводили свободное время со студентами, хотя, по моему мнению, они предпочитали все же компанию своих сверстников. Если раньше у студента была возможность выбрать общежитие, то теперь его распределяли в общежитие по жребию. Отделение истории и литературы отменило порядок ограниченного приема и открыло двери для всех подававших заявления студентов, имевших необходимый уровень подготовки. Вскоре, когда университет уступил давлению из Вашингтона, откуда поступала существенная часть бюджета, дала о себе знать и программа под названием «Положительное действие», то есть поощрение различных меньшинств, включая женщин, в вопросах приема на работу, приема студентов и продвижения по службе. Стала поощряться «оценка» студентами работы преподавателей. Если прежде многие, а может быть большинство, в администрации были выпускниками Гарварда, преданными университету, то теперь многие превратились в профессиональных менеджеров, для которых Гарвард был лишь местом работы, которую они легко оставляли, когда подворачивалась лучше оплачиваемая должность. К концу 1970-х Гарвард более походил на университет в каком — нибудь штате на Среднем Западе, чем на то, каким он был прежде. Словечко «кампус», ранее не употреблявшееся, теперь стало ходовым. Этот процесс усиливался по мере того, как «браминская община»[23] Бостона приходила в упадок и по мере того, как приходили в упадок британские и германские университеты, служившие примером для Гарварда.

Летом 1970 года я принял участие в еще одном Международном конгрессе историков, который проходил на этот раз в Москве. За прошедшее десятилетие политическая обстановка в Советском Союзе заметно разрядилась, и я уже не чувствовал себя под постоянным наблюдением. Тем не менее, как я выяснил позже, советским гражданам нужно было иметь особое разрешение, чтобы посетить сессию, на которой я выступал. Я представил доклад о русском консерватизме второй половины XIX века. Снова, как и в 1962 году во время моих ленинградских лекций, я стремился подчеркнуть значение консервативной мысли в наши дни. В докладе отмечалось, что только либерализм, благодаря децентрализации принятия решений, был способен совладать с проблемами современной жизни. Когда я закончил, заранее назначенные оппоненты взобрались на

кафедру, чтобы привести обычные возражения. Но что удивительно, один русский докладчик защищал меня. Это была Валентина Твардовская, дочь знаменитого главного редактора «Нового мира», самого либерального из советских «толстых» журналов. Тот факт, что она осмелилась сделать это публично, говорил о том, что происходили какие — то перемены.

В 1970 году, параллельно с публикацией первого тома биографии Струве, я выпустил его собрание сочинений (за исключением газетных статей) в пятнадцати томах. Подготавливая эти материалы к публикации, я прибег к ксерокопированию. Публикации Струве сначала копировались, затем располагались в хронологическом порядке и снимались на микропленку, а уже затем распечатывались. Я финансировал этот проект из собственного кармана, идя на определенный риск, но надеясь, что смогу продать достаточное количество пятнадцатитомных комплектов по 950 долларов каждый, чтобы покрыть расходы. Результат превзошел мои ожидания: тридцать пять библиотек купили по комплекту, что принесло мне небольшую прибыль. Я полагаю, что это издание, возможно, было первым, когда собрание сочинений какого — нибудь автора было опубликовано не типографским способом, а посредством ксерокопирования.

Весной 1972 года я получил приглашение из Иерусалимского университета. Я должен был выступить не с публичными лекциями или перед студентами, а исключительно на семинарах для преподавателей. Тогда я не придал этому значения. Но почти тридцать лет спустя я был сильно удивлен, когда получил письмо от бывшей студентки Иерусалимского университета, которая писала: «Нам не разрешили посещать лекции гостя [Пайпса], которые предназначались только преподавательскому составу. Приватно мне сообщили, что из — за его правых взглядов наши преподаватели не желали, чтобы его идеи каким — либо образом дошли до нас (о его лекциях не было никакой информации в университете, и суть его выступлений стала известна только из разговоров среди преподавателей)».

Из Иерусалима через Иорданию, Сирию и Ливан мы с женой поехали в Лондон, где провели лето.

Россия при старом режиме

Как — то в 1956–1957 годах, когда я проводил свой первый академический отпуск в Париже, у меня появилась идея, которая потом доминировала в моих работах по истории России. Суть заключалась в отношении политической власти к собственности. Меня, конечно, не привлекала марксистская идея, что политическая власть была лишь «функцией» отношений собственности, а государство лишь инструментом в руках владевших собственностью классов, поскольку казалось очевидным, что абстрактное понятие «государство» на самом деле подразумевает индивидуумов, личные интересы которых часто противоречат интересам собственников. Я пришел к выводу, что власть и право собственности были взаимодополняющими способами контроля над людьми и имуществом: это была игра в одни ворота, так как выигрыш одной стороны означал проигрыш другой. Самый надежный способ не дать государству возможности расширять свою власть и посягать на свободы граждан заключается, следовательно, в том, чтобы закрепить большую часть богатства в руках граждан в форме неотчуждаемой собственности. Лишь много лет спустя я узнал, что этот тезис был предвосхищен три века назад англичанином Джеймсом Гаррингтоном. В марте 1958 года в неформальной обстановке я сделал доклад перед группой молодых историков Гарварда на тему «Собственность и политическая власть», в котором изложил этот тезис и подчеркнул, что в России именно неполноценное развитие частной собственности сделало возможным чудовищный рост государственной власти. Несмотря на то что некоторые коллеги склоняли меня к публикации этого доклада, я этого не сделал. Но я ввел эту идею в курс по русской средневековой истории, который читал в первый и последний раз в весенний семестр 1960–1961 года. Именно тогда я применил к Московской Руси заимствованный у Макса Вебера термин «вотчинный режим», при котором правитель является одновременно владельцем земель и хозяином царства.

Десять лет спустя мне представилась возможность развить этот тезис. После завершения работы над первым томом биографии Струве я решил, что, прежде чем закончить этот проект, необходимо выполнить условия контракта, который я заключил десятью годами ранее с английским издательством «Уайденфельд и Николсон», и написать том о России для их новой серии «История цивилизации». У меня была полная свобода в отношении содержания и объема книги.

Я закончил книгу в Лондоне, где мы провели годичный академический отпуск в 1973–1974 годах. Прожив в Лондоне несколько раз в летние месяцы, а затем и весь год, мы полюбили этот город и пришли к заключению, что если бы судьба предоставила нам выбор, где родиться и где провести нашу жизнь, мы выбрали бы его. Контакты между людьми в лондонском обществе были намного более открытыми, чем в Париже. У него также был ряд преимуществ перед Кембриджем в штате Массачусетс, где общение было ограничено академической средой, разбавленной вышедшими на пенсию политиками и редкими бизнесменами и людьми свободных профессий. В Лондоне же все группы населения перемешались: интеллектуалы (и не только из академической среды), члены парламента, бизнесмены и даже актеры и режиссеры кино. Все это делало общение чрезвычайно насыщенным. Мне также импонировала прямолинейность англичан определенного класса общества, которые без малейшего стеснения могут сказать вам, что вы неправы, прямо в лицо и даже публично. Как — то раз во время прений в Лондонском университете после лекции, в которой я подверг критике политическую и общественную деятельность русской православной церкви, английский теолог русского происхождения поднялся со своего места и охарактеризовал мои замечания словами «полная чепуха». А некоторое время спустя, после лекции о русских землевладельцах в Лондонской школе экономики, мой друг сообщил мне, что все сочли лекцию блестящей. В Соединенных же Штатах невозможно понять, что люди на самом деле думают о вас, потому что они боятся вас огорчить.

Книга, вышедшая в 1974 году под названием «Россия при старом режиме», представляла собой эссе об эволюции российской государственности с древнейших времен до конца XIX века; в ней акцент делался на вотчинной сущности царской власти. Я показал эту власть как отличную от абсолютистской власти на Западе, которая всегда была ограничена институтом частной собственности. В своих выводах я недвусмысленно давал понять, что коммунистический режим в России, где правящая партия пользовалась неограниченной властью над политической жизнью и экономическими ресурсами страны, во многом был обязан этой патримониальной традиции.

Книга получила хорошие отзывы, ее стали использовать как учебник во многих колледжах и она была переведена на несколько иностранных языков. Ее самыми суровыми критиками стали русские националисты, возглавляемые Александром Солженицыным. Незадолго до этого Солженицын прибыл в

Швейцарию, и в ноябре 1975 года я послал ему экземпляр книги на английском языке с сопроводительным письмом и дарственной надписью, в которой добавил, что он, вероятно, «найдет некоторые совпадения в наших взглядах». Солженицын не ответил, и я подумал, что, скорее всего, потому, что он не знает английского. В то время почти ничего не было известно о его политических взглядах, кроме того, что он был яростным противником коммунизма. Я восхищался им и летом 1974 года даже отменил поездку в Советский Союз в знак протеста против его высылки. Поэтому я испытал что — то вроде шока, когда Солженицын во время выступления в Гуверовском институте в Калифорнии в конце 1976 года подверг резкой критике меня и мою книгу. Особый его гнев вызвало мое утверждение о сходстве царизма и коммунизма, явлений, с его точки зрения, диаметрально противоположных. Не владея историческими знаниями, он придерживался романтически наивного взгляда на дореволюционную Россию и возлагал вину за все несчастья страны полностью на марксизм и на другие пагубные идеологии, импортированные с Запада. Когда мы встретились в июне 1978 года на обеде перед его выступлением на выпускной церемонии Гарвардского университета, на которой ему присвоили звание почетного доктора наук, я спросил его, неужели он считал возможным, чтобы тот же самый народ, с той же самой историей, говорящий на том же языке, живущий на той же территории, мог превратиться во что — то совершенно иное за одну ночь с 25 на 26 октября 1917 года только потому, что группа радикальных интеллигентов захватила власть в стране. «Такие неожиданные и радикальные мутации неизвестны даже в биологии», — убеждал я. Но, будучи в личных отношениях дружелюбным, он не уступил ни на йоту и в последующие годы нападал на меня при всякой возможности. Он пошел даже на то, что подал протест в Би — би — си, когда эта радиостанция начала передавать по — русски на Советский Союз отрывки из моей книги. Я никогда не отвечал на его нападки, потому что они были эмоциональными, без серьезного содержания.

Тот факт, что «Святая Русь», которую он рисовал в своем воображении, не возникла тотчас, как только российское правительство отказалось от марксизма, должно быть, сильно его разочаровал. Его движимая ненавистью интеллектуальная нетерпимость наряду с фанатизмом лишали его, с моей точки зрения, права на величие. Он был лишь ложным пророком, даже если и продемонстрировал большое мужество, противодействуя коммунистическому режиму, столь же наполненному ненавистью и настолько же фанатичному, как и он сам. На самом деле он был

зеркальным отображением этого режима. Когда режим пал, он оказался настолько же неуместным, как и любой представитель старой коммунистической номенклатуры.

Но даже тем русским, которые не разделяли утопизма Солженицына, трудно было принять мои идеи. Коммунистам не нравилось умозаключение, что у них есть общее с царизмом; антикоммунистов также возмущало, что я увязывал коммунизм с царизмом; и те и другие не могли согласиться с тезисом, а он звучит лишь как предположение, а не как утверждение, что политическая культура России имеет много общего с восточным деспотизмом. Тем не менее книга была опубликована в России в 1993 году и привлекла к себе большое внимание[24].

После окончания работы над этой книгой я снова занялся биографией Струве, чтобы закончить второй том. Прослеживая его деятельность в период с 1917-го по 1921 год, я все больше интересовался русской революцией как событием, которое в большой степени определило историю XX века.

Но прежде чем я смог глубоко погрузиться в изучение революции, я оказался вовлеченным в политику, которая занимала меня в течение большей части 1970-х и 1980-х годов, а также весь 1981 и 1982 год.

Китай

Моя репутация бескомпромиссного приверженца жесткого курса по отношению к Советскому Союзу стала известна и в Пекине, и зимой 1977–1978 года я получил приглашение от китайского Института международных отношений.

В Пекин я прибыл 3 апреля 1978 года. В целом город произвел на меня удручающее впечатление, так он был по — советски ужасен. Из окна моей гостиницы открывался вид на главный бульвар, по которому сновали орды людей на велосипедах, напоминающих массу синих и зеленых муравьев, и при этом слышались беспрестанные сигналы автомобилей. Мое мнение о столице заметно улучшилось на следующий день, когда я посетил Запретный город. В нем впечатляло оригинальное использование пространства и приглушенные тона красок. В Пекинском университете я встретился с некоторыми профессорами. Одни из них были старыми интеллигентами, каким — то образом выжившими во время культурной революции, а другие — полуграмотными партийными аппаратчиками. Интеллигенты рассказывали мне о множестве планируемых изменений в программе обучения, а аппаратчики сидели молча и чувствовали себя неуверенно.

Я выступил на семинаре, где присутствовало около тридцати внимательных слушателей. Вопросы касались в основном причин якобы «мягкотелой» политики США по отношению к Москве. Как оказалось, это было лишь прелюдией ожидавших меня в течение всего визита нравоучений о необходимости проведения более твердой политики США в отношении России.

Меня повезли на восток от Пекина посетить 196-ю дивизию, участвовавшую в гражданской войне и войне в Корее. Дивизия, как мне сообщили, в значительной степени обеспечивала себя сама, выращивая овощи, мясной скот, и даже наладила производство будильников. Специально для меня были устроены показательные упражнения. Они напоминали акробатику: рукопашный бой и взбирание на стены зданий. Сидя за столом и наблюдая за происходящим в бинокль, выданный хозяевами, я чувствовал себя как генерал фон Мольтке- старший, принимающий парад имперской германской армии. Когда выступление закончилось, комиссар спросил, что я об этом думаю. «Очень впечатляет», — ответил я. «Никуда не годится, — парировал он. — Все это хорошо для прошлых войн, а не для современной войны». Во время обеда звучал тост «Долой общего врага — полярного медведя».

Для меня была организована встреча с директором Института международных отношений, семидесятитрехлетним господином Хао Течинг. Говорил больше он, а я слушал и делал записи. Суть его рассуждений сводилась к тому, что Соединенные Штаты и Китай двигались в одном направлении, то есть по пути сдерживания Советского Союза, но отдельно друг от друга. Мы сдерживали их в военном отношении, в то время как Китай срывал их планы в третьем мире. Директор был убежден в неизбежности мировой войны. Все, что можно было сделать, это задержать ее начало. Ему представлялось, что грядущая война будет вестись обычным, а не ядерным оружием. Он не думал, что Китаю грозило советское вторжение, потому что оно потребовало бы как минимум трехмиллионной армии, то есть намного больше, чем количество советских войск, дислоцированных на Востоке. Главное направление его мысли можно суммировать призывом «не надо бояться». На мой вопрос, нет ли риска, что СССР и Китай снова объединятся против Запада, так как разделяют одну идеологию и систему, он ответил, что такое развитие событий невозможно, потому что Россия не коммунистическое государство, а лишь «бюрократическая монополия». Он категорически отрицал возможность реформирования СССР после Брежнева: такие вещи, сказал он, решают не личности, а «социальная система». Как показало время, его прогноз оказался весьма далеким от реальности.

Во время другой встречи заместитель директора Бюро по иностранным делам сообщил мне, что по всему Китаю роют туннели для защиты населения от ядерного удара. В день моего отъезда из Пекина меня повели в маленький магазинчик, откуда люк в полу за стойкой вел вниз по лестнице в просторный трехэтажный подземный город, простиравшийся на много километров во всех направлениях. Снабженное всевозможными удобствами, это убежище было размером с целый город. Независимо от того, насколько оно было полезно, это массивное сооружение выглядело внушительно.

Я заметил существенную разницу в отношении ко мне русских и китайцев. Русские пытались понять мои мысли, а китайцы повлиять на них. Вообще я обнаружил, что китайцам не хватает любознательности. Когда я касался жизни на Западе, предмет не вызывал у них никакого интереса, в отличие от реакции в России. По большинству вопросов мнение китайцев было уже сформировано, и их не интересовало мое мнение. Если в России буквально все читали, то в Китае я никого не видел с книгой в руках (за исключением студентов в университетской библиотеке). В путевом дневнике я записал:

Создается впечатление, что эта древняя цивилизация многих сотен миллионов людей способна выстоять вопреки всему, в то время как Россия может и не устоять. Отсюда у китайцев безмятежное спокойствие у а у русских надменность, напористость, нервозность и тревожность.

Китайцы не врали так нагло, как имели обыкновение делать русские. Если им задавали вопрос, на который они не хотели отвечать, они уклонялись от ответа, но не лгали бессовестно. Вранье русских — это особая форма лжи, потому что не служит никакой цели. Это просто полет фантазии, уход от реальности, и поэтому русские редко чувствуют смущение, если их ложь открывается. Персонаж «Преступления и наказания» Достоевского так воздал ей хвалу: «Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организмами. Соврешь — до правды дойдешь! Потому я и человек, что вру. Ни до одной правды не добирались, не соврав наперед раз четырнадцать, а может, и сто четырнадцать… Соврать по — своему — ведь это почти лучше, чем правда по одному, по — чужому; в первом случае ты человек, а во втором ты только что птица!»[10].

Подобным же образом и «лишний человек» Тургенева заявляет, что ложь «так же живуча, как и истина, если не более[11].

Китай очаровал меня. Конечно, я понимал, что, поскольку был «почетным гостем», ко мне относились с особым почтением по политическим соображениям, и очень старался избежать ловушки, в которую в Советском Союзе попадали многие «почетные» визитеры. Достопримечательности, представшие перед моими глазами, убедили меня еще раз в том, что культура более важна, чем идеология: идеи прорастают в той культурной почве, на которую они падают. Так в Скандинавии, где традиции собственности и закона были относительно сильны, марксизм развился сначала в социал — демократию, а затем в демократическое социальное государство. В России же, где обе эти традиции были развиты слабо, он усилил автократическую родовую традицию. В Китае марксизм воплотился в нечто весьма отличное от советского коммунизма, хотя я не достаточно знал, чтобы сказать, в чем конкретно эти различия состояли.

Меня сразу же сильно поразила черта китайцев, которую американцы называют «могу сделать», — оптимистическое отношение к жизни, резко контрастировавшее с унынием и фатализмом, господствующими в России. Правда было много признаков того, что мягко называли «культурной революцией» и что на самом деле было варварской контрреволюцией:

обезображенные здания, граффити на памятниках, закрытые музеи. Также нужно признать, что, за исключением детей, люди в Китае одевались плохо и одинаково. В современной архитектуре просматривалась кичливость советского прототипа. Тем не менее атмосфера была наполнена динамизмом, которого я никогда не ощущал в России ни до, ни после 1991 года. Очарование Китая дополнялось видами сельской местности, которая все еще пребывала в доиндустриальной эпохе и поэтому не знала непрерывного гула моторов, сопровождавшего сельскую жизнь на Западе. Поля, которые я видел из окна поезда, были аккуратно возделаны. В городах было изобилие продуктов.

Шанхай, традиционно один из наиболее ориентированных на Запад китайских городов, сохранил больше черт древнего Китая, чем столица. Там было много узеньких улочек с маленькими лавочками, торговавшими всем, что только можно вообразить: скобяные изделия, пуговицы, пельмени, подметки для туфель. Иностранцы, должно быть, появлялись здесь редко — в отличие от Пекина меня постоянно разглядывали, а иногда люди следовали за мной и моим гидом.

В Сучжоу я видел очаровательные сады, сделавшие город знаменитым: большие закрытые пространства с прудами и камнями. В некоторых из них пожилые и даже молодые китайцы сидели на скамейках в молчаливом созерцании. Посетил я и фабрику, изготовлявшую веера. Вот что я записал в путевом дневнике:

Удивительное зрелище: пятьсот женщин и лишь несколько мужчин заняты сложной ручной работой. Они делают недорогие веера на экспорт (камфарное дерево и шелк). Они работают очень усердно. Самый дорогой веер с резьбой по слоновой кости стоит 800–1000 юаней (500–600 долларов). Для изготовления такого веера требуется «около полу года» и дорогой материал. А зарплата? Подмастерья, которые остаются в этой должности три года, получают 20 юаней в месяц, остальные — от 35 до 80 юаней, то есть в среднем 45 юаней (30 долларов). Никаких отпусков, можно лишь взять 6 или 7 свободных дней в год, работать приходится 48 часов в неделю (6 дней по 8 часов), получая в среднем 14 американских центов в час. Женщины уходят на пенсию в возрасте 50 лет, мужчины в 60 и получают пенсию, равную 70 процентам своей зарплаты. За 50 юаней я купил симпатичный веер, на котором изображен классический ландшафт. Чтобы удовлетворить мою прихоть, рабочий трудился как раб 220 часов!

Нанкин был последним городом, который я посетил. Здесь специально для меня открыли двери музея искусства, и я увидел

замечательные акварели и гравюры на дереве. Так как я уже давно коллекционировал японские гравюры («Токайдо» работы Хиросиге), меня заинтересовали их китайские прототипы. Каждый раз, когда мне показывали гравюру, я совершенно бессознательно спрашивал дату ее создания, поскольку эта информация отсутствовала. Оказалось, что некоторые гравюры были сделаны раньше японских на целое столетие. Мой гид, хотя и старался быть любезным, был озадачен, почему мне так важно знать, когда работа создана. Тут я понял, что наша одержимость хронологией не разделяется восточной цивилизацией. Человек, получивший образование по истории искусства на Западе, может сказать, когда была написана картина с точностью до нескольких десятилетий. Но это почти невозможно сделать с восточными картинами, потому что художники не стремились к оригинальности, то есть к тому, чтобы превзойти своих учителей. Они стремились к совершенству, то есть к наилучшему изображению предмета, которое было возможно тысячи лет назад. То же самое относится и к нашей музыке. Постоянное стремление к оригинальности было источником западного творчества, но оно в конце концов привело к саморазрушению. Когда художники и композиторы XX века были не в состоянии превзойти своих предшественников, они просто капитулировали. Картина, представляющая лишь чистый белый холст или музыкальное произведение, состоящее из нескольких минут тишины, есть не что иное, как отрицание искусства, ибо картина по определению есть рисунок, а музыкальная композиция — это прежде всего звук.

Могу добавить, что, если не было банкета, я вынужден был есть в гостинице в одиночестве, и во время приема пищи даже прикрепленные ко мне гиды исчезали.

В течение всего моего пребывания китайцы постоянно напоминали мне о вероломстве русских, указывая на проекты, которые должны были быть отложены или свернуты, потому что Москва не выполнила свои обещания. Уже когда меня провожали в аэропорт в последний день моего пребывания, гид сказал мне на прощание: «Помните, мистер Пайпс, русские всегда лгут».

Заключительные заметки в моем дневнике гласили:

Очень впечатляет, особенно энергия, динамизм, трудовая дисциплина китайцев. Их можно сравнить разве что с японцами, и, *конечно же, это никак не связано с политической системой. Также впечатляет их вежливость и манеры, в которых они намного превосходили японцев.*

Плохое впечатление производит отсутствие любознательности в отношении других стран; читают мало,

плохой вкус. Наблюдается определенная «крестьяниза- ция» жизни.

Но очень может быть, что это люди будущего: если они обретут высокие технологии и определенную степень интеллектуальной свободы, что их тогда остановит? Конечно же, не Россия, которая выглядит такой непрочной в сравнении…

Не было никаких попыток подкупить меня. Можно было чувствовать спонтанно выражаемую теплоту. Не в пример России, из которой я всегда стремился поскорее уехать, я покидал Китай с сожалением и желанием возвратиться.

И я вернулся, на этот раз с женой, в июне 1984 года. Как и прежде, я выступал с лекциями и знакомился с достопримечательностями, но мои впечатления не изменились. Картина, прочно запечатлевшаяся в моем сознании из той поездки, связана со сценой, которую мы наблюдали в Шанхае. Как — то вечером мы прогуливались по Бунду, так называется район города, где до 1949 года располагались западные финансовые компании и предпринимательские фирмы. На набережной реки я увидел необыкновенное зрелище: десятки молодых китайских пар сидели на скамейках, обнявшись и целуясь, но абсолютно без движения, так что с первого взгляда можно было принять их за скульптуры. Они явно нарушали нормы коммунистической морали, которая запрещала подобные выражения любовных чувств. Наблюдая эту сцену, я как никогда прежде пришел к убеждению, что коммунизм был обречен.

Амальрик и Щаранский

Ранним летом 1975 года мы с женой провели пять недель в Москве, пока я работал над биографией Струве. Работники Центрального архива Октябрьской революции очень неохотно выдавали материалы. Обычно я получал одно дело в день и, закончив работу над ним, а иногда для этого хватало нескольких минут, очередное дело мог получить только на следующий день. Однако один из моих американских коллег, сидевший за соседним столом, известный своим дружелюбным отношением к режиму, просто утопал в делах.

В этот приезд я подружился с Андреем Амальриком, автором книги «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?». Это был необыкновенный человек, русский диссидент, но при этом жизнерадостный, а не мрачный, с острым чувством юмора. Он обладал детской дерзостью: не ненавидел коммунизм, а смеялся над ним и безжалостно насмехался над своими следователями. Мы пришли к нему в его маленькую однокомнатную квартиру недалеко от Арбата, где большую часть комнаты занимал огромный рояль, на котором ни он, ни его жена Гюзель, художница, не умели играть. Однажды вечером он надел для нас форму, в которой ходил во время заключения в Магадане. Я спросил его, не повредит ли ему знакомство с нами, на что он ответил, что как раз наоборот: чем больше иностранцев его увидят, тем меньше его будут беспокоить стражи режима. Позже я помог ему посетить Соединенные Штаты и провести какое — то время в Гарварде. К сожалению, он погиб в автокатастрофе в Испании, так и не увидев, как его предсказание сбылось почти точно.

В тот проведенный в Москве месяц произошло интересное событие. 4 июля 1975 года американское посольство устраивало ежегодный прием в честь Дня независимости. Когда он закончился, мы с женой направились к Виталию Рубину, специалисту по Китаю. Он был «отказником», то есть лицом еврейской национальности, которому было отказано в получении выездной визы в Израиль. Рубин с женой Инной держали двери открытыми для всех, кто интересовался Израилем и сионизмом. Они не были диссидентами, так как считали себя гражданами Израиля. По этой же причине они не особенно тщательно проверяли тех, кто к ним приходил. Как мне объяснил Рубин, им нечего было скрывать. (Тем не менее, когда мы обсуждали деликатные вопросы, мы общались письменно, чтобы расстроить планы кагэбэшников, которые могли прослушивать квартиру из

машины, припаркованной под их окнами.)

В тот вечер их гостями были Анатолий Щаранский, мужественный еврейский диссидент, а также архитектор Владимир Рябский с супругой. Рубин познакомился с Рябским перед главной синагогой и пригласил его, хотя ничего о нем не знал. Разговор в тот день, когда мы сидели за обеденным столом, не касался чего — либо серьезного. Щаранский большую часть времени молчал. Прежде чем встреча закончилась, я сообщил Щаранскому, что после Советского Союза направлюсь в Израиль, где мог бы связаться с его женой, если он этого пожелает, и сообщить ей, что он в хорошем настроении. Он согласился и дал мне ее номер телефона. Но так как он забыл дать мне местный код города, я не сумел дозвониться до нее. Позднее Рябский и его жена пригласили нас в гости, но затем под каким — то предлогом отменили приглашение. В тот же год, когда я уже вернулся в США, он прислал мне теплые поздравления к Новому году.

Я совершенно забыл обо всем этом, но два года спустя узнал, что Щаранского арестовали по обвинению в шпионаже. Одним из главных обвинений, выдвигаемых против него на судебном процессе, начавшемся в июле 1978 года, было то, что он встречался со мной и якобы получал от меня инструкции, как вести антисоветскую работу На суде главным свидетелем обвинения был не кто иной, как господин Рябский, который охарактеризовал меня как «агента американского правительства», прибывшего в СССР с «конкретными инструкциями для действий в качестве эмиссара сионизма»[12].

Цитирую из речи Щаранского: «Рябский… утверждал, что Пайпс рекомендовал, чтобы мы использовали Хельсинкский Заключительный акт, чтобы объединить сионистов и диссидентов Хельсинкской группы наблюдателей [за выполнением положений о гражданских правах]».

Во время перекрестного допроса Щаранский обратился в Рябскому:

— Вы утверждаете, что Пайпс призывал нас объединиться с диссидентами, используя Хельсинкский Заключительный акт. Он был знаком с текстом этого акта?

— Конечно! Он лежал прямо там на столе.

— Согласно вашим показаниям встреча происходила 4 июля 1975 года. Это так?

— Да, я это хорошо помню. Был День независимости США, и этот факт также упоминался.

— Правильно. Я тоже это помню. Но Хельсинкский Заключительный акт вышел только в августе 1975 года. Месяцем раньше не было даже ясно, соберется ли конференция вообще. Но

Рубин, значит, уже имел текст, а Пайпс предлагал его использовать. Как вы это объясните?

Я не успел закончить вопрос, как у Рябского выражение лица стало терять уверенность. Он нахмурился, стал колебаться и наконец пробормотал: «Да, да, ну да, вероятно, я просто ошибся. Встреча с Пайпсом происходила не в 1975 году, а 4 июля 1976-го».

Было легко доказать, что это неверно. В июле 1976-го не только Пайпса не было в Москве, но Рубин уже жил в Израиле»[13].

Советский режим держался, опираясь на таких негодяев.

Несмотря на то что обвинению нечего было предъявить, судья в заключительном слове объявил, что Щаранский встречался конфиденциально с советником американского правительства Ричардом Пайпсом в квартире Виталия Рубина и вновь заявлял о необходимости оказывать давление на Советский Союз и в особенности о необходимости шантажировать СССР угрозой свертывания советско — американского культурного и научного сотрудничества. Судья также утверждал, что Щаранский получил от Пайпса «конкретные рекомендации» относительно методов возбуждения антисоветской деятельности в Советском Союзе, особенно «разжигания национальной розни», которую, как якобы сказал Пайпс, «влиятельные круги в США рассматривают как мощный рычаг для достижения эрозии советского общества»[25].

На основе таких сфабрикованных обвинений Щаран- ского приговорили к 13 годам лишения свободы, включая три года тюрьмы. Остальное время он должен был провести в исправительно — трудовой колонии строгого режима.

Вторую половину нашего пребывания в Советском Союзе мы провели в Ленинграде, где в течение девяти дней я продолжал исследовательскую работу над биографией Струве с большим успехом, чем в Москве.

Прежде чем отправиться в Ленинград, мы поехали в Варшаву по приглашению американского посла Ричарда Дэвиса. Впервые с октября 1939 года я ступил на польскую землю. Какая огромная разница между моим прибытием и отъездом 36 лет назад! В то время мы с родителями вынуждены были незаметно покинуть город, теперь же меня встречал в аэропорту посол Соединенных Штатов с букетом цветов. Меня вез в город лимузин посольства под звездно — полосатым флагом. Это было сильным эмоциональным потрясением: я испытал чувство личного триумфа. Мы с женой расположились в резиденции посла, и с нами обращались как с королевскими особами. Однако польские интеллектуалы сторонились нас, боясь быть

скомпрометированными. На праздновании моего дня рождения, организованном послом Дэвисом, присутствовало мало гостей.

Приподнятое чувство, которое я испытал, приехав в Варшаву, сменилось унынием, когда я бродил по знакомым улицам. Варшава никогда не была красивым городом, и уж по крайней мере ей не хватало элегантности польских городов, находившихся под австрийским владычеством. Но она обладала таким очарованием, что некоторые даже сравнивали ее с Парижем. Теперь все это исчезло. После польского восстания 1944 года немцы систематически взрывали и жгли практически все в городе, за исключением районов, где они сами жили. После ухода немцев поляки по указке русских отстроили Варшаву, но в самом безвкусном стиле. За исключением средневекового квартала, который был восстановлен в мельчайших деталях, предпочтение отдавалось огромным кварталам, в которых жилые и деловые здания напоминали бараки. В центре города был построен огромный Дворец культуры — копия пяти небоскребов, построенных в Москве по указу Сталина. Он был настолько же безобразен, насколько не функционален. Его исключительное преимущество, как говорили местные жители, заключалось в том, что это было единственное здание в Варшаве, откуда его невозможно было видеть. Здесь уместно заметить, что согласно опросу общественного мнения, проведенному в 1990-е годы, Варшава была названа «самым неромантичным городом» в мире, предположительно наряду с Улан — Батором, Тираной и даже Магаданом[14].

Мое уныние было вызвано главным образом тем, что город, где когда — то проживало 300 тысяч евреев, был теперь *judenrein* (свободен от евреев). Я, конечно, знал об этом, но реальное, а не абстрактное значение этого дошло до меня, когда я понапрасну искал глазами еврейские лица на улицах. Коммунистическая Варшава была гораздо менее гнетущей, чем коммунистическая Москва, но в Москве можно было видеть много евреев, отчего ее мрачность легче переносилась. Еврейский квартал в Варшаве совершенно исчез, сровнен с землей, хотя то тут, то там на его руинах строились многоквартирные дома. Дом моей бабушки исчез, как и дом, где жила Ванда. На огромной площади — там, где прежде было еврейское гетто, возвышался памятник в стиле соцреализма еврейскому герою Сопротивления. Время от времени к нему подъезжали туристы в автобусах, они выходили, делали пару фотографий перед памятником и, не задерживаясь, уезжали. Странное и неподходящее название *Umschlagplatz* (Площадь пересадки) было дано месту, где сотни тысяч евреев, включая моих родственников и друзей, загоняли в товарные вагоны и

отправляли к газовым камерам Треблинки. Сейчас эта площадь выглядела заброшенной и запущенной. Все это производило невыносимо удручающее впечатление. Глядя на это, я испытал щемящее чувство, будто из всех евреев на земле лишь я один остался живым.

Больше всего меня беспокоило тогда и в следующие визиты в Польшу, что присутствие евреев на территории Польши просто исчезло из сознания польского народа. Конечно, какая — нибудь случайная книга напоминала о еврейской жизни в Польше, но не оставляла никакого следа в коллективной памяти народа. И это несмотря на то, что евреи прожили в Польше семь столетий, в течение которых внесли важный вклад в экономику страны, а в более позднее время — и в ее культуру. Все выглядело так, будто их здесь никогда и не было.

На месте нашего дома, в котором мы жили в 1939 году, стоял Дворец культуры. Но четыре наших предыдущих места жительства остались нетронутыми, вероятно потому, что они были реквизированы для нужд немцев. Я посетил каждое из них и испытал странное чувство: да, я бывал здесь раньше, но все казалось чужим. С тех пор я несколько раз бывал в Польше. Меня прекрасно принимали — и правительство, и интеллигенция посткоммуни- стической Польши. Мне даже была присвоена высокая польская награда. Но я никак не мог отделаться от чувства, что наша родина отвергла и меня, и мой народ.

Глава третья. Вашингтон

Разрядка

Я всегда интересовался политикой, но это никогда не переходило во всепоглощающую страсть. Я был вполне готов поделиться своим мнением и советом по поводу Советского Союза с теми политиками, кто был в этом заинтересован, но не ставил перед собой цель занять какой- либо пост. Мое самолюбие было и остается скорее качеством мыслящего, образованного человека, который хочет влиять на то, что люди думают и чувствуют, а не такого, кто наслаждается властью или жаждет знаменитости. Моя скромная политическая карьера была неожиданной и непрошенной.

1960–1970-е годы были периодом разрядки международной напряженности. Активное наращивание ядер- ных вооружений как в США, так и в Советском Союзе убедило многих людей в западных странах в том, что единственной альтернативой ядерной войне и прекращению жизни на Земле являлся некий компромисс между двумя сверхдержавами. Этим мнением в то время руководствовались политики и политологи (советологи, как их потом стали называть), чтобы разработать такую модель внешней политики, которая в отношении к России подразумевала сотрудничество там, где это было возможно, и противодействие, когда оно было необходимо. Но в каких случаях противодействие было необходимо?

Если единственной альтернативой ядерному холокосту было сотрудничество, то противостояние исключалось — ввиду перспективы полного уничтожения. Лозунг «Лучше быть красным, чем мертвым» часто выражал основной аргумент тех, кто разделял это мнение. Чтобы поддержать свою точку зрения и соответствующие ей предложения по ведению международной политики, сторонники разрядки утверждали, что процесс «конвергенции» демократии и коммунизма уже начался. Следовательно, те, кто подчеркивал различия между двумя системами и призывал к агрессивной антикоммунистической позиции, так называемые оруженосцы «холодной войны», были просто опасными безумцами, способными разжечь третью мировую войну.

Чтобы понять эти настроения, а также ошибки американских советологов, необходимо представить себе условия, в которых происходило изучение Советского Союза в США. Советология возникла в начале «холодной войны», в 50-е годы, и получила развитие после запуска в СССР первого «Спутника» — потенциальной военной системы, которая (впервые в истории

Америки) напрямую угрожала безопасности и даже выживанию США. Существует мнение, что сами обстоятельства возникновения советологии и предопределили непримиримую враждебность к коммунизму и к СССР, породив ментальность «холодной войны», но на самом деле это не так. В Европе, где коммунистическая идеология появилась в середине XIX века, а коммунистические партии возникли в 1920-х годах, ученые и публицисты начали основательно изучать коммунизм еще за столетие до того, как он привлек внимание американцев. При этом некоторые из них, особенно поляки, с поразительной точностью предначертали свойства коммунистического режима, предугадав его деспотизм и экономические провалы.

Подобный объективный анализ коммунизма в США был затруднен тем, что он рассматривался в неразрывной связи с угрозой ядерной войны. То есть несведущие в массе своей в марксизме и в истории России и Советского Союза американцы были склонны смотреть на проблему исключительно с позиции внешней политики, а именно — как избежать конфликта между двумя лагерями, который мог привести к ядерному холокосту. Такой подход заведомо настраивал их на примирительный лад, заставляя обращать внимание на позитивные сдвиги в коммунистическом лагере.

Заключенные в таком отношении добрые чувства искажали реальность, что неизбежно происходит в тех случаях, когда истина подчинена политике. Сообщество советологов прежде всего стремилось примирить два враждующих лагеря и, делая это, игнорировало либо принижало все, что могло противостоять этой цели. В результате природа коммунистических режимов и их движущие силы толковались совершенно неверно.

Этот подход приобрел популярность в силу того, что он обладал успокоительным свойством и импонировал даже тем, у кого не было никакой симпатии к коммунизму, но кто боялся ядерной войны и предпочитал думать, что терпение и понимание могут убедить русских занять более дружественную позицию. Любое проявление противоположного находило оправдание. Таким образом, когда стало очевидно, что Советский Союз после достижения ядерного паритета с США к 1970 году все же стал развертывать дополнительные ракетные системы, в том числе с разделяющимися боеголовками, это истолковывалось якобы имевшей место паранойей русских из — за частых иностранных интервенций либо необходимостью противостоять китайцам, с которыми они в то время были на «ножах». Подобные объяснения того, что любой непредвзятый наблюдатель счел бы агрессивным наращиванием вооружений, было хлебом насущным для тех, кто

влиял на общественное мнение.

Непонимание намерений и мотивов поведения русских имело также и более глубокие причины в культуре.

Для большинства американцев аксиома, что все люди равны, вольно или невольно ведет к вере в то, что все они одинаковы. Под этим они подразумевают, что люди в душе такие же, как они сами, и что если бы у них была возможность, они вели бы себя так, как американцы. Если какая — нибудь страна проявляет агрессию по отношению к Соединенным Штатам, то причина в какой — то обиде. Рассуждая таким образом, они винят в агрессии не агрессора, а жертву. Такая логика совершенно неправомерна, но психологически понятна. В течение всех лет «холодной войны» значительная часть образованных, преуспевающих американцев чувствовала себя виноватой в том, что Америка провоцировала русских, и поэтому требовала уступок им, чтобы русские чувствовали себя в большей безопасности[26].

Русские использовали подобные взгляды американцев с превосходным мастерством. Они создавали образ страны, стремящейся стать еще одной Америкой, если и не такой богатой, то, по крайней мере, в социальном плане более справедливой. Американцы попались на эту циничную пропагандистскую уловку, потому что им свойственна вера в человеческую добродетель и в то, что мир стремится подражать американскому образу жизни. Глянцевый пропагандистский журнал «Совьет юнион тудэй», распространявшийся в США, очень походил на такой же глянцевый журнал «Америка», который можно было с большим трудом достать в России. Для американской элиты русские выставили команды ловких пропагандистов вроде Георгия Арбатова (директора Института США, органа КГБ), который превосходно играл роль веселого парня, курящего трубку. В этой роли многие американские бизнесмены и ученые находили его неотразимым. Притворяясь, что они не относятся слишком серьезно к коммунистической идеологии, и позволяя себе время от времени анекдот о коммунистическом режиме, такие Арбатовы заставляли задуматься: а зачем вообще нужно противостояние Востока и Запада?

Теоретическое обоснование такого отношения к СССР, на самом деле основанного на страхе в сочетании с корыстью, исходило от советологов, ряды которых пополнялись главным образом за счет факультетов политологии, экономики и социологии. Научное же сообщество с энтузиазмом поддерживало их, потому что для него идеология и политика не были чем — то серьезным. Получая щедрое финансирование от правительства и

частных фондов, его члены проводили бесчисленные конференции в Соединенных Штатах, Европе и в Советском Союзе, издавали бесконечные сборники статей, совместно работали над многими исследовательскими проектами. Ради спокойствия ученые, которые придерживались существенно иных взглядов, на подобные мероприятия не допускались. Таким образом достигалось единодушие и процветало «групповое мышление». Это не означало, что любая полемика полностью пресекалась. Она допускалась, но была строго ограничена. Так, к примеру, позволительно было рассуждать о большей или меньшей стабильности советского режима, но не о его нестабильности.

Настаивая на том, что нравственные суждения чужды науке (а они считали себя учеными), советологи относились к обществам, как к механизмам. Один из главных их постулатов гласил, что все общества выполняли одинаковые «функции». Пусть и разными путями, но всюду они воспроизводили знакомые черты коммунистического режима, который несведущему в социологии казался диковинным. К примеру, один из таких «экспертов» не обнаружил существенной разницы между тем, как было устроено управление Нью — Хэйвеном и любым другим городом такого же масштаба в Советском Союзе[27]. В результате применения такой методологии сформировался образ советского общества, которое не во многом отличалось от общества демократического. Этот вывод лег в основу политических рекомендаций, согласно которым мы можем и должны пойти друг другу навстречу.

Таким образом был сфабрикован консенсус. Ничего — ни поездки в Советский Союз, ни появление на Западе десятков тысяч еврейских беженцев, у каждого из которых была своя отдельная история, — не могло поколебать мнение советологов, потому что их наука была тесно связана с личной выгодой. Никто из этих экспертов не задавался, по крайней мере вслух, очевидными вопросами. Например, если дела шли так хорошо и все было стабильно, почему коммунистическое руководство препятствовало своим гражданам свободно путешествовать за границей? Почему оно добивалось единства общественного мнения? Или почему допускало «выборы», в которых участвовал единственный кандидат от единственной партии? Такие «неудобные» вопросы игнорировались, а когда их поднимали, то ответа не следовало. Беспристрастному рассудку такие факты о Советском Союзе говорили о ненадежности режима, а ненадежность свидетельствовала о его слабости.

Нужно было видеть, как американские ученые ублажали своих советских «коллег», большая часть которых выполняла

разведывательные функции, по крайней мере время от времени; с какой готовностью они соглашались консультировать организации, связанные с КГБ, с негодованием отказываясь сотрудничать с ЦРУ. Я не верил своим ушам, когда узнавал, что они просвещали приезжающие в США советские делегации, как можно провести американское правительство. Они были готовы лезть из кожи вон, чтобы получить советскую визу и сохранить контакт со своими советскими коллегами. Елена Боннэр, жена Сахарова, в марте 1986 года с горечью говорила мне о своей неспособности убедить американских ученых помочь ее сосланному мужу путем объявления бойкота советских конференций: они сочувствовали ей, но считали крайне необходимым «сохранять контакт» с советской стороной.

Бывало, я публично заявлял о своей позиции. Например, в 1959 году я напечатал краткое и едкое эссе в «Нью лидер», которое было перепечатано в «Вашингтон пост» под заголовком «Теперь обывательщина потеряла голову от Советов», в котором выразил негодование по поводу всеобщей истерии, охватившей США в связи с запуском советского спутника и сопутствующим восхищением демонстрацией СССР своих научных достижений. Хотя подобные мои выступления не были регулярными, этого, однако, было достаточно, чтобы присвоить мне репутацию сторонника «холодной войны» и закрыть доступ в Дартмут, Пагуош и на другие подобные совещания, посвященные созданию атмосферы всеобщего доверия, где расхождения во мнениях могли бы вызвать раздражение. Те, кто называл меня сторонником «холодной войны», очевидно, ожидали от меня заискиваний. По правде говоря, я воспринял этот «титул» с гордостью. В отношениях с СССР были две возможности, помимо «холодной войны»: умиротворение, которое способствовало достижению коммунистами своих целей, или война, которая грозила всеобщим уничтожением. «Холодная война» была разумным нейтральным курсом между этими крайностями. Однако, такая политика требовала хладнокровия. Проводимая США с 1948-го по 1991 год с перерывом на разрядку она достигла поставленной цели — ускорения процесса распада коммунистической империи без применения оружия.

Возможность начать широкую критику разрядки и всего, что было связано с ней, представилась в декабре 1969 года, когда меня попросили сделать доклад в Вашингтоне на ежегодном съезде Американской ассоциации историков. Заседание было посвящено советско — американским отношениям: Джордж Кеннан и Луис Фишер были назначены комментаторами, председателем должен был быть Уильям Лангер из Гарварда.

Кеннан отказался по какой — то причине, и единственный комментарий давал Фишер, журналист с большим самомнением, который в 1930-х внес свой вклад в дезинформирование американской общественности относительно СССР. Мой доклад, который впоследствии вышел в лондонском ежемесячнике «Энкаунтер» под заголовком «Миссия России, судьба Америки», проводил непреодолимую черту между двумя системами как в историческом, так и в идеологическом плане. Не было и не могло быть никакой «конвергенции»: либо одна, либо другая система должна была уступить. Я подвел такой итог:

Эти размышления неутешительны для человека, который верит, что каким — то образом в результате чудесного сочетания доброй воли и просвещенного эгоизма внешняя политика Соединенных Штатов и России придет к общим целям. Понятия о том, что есть «добро», а что такое «эгоизм», не совпадают у людей, которые вершат политику в США и в России. Международное равновесие, существующее с середины 1950-х годов и до сих пор обеспечивающее хрупкий мир, не было результатом приверженности коммунистического руководства принципу общих интересов стран. При *взгляде оттуда вселенная не состоит из величественных планет, которые движутся по законам природы каждая по предназначенной ей орбите, а человеку отведено место в центре этой вселенной, дабы он мог доказать свою значимость. Настоящая реальность, если оценивать ее без цинизма, — это хаос, в котором происходят как благие, так и ужасные события, и Бог в лице Истории ведет к неотвратимому судному дню.*

Вклад Фишера состоял в том, что он вновь и вновь с нарастающим напором твердил: «Политика — это власть». Это суждение можно сравнить по глубокомыслию с такими, как «бизнес — это деньги» или «медицина — это лечение».

На этом заседании присутствовала Дороти Фосдик, дочь известного теолога — протестанта и ближайшего советника Генри Джексона, сенатора от демократической партии из штата Вашингтон. Джексон, один из наиболее вдумчивых и неподкупных политиков, которых я когда — либо встречал, резко возражал против политики разрядки и в целом поворота политики США в сторону России. В этом вопросе он искал поддержки специалистов. Когда мисс Фосдик сообщила ему и его советнику по внешней политике Ричарду Перлу о моем выступлении, Джексон пригласил меня в марте 1970 года в качестве свидетеля в Сенат на слушание по Договору об ограничении стратегических вооружений. В своих показаниях я попытался донести, что главными являются не возможности самого оружия, а психология и политическая ментальность

людей, обладающих этим оружием. Коммунисты не могли принять идею паритета, на которой основывалась ядерная стратегия Америки, потому что это означало бы установление военного равновесия. Военное равновесие, в свою очередь, означало бы, что они больше не смогут рассчитывать на победу в мировом конфликте, который служил оправданием как их диктаторской политики, так и нищеты, в которой они держали своих подданных. Еще один профессор давал показания вместе со мной. Когда сессия закончилась, он по секрету сказал мне, что разделял мои взгляды, но предпочитал не выражать их открыто из — за боязни не получить визу на въезд в Союз. Позднее Джексон закрепил меня в качестве консультанта за своим Комитетом национальной безопасности и международной деятельности. В 1972 году комитет опубликовал доклад «О некоторых оперативных принципах советской внешней политики», который я в предыдущем году сделал в Тель — Авиве. Мое восхищение Джексоном никогда не ослабевало, хотя я и был разочарован той поспешностью, с которой он вышел из предвыборной гонки на выборах президента в 1976 году после проигрыша в Пенсильвании. После его смерти в 1983 году еще более ослабла моя связь с демократической партией, которая десятилетие назад была поколеблена в связи с выдвижением Джорджа Мак — Говерна кандидатом на пост президента от этой партии.

Благодаря этому моему участию в политической жизни в 1973 году меня пригласили стать старшим консультантом Станфордского исследовательского института (СИИ), который находился в Пало — Альто в штате Калифорния и имел Центр стратегических исследований в Вашингтоне, которым руководил Ричард Б. Фостер. Правительство считало СИИ организацией правого толка, выступающей против разрядки напряженности, и поэтому скудно финансировало его. Моя идея систематического изучения советской «Большой стратегии» не вызывала у сотрудников Государственного департамента и Министерства обороны ничего, кроме издевок. Последующие несколько лет я читал лекции, давал показания в Конгрессе и часто публиковал статьи по вопросам национальной безопасности. Это упрочило мое положение в качестве ведущего сторонника «жесткой линии» по отношению к СССР. (Мое мнение неизменно называли «жесткой линией», в то время как противоположная точка зрения всегда считалась «умеренной», но никогда не считалась «мягкой линией».)

В 1974 году СИИ организовал в Москве совместную конференцию с двумя российскими институтами международной

политики, для которых это было попыткой наладить связи с консервативной частью американского общества. Во время одного из заседаний я достаточно резко высказался в отношении советской политики на Ближнем Востоке, которая в то время была направлена против Израиля и включала участие советского военного персонала. Американские делегаты поздравили меня при личной встрече, хотя публично никак не прокомментировали мое выступление. Один из советских участников, Евгений Примаков, специалист по Ближнему Востоку, после заседания отвел меня в сторону и сказал, что я неправильно понимаю советскую политику на Ближнем Востоке, что СССР никогда ни при каких обстоятельствах не допустит уничтожения государства Израиль. «Почему?» — спросил я. В тот момент, когда он собирался ответить, открылась дверь и в комнату вошел Георгий Арбатов, приглашая вернуться в зал заседаний. Я так и не узнал ответ на этот вопрос. Но я никогда не ожидал, что Примаков, который в то время был аппаратчиком среднего уровня со связями в КГБ, однажды станет премьер — министром посткоммунистической России и кандидатом на пост президента. Он произвел на меня впечатление человека проницательного, не зацикленного на идеологии чиновника, которому, однако, не хватало более широкого взгляда на мир.

Команда «Б»

Летом 1976 года, которое я провел в Лондоне и которое памятно засухой, погубившей много деревьев в Гайд — парке, мне позвонил Дик Фостер из СИИ и осведомился, как скоро ждать моего возвращения. Фостер не сказал, зачем ему это знать, сообщив только, что меня ждет важное назначение. В любом случае я планировал уехать обратно через несколько дней.

В автобусе по дороге в аэропорт Хитроу произошел неприятный инцидент. Молодой человек, пробираясь мимо меня в центр автобуса, намеренно пнул мою ногу, слегка выдвинутую в проход. Несколько минут спустя он с еще более очевидным умыслом сделал то же самое. Я вскочил и обозвал его ненормальным. «Давай, бей меня! — провоцировал он. И добавил: — В твоем возрасте надо сидеть и молчать в тряпочку». Я воспринял такое поведение как намеренную провокацию, хотя не имел ни малейшего представления, кто за ней стоит и что ему надо. Затем в самолете, после того как я занял свое место около окна рядом с двумя пассажирами, стюард по громкой связи назвал мое имя и попросил пересесть к другому окну, причем соседнее кресло оказалось свободным. Вскоре в него села молодая женщина, немного говорившая по — русски и, кажется, знавшая, кто я такой. Мы проговорили с ней практически весь полет до Бостона. Такого тоже никогда не случалось раньше, и я задумался, что бы это могло значить.

Вернувшись в Бостон (приблизительно в конце июля), я отправился в Вашингтон на встречу с Фостером. Назначение, на которое он намекал, действительно было весьма интересным и в какой — то степени меняло направление моей жизни. ЦРУ обратилось к нему с просьбой, чтобы он предложил мне возглавить очень секретный проект. Подоплека дела состояла в следующем: уже некоторое время мнения разведывательного сообщества расходились по поводу цели ядерного строительства в СССР в 1970-е годы, а именно — создания новых поколений как стратегических, так и тактических ракет. В соответствии с доктриной гарантированного взаимного уничтожения (ГВУ), признаваемой аксиомой как учеными, так и разведкой, ядерное оружие не имело практической пользы и служило только для сдерживания ядерной угрозы. Совершенно секретный меморандум ЦРУ в апреле 1972 года под заголовком «Советская оборонная политика в 1962–1972 гг.» утверждал, что советское руководство также разделяет взгляды этой доктрины, хотя ни одного аргумента в защиту этого тезиса приведено не было.

«Советы… считают, что их [стратегические] силы служат прежде всего для сдерживания. Главные усилия сосредоточены на программах по обеспечению способности этих сил выдержать американскую атаку и быть в состоянии ответить сокрушительным ударом»[2].

Следовательно, как только был достигнут уровень сдерживания, достаточный, по оценке министра обороны Роберта Макнамары, для уничтожения 25 процентов населения и 50 процентов промышленности агрессора, дальнейшее развертывание вооружений было бы не только бесполезным, но опасно провокационным. ЦРУ предпочитало упорно продолжать поиск различных оправданий наращиванию сил в Советском Союзе в рамках доктрины ГВУ вместо ее пересмотра. Оно продолжало делать это даже тогда, когда некоторые компетентные наблюдатели, такие как Джеймс Шлезингер и Альберт Волштеттер, выражали глубокие сомнения в правильности такого подхода. Как это обычно бывает с бюрократическими организациями, управление защищало себя, допуская, что СССР «находится под влиянием военной доктрины, направленной на достижение победы в войне», и отвергало «гарантированное взаимное уничтожение», но рассматривало подобную ситуацию как чисто теоретическую, пока ГВУ остается «реальностью, которая будет действенна еще как минимум 10 лет»[28].

Правительство создало наблюдательный орган под названием Президентский консультативный совет по внешней разведке (ПКСВР) с целью предотвратить взаимное интеллектуальное влияние и исключить единообразие аналитики. В середине 1976 года председателем этой состоявшей из 16 человек группы был энергичный нью — йоркский экономист и глава Международного комитета спасения Лео Черне. Среди ее членов были также Клэр Бут Л ус; Эдвин Лэнд, основатель компании «Полароид»; Джордж П. Шульц, будущий госсекретарь; Роберт В. Галвин, глава компании «Моторола»; известный вашингтонский юрист Эдвард Беннет Уильямс; несколько генералов и адмиралов в отставке. Встревоженный успокаивающими оценками ЦРУ по поводу развертывания советских ядерных вооружений, ПКСВР запросил в августе 1975 года независимую экспертизу ситуации. Уильям Колби, в то время глава ЦРУ, не хотел ничего слышать о подобном вмешательстве в дела своего ведомства и в апреле 1976 года предложил внутриведомственную проверку. Исполнительный секретарь ПКСВР, Лионель Олмер заявил, что «ЦРУ представило итоговый отчет на 75-ти страницах. Он настолько изумлял, что у [Джорджа] Буша (Колби тогда уже не

занимал свой пост) не было абсолютно никакого выбора, кроме как принять предложение о создании команды «А» и команды «Б». Отчет до такой степени дискредитировал исследования [разведывательных] органов по этим трем вопросам [см. ниже] за десять лет, что делал лишними всякие аргументы в пользу необходимости что — то предпринять»[3].

После назначения в начале 1976 года Джорджа Буша директором ЦРУ Черне обратился к президенту Форду с просьбой о проведении независимой экспертизы. Форд дал согласие, и Буш был вынужден подчиниться. Было решено провести эксперимент в виде «конкурентного анализа», в ходе которого шесть групп экспертов — три из ЦРУ (команда «А») и три, сформированные из независимых экспертов (команда «Б»), — должны были независимо друг от друга оценить информацию по трем направлениям, которые вызывали наибольшую тревогу и были спорными аспектами советских военных усилий: противовоздушная оборона, точность ракет и стратегические цели. Все три имели прямое отношение к основаниям, на которых строилась наша оборонная стратегия.

В другом месте я рассказывал о некоторых деталях эксперимента[4], поэтому сейчас ограничусь лишь замечаниями общего характера. Из трех направлений анализа наиболее важное касалось советской стратегической доктрины: если продолжающееся развертывание советских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и других систем вооружения, как наступательных, так и оборонительных, расценивать как отказ Москвы от доктрины гарантированного взаимного уничтожения, вся американская ядерная стратегия опиралась на ошибочный базис, что чревато катастрофическими последствиями. Сперва ЦРУ предложило пост главы группы независимых экспертов по советским стратегическим целям Фою Колеру, который когда — то служил послом в Москве, а теперь, находясь в отставке, жил во Флориде. Но Колер отказался по причине слабого здоровья. Сеймур Уайс, чиновник министерства обороны в отставке, также сослался на слабое здоровье. (Из слухов, однако, стало известно, что на его назначение было наложено вето Госдепартаментом, так как, являясь послом на Багамах, он не мог отвлекаться от своих обязанностей.) Я был третьим в списке кандидатов и был назначен Джорджем Бушем по рекомендации его штаба руководителей национальной разведки.

Я принял предложение не без некоторых колебаний из — за опасения, что задание потребует знания ракетных технологий, которым я не обладал. Но Фостер убедил меня в том, что я смогу воспользоваться услугами экспертов, которых было

предостаточно. От меня же требовалось понимание советского менталитета, взглядов советских военных на вопросы вооружения. Я спрашивал и Роберта Галвина, который исполнял функции связного Президентского консультативного совета по внешней разведке с командой «Б», и Генри Кнока, являвшегося заместителем главы ЦРУ, о рамках наших полномочий, но получил только расплывчатые ответы. Мне было сказано, что мы можем их толковать настолько широко или узко, насколько сочтем необходимым. Эти ответы опровергают выдвинутые позднее обвинения в том, что команда «Б» превысила свои полномочия.

Группа экспертов, которую я собрал, была выдающаяся. Два военных офицера, генерал в отставке Джон Вогт и генерал — майор Джаспер Уэлч были из списка, предоставленного ЦРУ. Остальных выбрал я сам. Среди них были Пол Нитце — бывший министр военно — морского флота и заместитель министра обороны; генерал — лейтенант в отставке Дэниел Грэм, бывший глава разведывательного Управления министерства обороны США; Пол Вул- фовиц из Управления США по контролю над вооружениями и разоружением, впоследствии — заместитель министра обороны в администрации Джорджа Буша — младшего; Томас Вулф из «РАНД-корпорэйшн», а также профессор Вильям ван Клив из Южнокалифорнийского университета. Колер и Уайс работали консультантами. Мы поделили работу между собой и начали пристально изучать документацию, которую ЦРУ передало в наше распоряжение. Мы должны были работать очень быстро, потому что наш доклад, так же как и доклад ЦРУ, должен был быть готов в середине декабря. Именно к этому времени должен был быть подготовлен документ, официально обозначенный как ОНР (оценка национальной разведки) 11–3/8–75 — самый важный суммарный продукт ЦРУ, на основе которого составляется годовой бюджет министерства обороны, предоставляемый на рассмотрение в Конгресс[29].

Я выполнил мою часть работы, одновременно неся всю преподавательскую нагрузку в университете. Я читал лекции и вел семинар в первой половине недели, а вторую половину проводил в Вашингтоне. Всего в период с 25 августа по 23 ноября команда «Б» провела десять заседаний. Я проанализировал тексты прошлых оценок ЦРУ.

чтобы выявить какие — либо невысказанные предположения, оставив оценку развертывания советских вооружений своим более сведущим коллегам.

5 ноября две команды, заранее обменявшись черновиками, встретились в штаб — квартире ЦРУ в Лэнгли, что в конечном

итоге переросло в напряженное противостояние. ЦРУ выставило в команде «А» молодых аналитиков, тогда как наша команда состояла из зрелых и опытных политических и военных деятелей. Это встреча была неравным боем лейтенантов против генералов. Несправедливая хотя бы по своему формату, она обернулась катастрофой для ЦРУ, так как наши люди просто разнесли в пух и прах критику нашего предварительного доклада. 2 декабря команды «А» и «Б» представили свои материалы в Президентский консультативный совет по внешней разведке: материалы команды «А» были серьезно исправлены по сравнению с черновиком месячной давности. Произошло ли это по настоянию Буша или под воздействием наших аргументов, я затрудняюсь сказать. Отредактированный вариант доклада команды «А» подчеркивал стремление СССР достичь способности к победоносной войне не как теоретическую возможность, как в первом варианте, а как реальность[5]. Наш же доклад был более бескомпромиссным, и Клэр Бут Лус позже рассказала мне, что, после того как мы вышли из комнаты, группа некоторое время продолжала сидеть в звенящей тишине, настолько все были поражены приведенными мною от имени нашей команды доводами, о справедливости которых они давно догадывались, но никто их раньше им не приводил.

Наш итоговый доклад, представленный в декабре, состоял из трех частей. В первой части, подготовленной мной, предыдущие стратегические оценки ЦРУ были подвергнуты методологической критике. Написанная отдельными членами команды вторая часть состояла из анализа десяти советских систем вооружения. Последняя часть, составленная всем коллективом команды, содержала наши выводы и рекомендации.

Общий вывод заключался в том, что оценки ЦРУ «существенно искажали мотивацию советских стратегических программ» и как следствие «имели последовательную тенденцию недооценивать их интенсивность, размах и скрытую угрозу»[30].

Такое непонимание вызвано в значительной мере опорой на так называемые технические данные, то есть собранные техническими средствами. В результате наметилась тенденция интерпретировать эти данные, основываясь на базовых американских принципах, в то время как значительная часть субъективной информации о советских стратегических концепциях была неправильно понята или ею пренебрегали. Неспособность принимать во внимание и правильно оцененивать такие субъективные источники данных привела к тому, что национальная разведка не исследовала комплексно советские общеполитические планы, которые определяли и объясняли

советские стратегические цели. Однако поскольку политический контекст не мог быть опущен полностью, аналитики национальной разведки взяли за привычку вводить в ключевые оценки ведомственных отчетов субъективные суждения оценок, основанные на «зеркальном отражении», то есть на приписывании советским руководителям, принимающим решения, таких форм поведения, которых можно было ожидать от их американских коллег при аналогичных обстоятельствах.

В докладе подчеркивалось, что советские лидеры мыслили не категориями полных противоположностей, характерных для нашей культуры (например, война и мир, конфронтация и разрядка и т. д.), а «диалектически», то есть рассматривали их как «взаимосвязанные и взаимодополняющие понятия». Важным следствием игнорирования такого мышления было заблуждение, что Москва видела предназначение ядерного оружия исключительно в качестве фактора сдерживания и воспринимала «сдерживание как альтернативу способности вести войну, а не как дополнение к такой способности». Реальность, однако, свидетельствовала, что советские лидеры «мыслят, прежде всего, в наступательных, а не в оборонительных категориях. Они мыслят не категориями ядерной стабильности, взаимного гарантированного уничтожения или стратегической достаточности, а категориями эффективной способности вести войну. Они считают, что вероятность всеобщей ядерной войны можно уменьшить, наращивая свои собственные стратегические силы, но ее невозможно совершенно исключить, а следовательно, необходимо быть готовым и к такой войне, как если бы она была неизбежной, а также быть готовым и нанести удар первыми, если ее неизбежность становится очевидной».

В целом все дело было в понимании другой культуры. Стратегическое равновесие было обусловлено не только относительной мощностью двух противостоящих друг другу арсеналов, но также, и прежде всего, ментальностью и намерениями людей, контролирующих их. (В 1940 году, например, союзники имели во Франции больше солдат и танков, чем Германия, но тем не менее потерпели сокрушительное поражение, потому что их генералы, основываясь на опыте Первой мировой войны, сосредоточились на обороне и приписывали противнику такой же образ мысли.)

Этот общий вывод доклада подкреплялся детальным анализом нескольких конкретных советских ядер- ных программ, таких как межконтинентальные баллистические ракеты; гражданская оборона; укрепление инфраструктуры управления и контроля; мобильные ракеты; стратегические бомбардировщики и

другие. Мы также приложили набор рекомендаций для национальных разведслужб по улучшению аналитического процесса, подчеркивая необходимость мыслить советскими категориями, чтобы избежать проецирования на Советы наших представлений; воздерживаться от поспешных «конечных выводов» и рассматривать советские военные программы комплексно; противостоять максимально возможно политическому давлению, оказываемому на аналитический процесс, а также настаивая на необходимости широкой интерпретации фактов.

21 декабря я представил наши выводы сотрудникам ЦРУ, собравшимся в огромной аудитории в Лэнгли. Когда заседание закончилось, присутствовавший на нем Буш пригласил три команды «Б» на приватный ланч. Мне показалось странным, что он не пригласил никого из нашей команды за свой стол, несмотря на то что у нас было гораздо больше знаменитых личностей. У меня создалось впечатление, что он очень опасался последствий эксперимента с командами «А» и «Б» и, вероятно, уже сожалел о том, что дал на это разрешение. В то время, когда наша работа еще продолжалась, до меня дошли разговоры, что он советовался со своими сотрудниками о том, какие последствия все это будет иметь для его политического будущего. Недостаток политического мужества был его отличительной чертой и его слабостью, которой суждено было наложить отпечаток посредственности на его президентство. В моем дневнике 1 января 1982 года, а к этому времени я познакомился с ним поближе, я записал о Буше: «Я сильно сомневаюсь, что он обладает достаточной силой характера и уверенностью в себе», чего у Рональда Рейгана было в избытке.

Несмотря на то что все это предприятие должно было быть секретным, информация о нем просочилась. Первый довольно точный материал, написанный Уильямом Бичером, появился 20 октября в «Бостон глоб», но он не привлек к себе большого внимания. Шум поднялся только после помещенной на первой странице воскресного номера «Нью — Йорк тайме» 26 декабря 1976 года публикации, автором которой был Дэвид Байндер. В 1950-е годы он был моим студентом по программе «История и литература».

Байндер позвонил мне 20 декабря и попросил дать интервью. Когда я ему ответил, что не смогу сделать этого, он мне сообщил, что ЦРУ уже проинформировало его о проекте. Я связался с Ричардом Леманом, заместителем директора ЦРУ по вопросам национальной разведки и попросил разрешения на интервью; он с готовностью согласился. 21 декабря я встретился с Байндером в

Национальном аэропорту минут на тридцать. Мне сразу стало ясно, что он интервьюировал высокопоставленных чиновников ЦРУ и, возможно, самого Буша. Тем не менее, после того как появилась его статья, меня заподозрили в том, что источником утечки информации был я. 30 декабря кто — то попросил обозревателя Джозефа Крафта предупредить меня, чтобы я прекратил разговоры. В наши дни я бы попросил его уйти, но в то время я вежливо сказал ему, что считаю разглашение государственных секретов предательством. Поэтому я был весьма удивлен, когда 2 января 1977 года в программе «Лицом к нации» по Си — би — эс Буш намекнул, что источником утечки информации была команда «Б».

В течение следующих нескольких недель царило смятение. «Нью — Йорк тайме» в типичной для нее помпезной передовой, написанной с высоты журналистского Олимпа, где пребывают ее обозреватели, поставила под вопрос мотивы и намерения команды «Б» и одновременно высмеивала ее усилия оценить мотивы и намерения советских военных. Газета делала это, не получив допуска к засекреченному докладу команды «Б», хотя нет сомнения в том, что она собрала предвзятые мнения от руководства ЦРУ[6]. Киссинджер отверг доклад команды «Б» как «стремящийся саботировать новый договор по ограничению вооружений» и призвал к «рациональной дискуссии по вопросу о ядерной стратегии», подразумевая, видимо, такую дискуссию, которая подтвердила бы его собственную точку зрения, согласно которой иррациональным было стремление к ядерному превосходству[7].

ЦРУ сразу же перешло в контрнаступление, чтобы защитить себя и поставить под сомнение мотивы команды «Б». ЦРУ сделало это посредством сенатского Особого комитета по разведке под председательством сенатора Дэниела Инуйи от штата Гавайи. Директором его офиса был Уильям Грин Миллер, с которым я был знаком в 1950-е годы в Гарварде, где он работал в штате программы «История и литература». Миллеру пришлось покинуть дипломатическую службу в связи с тем, что он проявил чрезмерное рвение, пытаясь добиться свержения шаха Ирана. Позже, в качестве помощника сенатора Джона Шермана Купера, он готовил поправку Купера — Черча о прекращении помощи Вьетнаму. Он организовал слушания таким образом, что ни одного члена команды «Б» не пригласили дать показания, и таким образом обвинители имели все поле игры для себя одних. Именно он выбрал председательствовать на этой процедуре Гарольда Форда, честного и достойного человека, который, однако, вряд ли мог быть непредвзятым, так как в прошлом его карьера была

связана с ЦРУ.

Инуйи назначил сенатора Адлая Стивенсона — млад- шего возглавлять подкомитет, в задачу которого входило разобраться, мог ли эксперимент по конкурентному анализу оказать давление на ЦРУ, в результате чего выводы были «искажены». Я узнал от Дэниела Грэма о докладе подкомитета, готовившегося совершенно секретно, и попросил Стивенсона дать разрешение Грэму, Нитце и мне прочитать его и сделать на него отзыв. Разрешение было дано. То, что я прочитал в августе 1977 года, было ужасно. Доклад обвинял команду «Б» в превышении полномочий, утверждал, что она не использовала «сырую информацию», «сговорилась» с Президентским консультативным советом по внешней разведке о подборе персонала и о выводах и даже — что сделала выводы до начала своей работы[8]. (Последнее обвинение было взято из показаний Пэйсли.) Доклад также намекал, что команда «Б» несла ответственность за разглашение своих выводов прессе. Более того, доклад утверждал, что весь эксперимент не внес никакого «весомого вклада» в улучшение процесса работы национальной разведки. В то же время, противореча своим собственным выводам, доклад соглашался со многими нашими критическими замечаниями по поводу оценок национальной разведки, включая ее увлечение техническими аспектами в ущерб политическому подходу, то есть отрыв от политики.

Сенатор Гэри Харт, а скорее его помощник, пишущий от его имени, обвинил нас в сговоре с военно — промышленным комплексом и в том, что мы стремились своими оценками заставить приступающую к работе администрацию президента Картера увеличить военный бюджет: «Привлечение избранных неправительственных экспертов нельзя рассматривать никак иначе, чем прикрытие политических усилий, направленных на то, чтобы заставить национальные разведслужбы принять более пессимистическую оценку советской стратегической угрозы» для того, чтобы увеличить оборонные ассигнования.

Нас энергично защищали сенаторы Дэниел Патрик Мойнихен и Малкольм Уоллоп. Год спустя в заявлении, приложенном к сообщению для печати сенатского Комитета по разведке относительно эксперимента команд «А» и «Б», Мойнихен доказывал, что выводы команды «Б» о стремлении России к достижению превосходства в стратегических вооружениях «превратились из еретических во всеми уважаемые, если не ортодоксальные убеждения» в тех кругах, «которые можно назвать официальным Вашингтоном»[9]. Сенатор Уоллоп правильно отметил, что сенатский доклад в новой редакции имел

основательный изъян, потому что, по его словам, «он не пытался выявить, выводы какой команды относительно СССР были правильными», а сосредоточился на «процедурных вопросах».

В течение следующего месяца, а это совпало с периодом вступления в должность президента Картера, меня буквально осаждали крупные телевизионные кампании с приглашениями выступить, но я все их отклонял. Я также был завален письмами от людей из разных концов страны. Некоторые хвалили меня, другие обвиняли. На все письма я пытался отвечать. 16 февраля я выступил с публичной лекцией о деятельности команды «Б» перед переполненной аудиторией в университете имени Джорджа Вашингтона.

В январе 1977 года Брежнев счел нужным выступить с явно адресованной вновь избранному президенту Картеру речью в Туле, в которой он с негодованием отрицал то, что его страна стремилась к военному превосходству или предполагала вести ядерную войну и победить в ней. Единственным результатом этой речи было ужесточение цензуры в советских публикациях по дискуссии о ядерной стратегии.

О моей неопытности в политической кухне Вашингтона свидетельствует удивление, которое я испытывал, читая американскую прессу о деятельности команды Б», по поводу того, что все задавали два второстепенных вопроса: каковы были наши мотивы и какое значение будут иметь наши выводы? Никто, включая сенатский Комитет по разведке, не удосужился выяснить, была ли вероятность того, что мы правы. Но в этом не было ничего нового. Четыре столетия тому назад Монтень так сказал о подобной манере мышления: «Обычно я вижу, что, когда люди сталкиваются с фактами, их больше занимает происхождение этих фактов, чем их суть».

Деятельность команды «Б» имела два последствия. Во — первых, она настолько глубоко повлияла на Рейгана и на мышление его администрации, что некоторые журналисты поначалу обозначали администрацию Рейгана как «команду Б». Во — вторых, ее деятельность внесла вклад в улучшение процедуры разработки оценок ЦРУ. Несмотря на то что никогда более не использовались услуги независимых экспертов, конкурентный анализ стал частью процесса, который отныне «включал несогласные мнения»[10].

Президентский консультативный совет по внешней разведке стал жертвой истории с командой «Б». Отдел заплатил за свою связь с командой «Б» тем, что президент Картер его упразднил. В результате из — за отсутствия надзора качество докладов ЦРУ ухудшилось так быстро, что в ноябре 1978 года президент Картер

строго отчитал нового директора ЦРУ адмирала Стэнсфилда Тернера за низкое качество данных политической разведки, которые к нему поступали[11]. Год спустя произошло советское вторжение в Афганистан, к которому ЦРУ было совершенно не готово. Как и раньше, ЦРУ рассуждало категориями зеркального отображения мотиваций, убежденное в том, что после нашего фиаско во Вьетнаме Москва не осмелится посылать вооруженные силы в страну третьего мира.

В то время когда команда «Б» еще работала, Пол Нитце и ряд других известных общественных деятелей организовали Комитет по существующей угрозе для того, чтобы предостеречь общественность о растущем разрыве в балансе вооружений между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Нитце, Дэвид Пакард, один из основателей кампании «Хьюлет — Пакард», и Юджин Ростоу, который ранее служил деканом юридического факультета Йельского университета, были главной движущей силой в этой организации. Среди членов ее исполкома были бывший секретарь казначейства Генри Фаулер, бывший начальник планирования военно — морских операций адмирал Эльмо Цумвальд, Дэвид Ачесон, сын Дина Ачесона, и Ричард В. Аллен, специалист республиканской партии по иностранным делам. Рональд Рейган был в составе Совета директоров. После того как команда «Б» прекратила свое существование, меня пригласили стать членом исполкома. Для него я написал ряд программных документов, начиная с такого как «Что замышляет Советский Союз?» (апрель 1977 г.), в котором подчеркивал необходимость рассматривать советские действия в ракурсе российской истории и коммунистической концепции большой стратегии[12]. Репутация членов комитета и, как мне хотелось бы думать, убедительность его доводов привлекли широкую и почтенную аудиторию. Через наши публикации и лекции, которые мы активно и широко распространяли, мы, безусловно, оказывали воздействие, уравновешивающее влияние лобби контроля над вооружениями. Здесь уместно упомянуть, что наши оппоненты, которые набили руку на выдвижении лозунгов и всевозможных призывов, заявили, что настоящая угроза Соединенным Штатам исходила не от Советского Союза, а от Комитета по существующей угрозе.

Мне было забавно наблюдать, с какой готовностью американские либералы взяли на вооружение коммунистическое обыкновение приписывать коммунистические взгляды критикам коммунизма. Например, некий Роберт Шейер в ноябрьском номере «Плэйбоя» (!) за 1982 год заявлял: «Правительство США попало под контроль тех, кто верил в возможность победоносной

ядерной войны»[31]. Я полагаю, что мы одержали верх в этом диспуте, свидетельством чего было избрание президентом Рейгана и массивное наращивание вооружений, последовавшее вслед за этим. Мы одержали верх потому, что наши аргументы основывались на фактах, а наши оппоненты или говорили языком туманных общих фраз или прибегали к насмешкам и брани.

Самая большая шумиха по поводу того, что я когда- либо написал, поднялась вокруг моей статьи «Почему Советский Союз полагает, что может вести и выиграть ядер- ную войну?», заказанной редактором журнала «Коммен- тари» Норманом Подгорецом и опубликованной в июле 1977 года. В этой статье, старательно избегая любых ссылок на секретные материалы и после «зачистки» текста в ЦРУ, я изложил основные аргументы команды «Б».

Доказательство правоты команды «Б» пришло через два года после ее роспуска. Придя к власти, администра ция Картера относилась с большим скептицизмом к выводам команды «Б». Несмотря на то что адмирал Тернер сразу же согласился с ними, высказавшись в том смысле, что Москва действительно стремилась к военному превосходству, новый министр обороны Гарольд Браун пренебрежительно относился к этому утверждению, как, впрочем, и новый госсекретарь Сайрус Вэнс. Однако, по настойчивому требованию Збигнева Бжезинского, советника Картера по национальной безопасности, было начато секретное исследование для выяснения обоснованности выводов команды «Б». Менее чем через год после окончания работы команды «Б» Гарольд Браун публично признал, что если «сегодняшние тенденции» в развертывании советских ядерных вооружений «будут продолжаться», то через пять лет положение станет «серьезным». Он также добавил, что существовала «потенциальная опасность» того, что Советы скорее «готовились вести ядерную войну, нежели стремились просто предотвратить ее»[13]. Секретные выводы этого исследования были частично открыты для публикации в январе — феврале 1979 года. Согласно «Нью — Йорк тайме», «Исследование [Директива президента № 59] пришло к выводу, что Москва не признавала концепцию гарантированного уничтожения и строила вооруженные силы, способные вести ядерную войну. В частности, исследование утверждало, что к началу 1980-х годов советские вооруженные силы теоретически будут в состоянии уничтожить значительное число американских ракет «Минит- мен», размещенных в подземных шахтах»[14]. Какое признание правоты команды «Б»! В результате этого исследования администрация президента Картера отказалась от традиционного подхода, что для

сдерживания Москвы Соединенным Штатам необходимо только создать угрозу «неприемлемого уровня разрушения» промышленности и уничтожения населения. Вместо этого администрация взяла на вооружение стратегию «уравновешивания» в отношении советских ядерных сил. Поступая таким образом, администрация Картера принимала точку зрения команды «Б» и делала соответствующие практические выводы, хотя и не выразила ей признательности.

Поскольку меня обвиняли в том, что я придерживаюсь всяких сумасбродных идей по этому вопросу, начиная с пренебрежения опасностью ядерной войны и кончая предположением, что русские начнут ядерную атаку в любой день ни с того ни с сего, мне не остается ничего лучшего, как подытожить мои действительные взгляды в том виде, в котором я их выразил в письме в «Нью — Йорк ре- вью оф букс» пару лет спустя. Они основывались на четырех тезисах:

1. *Советское руководство не желает войны и надеется достичь своих глобальных целей без военной конфронтации с Соединенными Штатами;.*

2. *Советское руководство благоразумно допускает, что война с Соединенными Штатами может тем не менее начаться;.*

3. *Они считают, что в такой всеобщей войне стратегическое ядерное оружие будет играть решающую роль;.*

4. *Исходя из этого предположения, они осуществляют приготовления как оборонительного, так и наступательного характера, чтобы выйти из войны с возможно наименьшими потерями и с сохраненной политической системой, иными словами, с победой*[1Г>].

Эта оценка получила подтверждение девять лет спустя, уже в условиях гласности, когда Вадим Загладин, заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС написал в «Известиях», что Советский Союз проводил двойную политику: «Отвергая ядерную войну и борясь за ее предотвращение, мы, тем не менее, исходили из возможности одержать в ней победу»[16]. После распада Советского Союза этот подход получил подтверждение из информации, полученной от советских военных. Американский генерал — лейтенант Уильям Одом пишет: «Брежнев поручил военным разработать следующую формулу.

Хотя ядерная война была бы ужасна и ее необходимо по возможности избежать, никто не может быть уверенным в том, что империалисты ее не развяжут, и тогда растущий советский ядерный потенциал станет гарантом того, что социалистический лагерь одержит верх и что империализму придет конец… В 1992

году генерал — полковник Игорь Родионов, в то время начальник Академии Генштаба, ставший министром обороны в июле 1996 года, писал, что в 1950-е и 1960-е годы политическое руководство пришло к выводу, что “будущая война станет ядерной с массированным применением ядерного оружия… И военная наука для оправдания этого тезиса доказала, что боевые действия с использованием обыкновенных вооружений практически безнадежно устарели, что победу можно будет одержать в мировой ядерной войне”»[17].

Недавно опубликованная информация о военных планах польской армии, страны — члена Варшавского Договора, показывает, что ее наступательным операциям на Данию и Бельгию должны были предшествовать ядерные удары по крупным западным городам (Гамбург, Бремен, Антверпен), а также по сосредоточению натовских войск (Эсберг, Роскильде) с целью посеять панику и произвести разрушения[18].

Удивительно, почему такие планы, которые были совершенно очевидны, как исходя из характера советских военных приготовлений, так и из специальной литературы, так долго не воспринимались американскими военными теоретиками и почему команда «Б», которая первой раскрыла их, стала объектом оскорблений.

Работа в Совете по национальной безопасности

В конце 1970-х годов благодаря предшествующей деятельности я был вовлечен в большую политику, хотя у меня было мало связей в этой среде и большую часть времени я посвящал историческим исследованиям. В 1979 году я закончил второй, заключительный том биографии Струве под названием «Струве: либерал на правом фланге», содержание которого касалось проблем, далеких от современного положения.

Ричард Аллен, член Комитета по существующей угрозе, имел тесные связи с командой Рейгана и рассчитывал получить там высокий пост. При Никсоне он служил в Совете по национальной безопасности (СНБ), в должности заместителя Генри Киссинджера, который сильно невзлюбил его и после десяти месяцев службы вынудил уйти в отставку, заменив Александром Хейгом. С тех пор вражда между ними не прекращалась. После президентских выборов 1980 года Аллен, назначенный советником Рейгана по национальной безопасности, стал собирать команду экспертов, не связанных с бытовавшими представлениями о разрядке и контроле над вооружениями как основе американской внешней политики. В эту группу он включил и меня.

Рейган и его советники были полны решимости снять напряженность в отношениях между Советом по национальной безопасности и Госдепартаментом, которая затрудняла работу администрации Картера. Для этого роль СНБ в формировании внешней политики была существенно понижена. Впредь Совет должен был служить исключительно в роли проводника идей, исходящих от Госдепартамента и других ветвей исполнительной власти к президенту. В отличие от своих предшественников, Аллен был подотчетен не президенту, а Эду Мису, члену влиятельной «тройки» в Белом доме, в которую также входили Джеймс Бейкер и Майкл Дивер. Более того, было решено, что Совет по национальной безопасности не будет председательствовать в межминистерских комитетах и лишится допуска к телеграммам Госдепартамента. Штат СНБ, который при Киссинджере и Бжезинском насчитывал 75 человек, был сокращен до 33-х. Новый статус Совета получил символическое выражение в том, что кабинет Аллена был переведен на цокольный этаж из западного крыла Белого дома, где раньше располагались Киссинджер и Бжезинский, а теперь разместился Мис. Эта

серьезная реорганизация впоследствии вызвала много критики. Ее считали причиной затруднений в работе и создания хаоса в механизме ведения внешней политики.

Аллен сохранял хорошую мину при существенно пониженной роли, публично уверяя, что он вполне удовлетворен ею. В интервью для прессы после своего назначения он сказал, что СНБ действительно будет несколько сокращен и что он как руководитель будет не формулировать внешнюю политику, а выполнять роль координатора между Госдепартаментом, министерством обороны и Белым домом[19]. На самом деле, мне кажется, он надеялся устранить институциональные препятствия на своем пути благодаря личным связям с Рейганом. Как — то раз он сказал мне, что ему безразлично, кого назначат госсекретарем, потому что он будет оказывать влияние благодаря «близости». Как оказалось, этот расчет не оправдался. Такая схема работала в случае с Киссинджером, но не сейчас, потому что Рейган выбрал себе госсекретарем не вялого чиновника, а задиристого генерала Александра Хейга, политика, прошедшего школу Киссинджера и освоившего правила политической игры в Вашингтоне. Подбирая персонал для проведения внешней политики Рейгана, Аллен серьезно недооценил интересы и возможности нового главы Госдепартамента.

Мои отношения с Алленом в течение тех десяти месяцев, пока он служил в должности советника Рейгана, можно охарактеризовать как смесь сердечности и разногласий. Последние были вызваны главным образом его неуверенностью в себе. Аллен был человеком умным и быстро мыслящим. У него было хорошее чувство юмора: иногда он развлекал нас на совещаниях, забавно изображая акцент Никсона и Киссинджера. В политических вопросах у нас с ним не было разногласий. Однако у него не было ни прочных связей с руководством республиканской партии, ни репутации в национальном масштабе. Вдобавок, двум влиятельным фигурам в Белом доме, а именно Нэнси Рейган и Майклу Диверу не нравились его консервативные взгляды, а они были полны решимости укротить антикоммунизм Рейгана и склонить его к умеренности. (Пегги Ну- нан, одна из авторов речей Рейгана, как — то раз заметила, что госпожа Рейган всегда испытывала «подозрение к людям, которые верили во что — то, так как воспринимала это по логике вещей как доказательство их нелояльности. Ей не нравились люди, которые, прежде всего, были лояльны к абстрактным идеям, а не к Ронни»[20].) Вскоре после вступления в должность Аллен попал под перекрестный огонь СМИ за то, что он был «дезорганизован и что ему не хватало детальной

профессиональной информации»[21]. В результате Аллен оказался в шатком положении и постоянно опасался, что его звезда закатится.

Несмотря на то что он хорошо ко мне относился, был доволен моей работой и, когда это было необходимо, вставал на мою защиту, я все же не мог отделаться от ощущения, что он считал меня своим потенциальным соперником и поэтому держал меня в тени. В течение периода работы под его руководством мне ни разу не позволили лично информировать президента. Меня пригласили присутствовать на совещании СНБ только один раз (16 октября 1981 года). Иногда, когда СНБ обсуждал вопросы, находящиеся непосредственно в моей компетенции, Аллен посылал на совещание других. Как я узнал позже из публикаций в прессе, Аллен никогда не указывал никого из нас в качестве авторов подаваемых президенту справок, приписывая таким образом себе наши заслуги[22]. Всему, что могло повысить мою репутацию, чинились препятствия, а любой признак положительного отношения ко мне со стороны вызывал раздражение.

Приведу конкретные примеры в подтверждение этих наблюдений ниже и ограничусь здесь только одним случаем, который особенно четко запечатлелся в памяти. Где — то в 1981 году Аллен рассказал сотрудникам СНБ о том, что администрации президента никак не удается придумать свежий термин для обозначения процесса переговоров по контролю за вооружениями взамен старого — ПОСВ (переговоры по *ограничению* стратегических вооружений). Дело было в том, что новый президент стремился не только ограничить рост ядерных вооружений, но и значительно сократить существующие арсеналы. На совещании рассматривались различные варианты, но ни один не был достаточно хорош, пока я не предложил START (Strategic Arms Reduction Talks) — переговоры по *сокращению* стратегических вооружений (ПССВ). Аллен сразу же ухватился за это предложение и добавил: «Если кто — нибудь из присутствующих расскажет, что это придумал Пайпс, то не сносить ему головы». Конечно, он произнес это полушутя, но тот факт, что я не получил похвалы за этот, вероятно, мой единственный вклад в политический словарь английского языка, подтверждает, что он подразумевал именно то, что сказал, и намеренно скрыл мое авторство.

Парадокс заключался в том, что его стремление держать меня в тени имело результат, противоположный тому, которого он, вероятно, добивался, так как многие журналисты и знатоки вашингтонской политической кухни пришли к выводу, что я был

чем — то вроде серого кардинала, делавшего свое дело за кулисами, и приписывали мне намного большее влияние на администрацию, чем то, которое я на самом деле оказывал.

В мае 1980 года Аллен пригласил меня войти в одну из групп советников Рейгана — для подготовки политических документов и иногда для участия в написании предвыборных речей кандидата. 16 мая мы встретились с Рейганом и коротко изложили наши рекомендации. Выслушав нас, Рейган рассказал нам одну историю, не знаю, правдивую или нет, о том, как капитан военно — морского флота США, некий Ингрэм, спас в середине XIX века венгерского патриота Лайоша Кошута. Кошут был захвачен в плен на своем корабле австрийцами, кажется в Триесте, и Ингрэм предупредил его пленителей, что подвергнет город обстрелу, если Кошут не будет освобожден. И Рейган полагал, что в ВМС США обязательно должен быть корабль, названный в честь капитана Ингрэма. Он говорил об этом с твердым убеждением.

Вскоре после победы Рейгана на выборах Аллен назначил меня в переходную администрацию, в Госдепартамент, где мне было поручено заниматься европейскими делами, включая Советский Союз. Это был самый большой и важный региональный отдел Госдепартамента со штатом работников более чем 3000 человек. За работу мне платили один доллар. В этой должности я опрашивал различных чиновников об их обязанностях и проблемах, начиная с помощника госсекретаря по делам Европы и ниже. Ричард Перл, также служивший в переходной администрации, посоветовал мне не относиться слишком серьезно к моим обязанностям, потому что все равно никакого толка от нашей работы не будет, и оказался прав. Сошлюсь на одну конкретную рекомендацию, которую, как мне казалось, я должен был подготовить по поводу разделения Европейского отдела, так как мне представлялось нереалистичным требовать от одного человека в должности помощника госсекретаря, чтобы он занимался изо дня в день делами наших европейских союзников и одновременно отношениями с нашим противником — Советским Союзом и его сателлитами. Мои опросы показали, что помощник госсекретаря по европейским делам тратил девять десятых своего времени на отношения с союзниками. Поэтому я предложил создать отдел стран коммунистического блока, по крайней мере на время, пока этот блок существует. И, кроме того, рекомендовал назначить специального координатора по советским делам. Информация об этом тотчас же просочилась в прессу, как я подозреваю — с подачи персонала Европейского отдела, который был обеспокоен перспективой уменьшения полномочий.

Анонимный представитель Госдепартамента заявил прессе, что он и его коллеги были против моего предложения, потому что они не желали «институционализировать “холодную войну”». «Вашингтон пост» опубликовала мерзкую статью, высмеивающую мое предложение, приписывая его моему стремлению стать «царем» советской политики Рейгана.

Нового госсекретаря Хейга я уже встречал раньше, в мае 1979 года, в городе Касто в Бельгии, где по его приглашению выступил с речью в Штабе верховного главного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. В то время он произвел на меня впечатление человека сердечного и уравновешенного. Один человек, который тогда его хорошо знал, сказал, что он обладал «ледяным самообладанием». Но потом он перенес операцию на открытом сердце, что, насколько я понимаю, может глубоко изменить личность. Во всяком случае, когда утром 22 декабря 1980 года в первый день пребывания Хейга в должности нас собрал глава переходной администрации Роберт Г. Ньюман для отчета о нашей работе, Хейг показался мне совершенно другим человеком. Его глаза излучали вызов, а по губам блуждала сардоническая улыбка. Все его насмешливое выражение лица как будто говорило: «Я знаю, что у вас на уме. Даже и не пытайтесь, со мной эти штучки не пройдут». Такое выражение лица сохранялось у него вплоть до его отставки полтора года спустя.

Политолог и беженец из Вены Ньюман попросил каждого члена переходной администрации сделать сообщение не более чем на 60 секунд (!) о том, что каждый узнал нового. Так получилось, что за три дня до этого я представил отчет на 17 страницах без интервалов между строчками, подготовленный совместно с Анжело Коде- вилой, где содержались наши рекомендации. После наших кратких сообщений Хейг поблагодарил нас, а Ньюман закрыл совещание, которое продолжалось сорок минут. Когда мы направлялись к выходу, кто — то сказал: «Ну вот, нас только что уволили». Я едва мог поверить своим ушам, так как по традиции переходная администрация продолжала работать вплоть до дня инаугурации. Но оказалось, что так оно и вышло. Шесть недель, в течение которых я обследовал работу Госдепартамента, оказались напрасно потраченным временем. Согласно сообщению в «Вашингтон пост», все в Госдепартаменте были в «полнейшем восторге» от действий Хейга[23].

В этом деле Хейг демонстрировал, как и неоднократно впоследствии, что его главной заботой была не сущность региональной внешней политики, а его личный контроль над ней.

Памятуя о том, как Киссинджер низвел госсекретаря до роли марионетки, он, как зверь, на которого идет охота, бился за каждую йоту того, что считал своими полномочиями, то есть всю совокупность внешней политики США. Позже стало известно, что в день инаугурации Рейгана он вручил новому президенту документ, в котором требовал, чтобы руководство внешней политикой было полностью передано ему Это требование не только нарушало конституцию, но также полностью противоречило взглядам Рейгана и стало причиной неприятностей для Хейга в дальнейшем. Рейган сразу же отверг это требование, но даже после этого Хейг не переставал считать себя центральной фигурой в сфере международных отношений. Любое притязание Совета по национальной безопасности на роль во внешней политике Хейг рассматривал как посягательство на свои полномочия, что влекло за собой бесконечные мелочные споры[32]. Его одержимость в вопросе о «вотчине» приобрела маниакальные пропорции, граничащие с паранойей.

Я полагаю, что Аллен серьезно преувеличивал свое политическое влияние, проча меня в помощники госсекретаря по европейским делам. Эта идея провалилась после назначения Хейга. Поэтому Аллен пригласил меня на пост главы восточноевропейского и советского отдела при Совете по национальной безопасности. Эта должность по табели о рангах (ранг 18) соответствует должности помощника госсекретаря или званию трехзвездного генерала с окладом в 57 500 долларов в год. (Позднее я узнал, что его собственный оклад был лишь на 3 162 доллара больше.) Вначале он предложил мне работать на полставки, приезжая на полнедели из Кембриджа, но я отклонил это предложение как невыполнимое, и он согласился на полную ставку. Я принял назначение, проинформировав его, что смогу работать два года, то есть максимальное количество времени, которое по правилам Гарварда профессор может взять как неоплачиваемый отпуск. В начале февраля 1981 года мы переехали в Вашингтон.

Не могу сказать, что мое назначение попало в заголовки газет, по крайней мере в Соединенных Штатах. Когда мой предшественник Маршалл Шульман четырьмя годами ранее занял эквивалентный пост (в Госдепартаменте, а не в СНБ), «Нью — Йорк тайме» писала об этом событии на первой странице, сопроводив сообщение фотографией и изложением его взглядов на отношения с Советским Союзом. Такое же место было отведено моему преемнику Джеку Мэтлоку. Но «газета важных новостей», очевидно, предпочла не пугать своих читателей новостью о том, что руководитель команды «Б» стал советником нового

президента. Газета совершенно проигнорировала мое назначение. Лишь два года спустя, накануне моего отъезда из Вашингтона, «Нью — Йорк тайме» поместила на одной из последних страниц короткое сообщение вместе с карикатурой, изображавшей человека, менявшего цилиндр на академическую шапочку профессора.

Однако Москва заметила мое назначение и выказала большой интерес к моей персоне. Арбатов сказал одному европейскому дипломату, что мое назначение было «трагедией», так как я был намного «хуже, чем Бжезин- ский». Людей, стоявших во главе администрации Рейгана, он охарактеризовал как «троглодитов и неандертальцев». Впоследствии советская пресса регулярно выбирала меня для своей критики, обычно в саркастическом тоне, изображая меня фанатиком и невеждой не только в политике, но и в исторической науке. Так, в феврале 1981 года, еще до того как я что — либо мог сделать в моей новой должности, «Правда» опубликовала статью под названием «Осторожно: Пайпс!», которая охарактеризовала меня как «жалкого антисоветчика», преисполненного «патологической ненависти к СССР и глубокого невежества»[24]. Позднее, уже после распада Советского Союза, мои русские знакомые сообщили мне, что в антиамериканской пропаганде того периода я занимал особое место как фигура сатанинская и мое имя стало широко известно. Я не испытывал ничего, кроме гордости, оттого что вызывал столько враждебности и, возможно, обеспокоенности у таких людей.

Совет по национальной безопасности, основанный президентом Трумэном в 1947 году, состоит из высших чиновников и включает, помимо президента и вице — президента, председателя Совета, советника президента по национальной безопасности, госсекретаря и министра обороны, директора ЦРУ, председателя Объединенного комитета начальников штабов и тех, кого сочтут необходимыми при рассмотрении конкретных вопросов. Заседания проводятся не регулярно, а по мере необходимости рассмотрения текущих вопросов внешней политики. (При Рейгане заседания Совета проходили раз в неделю.) Президент выслушивает мнения, предложенные на Совете, но не обязан им следовать. Другими словами, СНБ — это орган совещательный. При Совете работает небольшой штат постоянных сотрудников, где — то от 25 до 75 человек. При Рейгане этот штат разделялся на шесть региональных и пять функциональных отделов во главе с директорами, у которых было от одного до нескольких помощников[25]. В моем отделе, отвечавшем за Восточную Европу и Советский Союз, кроме меня и секретарши, работала одна

сотрудница на полной ставке, Паула Добриан- ски, которая двадцать лет спустя стала заместителем госсекретаря. Кроме нее, на полставки работал морской офицер Дэнис Блэр, который в конце 1990-х годов стал командующим Тихоокеанским флотом США.

Теоретически все рекомендации и просьбы от министерства обороны или Госдепартамента должны направляться в соответствующий отдел СНБ, который должен суммировать их для президента и передать с определенными рекомендациями или без них советнику по национальной безопасности. Но в действительности ничто не мешает любому министру обсуждать свои рекомендации или просьбы лично с президентом или по телефону и таким образом обходить работников Совета по национальной безопасности. Например, именно это и произошло в ранний период правления Рейгана, в апреле 1981 года, когда министр сельского хозяйства Джон Блок получил от президента разрешение снять эмбарго на торговлю зерном с Советским Союзом, которую ввел президент Картер после советского вторжения в Афганистан. Ни Ричард Барт, новый помощник госсекретаря по европейским делам, ни я не были поставлены в известность об этом.

В то время как советник по национальной безопасности руководит работой из Белого дома, его штат располагается поблизости в сером здании, которое называется «Старое здание исполнительной власти». Оно было построено в конце XIX века для размещения Госдепа, министерства обороны и военно — морского флота, но теперь там находится мозговой центр исполнительной власти. Это элегантное здание с высокими потолками, украшенное великолепным орнаментом. Размер кабинета и его расположение в здании имеют существенное значение. Самым престижным считается большой кабинет с видом на Белый дом и желательно с балконом, менее престижны кабинеты с видом на Пенсильвания — авеню и, наконец, список замыкают кабинеты с видом на внутренний двор. Как- то раз один из обитателей такого офиса сказал мне: «Этот офис некому предложить». Я получил кабинет в самой престижной части здания, хотя и без балкона. Окна были покрыты таким толстым слоем грязи (результат экономии средств при Картере), что мне едва было видно резиденцию президента, пока их не отмыли несколько месяцев спустя.

Никто ничего мне не рассказал ни о моих правах, ни об обязанностях и вопросах, за которые я должен был отвечать, так что я не имел ни малейшего представления о том, что мы должны были делать. Я задал Аллену этот вопрос на первом же

совещании сотрудников десять дней спустя, после того как занял свой кабинет. Мой вполне невинный вопрос сразу же просочился в прессу. Четкого ответа на поставленный вопрос я не получил. На следующий месяц я получил перечень должностных обязанностей с широкими полномочиями, которыми по разным причинам невозможно было воспользоваться. Получалось так, что то, что я делал на своем посту, зависело главным образом от меня.

Это мое предположение подтвердил Киссинджер на приеме, который дал уезжавший корреспондент «Нойе Цюрихер Цайтунг» в конце марта 1981 года. Киссинджер, с которым я был знаком еще по Гарварду, относился ко мне пренебрежительно уже многие годы, вероятно потому, что считал меня отчасти — или даже главным — виновником принятия поправки Джексона — Вэника. Согласно этой поправке страны, стремящиеся получить статус наибольшего благоприятствования в торговле, а также иные коммерческие преимущества, должны были открыть свои границы для беспрепятственной эмиграции. Направленная против СССР и его политики отказа евреям в праве на выезд, эта поправка разрушила значительное взаимопонимание, которое достиг Киссинджер с Москвой, и, с его точки зрения, нанесла роковой удар по всей политике разрядки. На самом деле я не имел никакого отношения к этой поправке. Насколько я помню, Ричард Перл позвонил мне, чтобы выяснить мое мнение относительно этого законопроекта, автором которого был его начальник сенатор Джексон. Я выразил серьезные сомнения по поводу увязывания вопросов торговли с вопросами эмиграции, но когда закон был принят, я его защищал. Как бы там ни было, но в глазах Киссинджера я был скомпрометирован своей связью с его bête noire[33] Джексоном еще и потому, что в своих публикациях я критиковал его внешнюю политику как неправильную и оппортунистическую.

Но его чувство неприязни по отношению к Аллену даже превосходило его раздражение на меня за прошлые обиды. Как только он заметил меня среди присутствующих, он подошел ко мне с дружелюбной улыбкой. В течение десяти минут в окружении других гостей он читал мне лекцию о том, как сместить Аллена и занять его место (не упоминая, конечно, его имени). Неважно, какая должность у вас сейчас, уверял он меня, если вы будете вести игру правильно, вы сможете достичь вершины; важно не то, какую должность занимает человек, а то, какую пользу он из нее извлекает. Я внимательно слушал его не потому, что у меня было хоть малейшее желание последовать его совету, а потому, что меня поражало его бесстыдство[34].

В течение последующих двух лет я встречался с Киссинджером время от времени в Вашингтоне и за границей. Как — то раз я завтракал в «Метрополитен — клубе» с газетным обозревателем Роуландом Эвансом. Киссинджер подошел ко мне и с характерной улыбкой произнес: «Пайпс, я могу вас уничтожить». — «Как?» — «Просто сказав, что я с вами согласен». Это был прекрасный образец его самоуничижительного юмора. Несколько лет спустя я видел его в Богемской роще[35] в Калифорнии пробирающимся сквозь толпу выдающихся и не очень людей. Его застенчивая улыбка, казалось, говорила: «Да, это я, Генри Киссинджер, среди вас. Ваши глаза вас не обманывают, даже притом что я сам удивлен моим собственным существованием».

Но когда он оставил надежду на возвращение на государственную службу, на него снизошла некая печаль, потому что несмотря на миллионы, которые он зарабатывал как глава консалтинговой кампании, он жаждал быть в центре внимания. Наблюдая за ним и другими, такими как он, я пришел к выводу, что власть и сопутствующая ей известность настолько же входят в привычку, как и наркотик. Я вспомнил, как Хрущев говорил, что может наскучить все — женщины, роскошь, еда, но никогда не наскучит власть. Однако ниже я покажу, что это правило относится только к определенному типу личности.

Все же я не могу отрицать, что в начальный период работы в СНБ испытывал наслаждение от власти, которая была мне предоставлена этой должностью. Как — то раз мне позвонил полный отчаяния директор радиостанций «Свободная Европа» и «Радио Свобода», чья штаб — квартира располагалась в Мюнхене. Он сообщил, что из — за быстрого роста курса германской марки по отношению к доллару этим радиостанциям придется переехать в какой- нибудь менее дорогой город. Не могу ли я как — то помочь? Я связался с одним знакомым в отделе управления и бюджета и спросил его, нельзя ли выделить дополнительные средства этим двум важным станциям. Прошло несколько дней, и мой знакомый сообщил, что для них выделено дополнительно несколько миллионов. Радиостанции остались в Мюнхене.

Приблизительно в то же самое время я узнал, что Георгий Арбатов запросил визу для участия в конгрессе в Виржинии некой фальшивой организации, которая называла себя «Врачи за предотвращение ядерной войны». Несмотря на то что Арбатова при всем воображении никак нельзя назвать врачом, он получил кратковременную визу для участия в этом конгрессе. Очевидно, он привык при предыдущей администрации к тому, что можно запросто игнорировать такие ограничения, как срок действия

визы, и принялся готовить выступления по телевидению и другие выступления, которые планировались на много недель после истечения срока визы. Я считал, что ему необходимо было усвоить, что Соединенные Штаты это не советский сателлит, и попросил Госдепартамент позаботиться о том, чтобы его виза не была продлена. Таким образом, в день истечения срока ее действия его вежливо попросили покинуть страну. Мне сообщили, что он был в бешенстве от такого непривычного обращения.

Мои ежедневные обязанности в СНБ не были утомительными, кроме ситуаций, когда возникал какой — нибудь кризис. Обычно я приходил в офис368 в «Старом здании исполнительной власти» около девяти утра и прочитывал ежедневную сводку ЦРУ. Затем разбирал «пакеты», положенные на мой стол для принятия решений. Три раза в день моя секретарша приносила кучу необработанной разведывательной информации в виде перехваченных сообщений, собранных Агентством по национальной безопасности. «Еще мусор», — вздыхала она, произнося это слово на французский манер. Я внимательно просматривал материалы, потому что среди них иногда находилась информация, которую аналитики ЦРУ зачастую оставляли без внимания. Один чиновник с большим опытом работы в разведке сказал мне, что я был единственным, с кем он был знаком лично, кто регулярно читал эти перехваты.

Особенно сильное впечатление на меня произвело прочитанное в июне 1982 года донесение безымянного советского агента, очевидно, связанного с КГБ. Написанное после назначения Андропова на пост главы советского правительства донесение рисовало довольно мрачную и трезвую картину положения в стране, резко контрастировавшую с представлениями, господствовавшими в научных и разведывательных кругах США. Анонимный автор считал, что Советский Союз страдал от болезни, которую невозможно вылечить сменой руководства: исцеление требовало разрушения всей системы. Он подчеркивал растущую коррупцию и преступность, усугублявшиеся сговором между преступниками и милицией. Несмотря на то что официально велась борьба с алкоголизмом, в действительности оно потворствовало ему, чтобы держать население в покорности. Рабочие часто бастовали, а крестьяне покидали колхозы, потому что жизнь в сельской местности была невыносимой. Донесение подчеркивало значение творческой интеллигенции, особенно писателей, которые, согласно автору, желали меньше классовых антагонизмов и больше национальной гордости. В нем говорилось о нарастающем недовольстве КГБ состоянием советского общества, особенно привилегиями и

злоупотреблением властью, а также о неспособности КГБ справиться с ними. В заключение автор выражал сомнение в том, что режим выдержит реформу системы, потому что такая реформа должна была бы подорвать положение партии. Все эти соображения оказались удивительно точными и пророческими.

Основываясь на анализе открытых и засекреченных источников, я писал меморандумы президенту, предложения к его пресс — конференциям, а также большинство его писем Брежневу. Время от времени я участвовал в написании его речей. В своем кабинете или за ланчем я встречался с журналистами и иностранными дипломатами. И я воевал с Госдепартаментом.

Госдепартамент и союзники

Первые полтора года правления новой администрации полностью прошли в атмосфере неослабевающего напряжения в отношениях между Советом по национальной безопасности и Госдепартаментом. Здесь приходит на ум ремарка, которую приписывают генералу Кертису Ле- мэю, начальнику штаба военно — воздушных сил. Младший по рангу офицер делал доклад, но Лемэй перебил его и сказал: «Молодой человек, прекратите называть СССР нашим врагом. Он наш противник. Наш враг — это наш военно — морской флот». Так же дела обстояли и у нас: врагом был Госдепартамент.

Работники Госдепартамента полагают себя сообществом профессионалов в области внешней политики и склонны считать всех политиков любителями, которых необходимо уговаривать или держать в узде (чаще последнее) в зависимости от ситуации. Особенно это относится к такому президенту и его советникам, которые считаются «идеологами», то есть стремятся направлять внешнюю политику к достижению конкретных целей, вместо того чтобы принимать мир таким, какой он есть. Каждый раз когда по долгу службы я направлялся в «Темное дно» (Госдепартамент), у меня было чувство, что я пришел в гигантскую адвокатскую контору, которой претила любая конфронтация с иностранным правительством и где твердо верили, что все международные разногласия можно разрешить путем умелых и терпеливых переговоров, а применение силы означает провал политики. Они не верят, что существуют непримиримые различия и не придают значения идеологии. Как хорошие чиновники, они выполняют распоряжения президента, но так же вполне способны различными средствами из арсенала бюрократов свести президентские директивы на нет. Так, например, они наотрез отказались показать Совету по национальной безопасности стенограммы переговоров Хейга с министром иностранных дел Андреем Громыко и послом Анатолием Добрыниным, что затруднило для меня правильную оценку советской позиции.

Несмотря на стремление создать впечатление, будто они непредвзятые профессионалы, чиновники Госдепартамента не забывали о своих частных интересах. 23 сентября 1980 года, когда опросы общественного мнения указывали на то, что Рейган, вероятно, будет победителем на предстоящих выборах, меня пригласили выступить с докладом о Советском Союзе перед сотрудниками Госдепартамента на «Открытом форуме» госсекретаря. Большой зал, где я прочел лекцию, был переполнен,

аудитория внимала каждому моему слову. Когда я закончил, первый вопрос звучал так: «Если вы займете пост госсекретаря, кого вы назначите послами — профессиональных дипломатов или политиков?» Впервые я слышал, что кто — то прочил меня в госсекретари: очевидно, мое имя появилось в каком — то списке кандидатов. Видимо, это был очень длинный список, так как у меня не было связей с руководством республиканской партии. (Здесь стоит заметить, что согласно некоторым газетам я также числился в коротком списке кандидатов на пост директора ЦРУ[36].) Я отклонил этот вопрос, но тот факт, что посольские назначения интересовали их прежде всех других вопросов, очень показателен.

Была у нас и другая проблема с сотрудниками Госдепартамента, помимо их претензии на «профессионализм». Как упоминалось выше, главное, чем они занимались, — это связь с европейскими союзниками, и в этом качестве они присвоили себе право говорить от имени НАТО. Проблема заключалась в том, что, созданный после Второй мировой войны, НАТО был довольно односторонним союзом. Хотя теоретически Северо — Атлантический пакт означал взаимную помощь между членами альянса в случае агрессии третьей стороны, в действительности Соединенные Штаты приняли на себя обязательство защищать Европу, а не наоборот. Европейцы (за исключением, возможно, Британии) исходили из того, что ответственность за противодействие коммунистической агрессии в целом лежит исключительно на плечах Америки. Если мы полагали, что установленный порядок был под угрозой где — нибудь за географическими пределами Европы и начинали действовать, то европейцы или ничего не предпринимали, или оказывали нам чисто символическую поддержку, а в некоторых случаях открыто оппонировали нам. Европейские союзники просто отказывались признать тот факт, что «холодная война» была конфликтом глобальным, в котором мы действовали как их главный защитник. Еще хуже было то, что они принимали порядок, установившийся после Второй мировой войны, как постоянный и поэтому воспринимали с тревогой любые попытки американской стороны изменить его.

Сердцевиной проблемы была Германия, которая стремилась к объединению со своей восточной половиной, оккупированной советскими войсками и управляемой марионеточным коммунистическим правительством. Для достижения этой цели Бонн был готов идти на многие уступки Советскому Союзу. Бонн сотрудничал с Москвой, признав за Советским Союзом «сферу влияния», распространявшуюся на всю Восточную Европу, кроме

Восточной Германии. Таким образом, каждый раз, когда мы пытались помочь восточноевропейцам оказать сопротивление оккупационным режимам, немцы открыто дистанцировались от нас. В случае с Польшей, о котором ниже, Германия заявила недвусмысленно, что у нее не было возражений против введения военного положения в декабре 1981 года, и отвергала наше право вмешиваться во «внутренние дела» стран, контролируемых Москвой.

Проблема имела глубокие корни. Ведущие общественные деятели Германии отказались от права применять моральные стандарты к странам, которые обладали большой силой принуждения. Так С. Ф. фон Вайцзекер, известный германский ученый и брат президента страны, писал, явно имея в виду Рейгана: «Политика, которая разделяет весь мир на добрый и злой и которая воспринимает как средоточение зла величайшую державу, с которой нам суждено сосуществовать, — это не политика мира, даже если ее моральные оценки правомерны»[26].

Такой склад мышления лишь соответствовал тому, что говорили французские и британские миротворцы о гитлеровской Германии до 1939 года. Он отражал широко распространенный в Германии дух моральной капитуляции, оправдывавший политику попустительства, которая, по крайней мере теоретически, не имела границ. Он в свое время превратил немцев в нацию нацистов, а французов — в нацию нацистских коллаборационистов. В любом случае излишне призывать людей покориться превосходящей силе — это происходит естественно. Но необходимо понимание того, что моральное сопротивление превосходящей силе есть мощное оружие само по себе. Проблема заключается в том, что рано или поздно умиротворение достигает тех пределов, которые вынуждают миротворца действовать, но уже в менее благоприятных условиях. Именно это и произошло с Англией и Францией в период между двумя мировыми войнами. Вместо того чтобы остановить Германию, как только она начала нагло нарушать Версальский договор, они ничего не предприняли, а затем лишь в 1939 году дали Польше гарантии безопасности, которые могли исполнить, только вступив в войну.

Французы тоже частенько поступали назло нам. Причиной было их недовольство тем, что Соединенные Штаты, которые они считали полуцивилизованной выскочкой, стали после Второй мировой войны ведущей западной державой. Французы не возражали против того, чтобы их защищали, но их раздражала гегемония США, и при любой возможности они противились нашей политике и вставали в оппозицию к нам.

Все это было предвестником тех проблем, с которыми мы

столкнемся в 1990-х и начале 2000-х после исчезновения коммунистической угрозы, когда европейские правительства стали открыто оказывать сопротивление нашим усилиям совладать с новой глобальной угрозой — исламским терроризмом.

Государственный департамент, стремясь поддерживать хорошие отношения с союзниками — своей главной клиентурой, открыто не вставал на их позицию, этого, конечно, он не мог делать, но никогда не упускал возможности напомнить Белому дому, что любое враждебное действие против Москвы могло пагубно отразиться на альянсе. Подобного рода сочувствие к положению союзников легко превращалось в апологетику.

Враждебность союзников по отношению к нашей внешней политике стала мне очевидна в мае 1981 года, когда я принял участие в Билдербергской встрече в отеле «Бюргеншток», расположенном над Люцернским озером. Билдербергские встречи — это очень престижные ежегодные собрания в различных местах, на которые приглашаются приблизительно сто человек, примерно четверть из которых американцы — политические, экономические и интеллектуальные лидеры, для того чтобы обсудить положение дел в мире вдали от внимания СМИ[37]. Аллен неохотно дал мне разрешение поехать на встречу, заметив с раздражением, что его никогда не приглашали. Джин Киркпатрик, в то время посол США в ООН, была главным представителем американской администрации. В своем выступлении она в сдержанном академическом духе подвергла критике популярное в то время в Европе разделение мира на «Север — Юг» и на «первый мир — третий мир». Едва закончив, она тут же подверглась злобной атаке со стороны других участников. Один немец заявил, что ее выступление вызвало у него «озноб». Джин чувствовала себя раздавленной такой яростной реакцией и попросила меня присоединиться к ней на прогулке, чтобы разобраться, что могло спровоцировать ее. Она была уверена, что ее выбрали мишенью для критики потому, что она женщина. Я не соглашался с ней. Она стала мишенью, потому что представилась удобная возможность критиковать ее как представителя администрации Рейгана, которую истеблишмент союзных держав боялся и презирал. Но мне не удалось ее в этом убедить. Подозреваю, что именно чувствительность к личной критике в конце концов заставила ее уйти из политики.

У Москвы была своя стратегия реагирования на напористость Рейгана, а именно — создавать впечатление, что если ее не сдерживать, дело может закончиться войной. Вскоре после Билдербергской конференции, 30 июня 1981 года я принял

участие в заседании фонда Карнеги в Вашингтоне, чтобы послушать выступление представителя советского посольства Александра Бессмертных. В своей речи он мимоходом заметил, что Соединенные Штаты «действуют как нацистская Германия» и «готовят войну против Советского Союза». Это невероятно провокационное заявление высокопоставленного советского дипломата осталось без ответа со стороны присутствующих. Когда во время прений я поднялся с места и спросил, правильно ли я его понял, что Соединенные Штаты планируют напасть на его страну, Бессмертных не стал настаивать и ответил, что «со стороны выглядит именно так». Это было началом организованной Москвой кампании, призванной заставить Рейгана сбавить тон в своей риторике, чтобы избежать мировой войны. Эта кампания увенчалась успехом в начале 1984 года, когда, обеспокоенный разведданными о развертывании советских вооружений, Рейган протянул оливковую ветвь Москве. В речи 16 января 1984 года он сказал, что «наши взаимоотношения с Советским Союзом не такие, какими они должны быть» и что «мы должны и мы будем вступать с Советами в диалог», чтобы найти «сферы, в которых мы могли бы конструктивно сотрудничать»[27].

Особой проблемой в наших отношениях с союзниками в начальный период правления Рейгана был импорт энергоносителей. ЦРУ доложило Рейгану, что советская экономика пробуксовывала: по его оценкам, рост ВВП в середине 1980-х годов должен был снизиться до одного- двух процентов. Такого замедленного роста было явно недостаточно, чтобы удовлетворить запросы военных, для инвестирования в экономику и повышения уровня жизни. С точки зрения ЦРУ Запад мог бы усугубить эти трудности, ограничив кредиты СССР, усилив контроль за экспортом продукции и наложив эмбарго на определенные товары с тем, чтобы заставить Советский Союз пойти по пути реформ[28].

Этот совет, довольно необычный для ЦРУ, убедил Рейгана и лег в основу его энергичных, но в итоге безуспешных усилий ограничить западные субсидии в энергетический сектор России. Рейган стремился снизить поступления в казну СССР в твердой валюте, для того чтобы Советы переориентировали свои инвестиционные приоритеты с военного строительства на осуществление внутренних реформ (подробнее об этом ниже).

В противоположность этому подходу Германия, начиная с правления Вилли Брандта и его восточной политики, стремилась к максимальному увеличению советского экспорта энергоносителей, отчасти для создания предполагаемых новых связей, основанных на общих экономических интересах, а отчасти

для обеспечения Москвы средствами в твердой валюте для закупки германских товаров. Эти два подхода оказались несовместимы.

Советский Союз был крупным поставщиком нефти и газа в Западную Европу. Согласно оценкам ЦРУ 80 процентов поступлений в твердой валюте СССР получал от экспорта энергоносителей. Были также и другие прогнозы, согласно которым после окончания строительства 3500-километрового газопровода от полуострова Ямал в Сибири в Западную Германию, а оттуда в десять западноевропейских стран и после ввода его в эксплуатацию и оплаты расходов на строительство к 1990 году доля российского газа в потреблении Европы достигнет 23 процентов, что будет приносить Советскому Союзу десять миллиардов долларов ежегодно[38]. Такая выручка позволяла бы Советскому Союзу не только платить за импорт техники и технологий военного назначения, субсидировать страны — сателлиты, но и в случае крупного международного кризиса требовать от Европы выкуп, угрожая прекратить поставки газа. (Пять предполагаемых стран — получателей советского газа были членами НАТО.) Невзирая на наши возражения, европейцы в сентябре 1981 года пришли к соглашению с Москвой о продолжении строительства Ямальского газопровода и о предоставлении дешевых кредитов для закупки оборудования для строительства. Короткое время спустя эта проблема выйдет на передний план, когда Вашингтон решит наказать Москву за принуждение польского руководства к введению военного положения и примет санкции в отношении экспорта нефтегазового оборудования. Это вызовет серьезный кризис в наших отношениях с Европой.

Общение с людьми в Вашингтоне может быть очень интересным, особенно для тех, кто занимает какой- нибудь важный пост. Если в университете люди не любят обсуждать свою работу, опасаясь, что взамен им тоже придется кого — то выслушивать, то в Вашингтоне любому интересно узнать о работе всякого, потому что она может оказаться прямо связанной с его собственной. Вас постоянно окружают вниманием иностранные дипломаты и журналисты, стремящиеся узнать что — нибудь «из первых уст». Вы участвуете в международных конференциях на самом высоком уровне. Вам присылают приглашения на приемы и обеды в посольствах. Если вы путешествуете за границей, то становитесь объектом внимания и любопытства. Моя жена испытывала больше удовольствия от этих преимуществ, чем я, потому что в Гарварде не могла принимать участие ни в моей работе, ни в большинстве общественных событий в университете.

Два года, проведенные в Вашингтоне, были первым и, возможно, последним периодом в моей жизни, когда меня удостаивали внимания и уважения не за то, что я делал, говорил или писал, а за то, кем я был, вернее, как меня воспринимали окружающие. Это было странное и непривычное чувство, потому что до этого отношение ко мне всегда было неразрывно связано с моей работой, а не с моим социальным статусом.

Я взял для себя за твердое правило не общаться с дипломатами из коммунистических стран, опасаясь, что вопреки моим стараниям быть осторожным они сумеют выудить из меня больше информации, чем я из них. В мае 1981 года на приеме в посольстве Чехословакии советский посол Анатолий Добрынин представил меня первому секретарю посольства Бессмертных и предложил, чтобы я время от времени встречался с ним и «разъяснял» ему американскую политику, но я не последовал его совету.

Не прошло и месяца моего пребывания в Вашингтоне, как произошло событие, которое грозило быстро положить конец этой интересной и приятной жизни. До сих пор не могу решить, было ли оно случайностью или преднамеренной провокацией. По просьбе Дика Аллена 17 марта 1981 года я дал интервью корреспонденту агентства «Рейтер» Джеффри Антевилу. Невзрачного вида молодой человек Антевил провел в моем кабинете полчаса, задавая мне всевозможные вопросы по широкому кругу проблем, имевших отношение к внешней политике. Я говорил свободно, отчасти потому что привык так говорить, а отчасти потому, что считал наше интервью неофициальным. Я не был искушен в оттенках значения понятий «официальное» или «неофициальное» заявление, никогда не слышал о таких вещах, как брифинг о «подоплеке» или о «глубокой подоплеке» дела и о том, что каждому из них соответствуют свои тщательно разработанные условности. Во время интервью, сказав пару раз то, что могло бы потенциально поставить меня в щекотливое положение, я спросил его: «Надеюсь, вы не будете ссылаться на меня?». Он кивал, показывая этим свое согласие. По местной традиции, поставив вопрос таким образом, я автоматически перевел интервью из разряда «неофициального» в статус «глубокой подоплеки». Антевил, конечно же, понимал, что я был несведущ в этих тонкостях, но не удосужился предупредить меня о смене правил игры, потому что получил в руки сенсационную информацию.

На следующий день бомба разорвалась. «Рейтер» опубликовал текст интервью с «высокопоставленным чиновником Белого дома», который помимо прочего утверждал, что «разрядке

пришел конец» и что немецкому министру иностранных дел Гансу Дитриху Геншеру не хватало мужества противостоять Москве. Более того, неназванный чиновник говорил, что Россия в таком глубоком кризисе, что у нее нет другой альтернативы, кроме как начать далеко идущие внутренние реформы или проводить агрессивную внешнюю политику, которая может привести к войне. Еще до конца рабочего дня стало известно, что я был автором этих слов. Все три крупнейшие телевизионные компании передали репортаж об этом интервью как о главном событии в вечерних новостях, а на следующий день газеты были заполнены дискуссией о нем. Аппарат коммунистической пропаганды торжествовал, перевернув одно из моих заявлений с ног на голову.

Я сказал Антевилу, что у Советского Союза был выбор между реформой и войной, но теперь получалось, будто я сказал, что, если Советский Союз не пойдет по пути реформ, Соединенные Штаты начнут войну против него. Газета британских коммунистов «Морнинг стар» вышла с тревожной статьей под крупным заголовком «Угроза Рейгана войной приводит Запад в ужас». Даже обозреватель «Нью — Йорк тайме» Энтони Льюис держался этой линии и когда я выразил протест редакции, требуя опубликовать поправку, мне было трудно убедить людей, что есть большая разница между двумя утверждениями[29]. Такая же путаница сопровождала другое мое утверждение — «разрядке пришел конец», которое означало понимание ситуации, а не руководство к действию. Тем не менее даже лондонская «Обсервер» заявила по этому поводу: «Только стервятники желают конца разрядки»[30]. Хейг выразил «возмущение» и лично принес извинения Геншеру за мое пренебрежительное замечание о нем[39]. Из этой истерии выходило, будто я, профессор университета, временно работающий в Белом доме, обладал властью ввергнуть мир в ядерный холокост.

Сторонники мягкого курса радовались, так как была большая вероятность, что меня уволят. Но Рейгана убедили, скорее всего Аллен, что я не сказал ничего выходящего за рамки, по крайней мере в отношении Советского Союза. 18 марта Белый дом сделал заявление, что «высокопоставленный американский чиновник» не был уполномочен говорить от имени президентской администрации. Тем не менее два дня спустя «Балтимор сан» опубликовала заявление анонимного чиновника, который утверждал, что «заявления высокопоставленного американского чиновника, которые, похоже, похоронили разрядку и перспективу новых переговоров с Москвой о сокращении вооружений, поставили администрацию Рейгана в затруднительное

положение, однако они весьма близки к реально проводимой политике». Главное же недовольство администрации было вызвано моими замечаниями относительно союзников, особенно Германии[31].

Этот инцидент сделал меня, по выражению корреспондента светской хроники «Вашингтон пост», «героем дня»[32]. Шум постепенно затих, но он не прошел без последствий. Меня стали считать даже в Белом доме недисциплинированным интеллектуалом, а не членом команды. Главный карикатурист «Вашингтон пост» Герблок изобразил меня в виде сорвавшейся с места пушки на палубе рейгановского государственного корабля. Тогда мне было пятьдесят восемь, я был намного старше других работников СНБ и привык говорить то, что думал. Мне было очень нелегко свыкнуться с мыслью, что мне закрывали рот просто потому, что я имел достаточно высокое положение и что каждое сказанное мною слово может быть истолковано как выражающее точку зрения администрации. Самое большое чувство облегчения я испытал, вернувшись в академическую жизнь, так как снова мог говорить от своего имени и то, что думал.

В течение двух лет, проведенных мною в Вашингтоне, пресса, как американская, так и иностранная, была почти что без исключения враждебна по отношению к Рейгану и его политике. Даже в столице мы могли рассчитывать только на поддержку «Вашингтон тайме». Весь лагерь либералов считал советское руководство более ответственным, чем наше собственное. Когда советское руководство действовало явно агрессивно, либералы обычно интерпретировали такое поведение как реакцию на нашу враждебность. Конечно же, коммунисты в полной мере использовали такое положение в своих целях.

Для иллюстрации подобного положения приведу лишь один случай. В октябре 1981 года я получил приглашение от одной организации в Гарварде принять участие в диспуте о советско — американских отношениях с участием представителей советского посольства. Он должен был состояться в День ветеранов. Я уже готовился к поездке, когда пришло известие, что мое приглашение было отозвано. Один из организаторов мероприятия профессор Джордж Кистяковский, химик, который когда — то участвовал в создании сброшенной на Хиросиму бомбы и с тех пор стал фанатичным противником «холодной войны», заявил газете «Гарвард кримсон», что я не приехал потому, что не получил разрешение от Белого дома. Это была ложь, так как никаких препятствий мне не чинили. Истинная причина заключалась в том, что он и другие организаторы встречи

предпочитали услышать советского представителя, оградив его от назойливых контраргументов гарвардского коллеги, который был на государственной службе в законно избранной американской администрации.

Все эксперты были в оппозиции к советской политике Рейгана, считали ее контрпродуктивной и приписывали ее моему влиянию. Один из них, Роберт Легвольд из Колумбийского университета, заявил в конце 1982 года: «Пайпс ошибается, предполагая, что существует четкое разделение на два лагеря [в Советском Союзе]. Политика США, направленная на то, чтобы способствовать приходу к власти несуществующей группы “умеренных деятелей”, — это просто химера». Даже если допустить, что такие «умеренные» прячутся где — то за кулисами, «вполне вероятно, что проводимая США жесткая, порой воинственная антисоветская политика оправдает и усилит положение их оппонентов, сторонников жесткого курса. Некоторые советские обозреватели намекают, что именно это может случиться»[33]. На самом деле произошло обратное: некоторое время спустя якобы несуществующие «умеренные», представленные Горбачевым, сменили сторонников жесткого курса.

Поразительно, насколько похожа была критика политики Рейгана по отношению к Советскому Союзу в американских и в советских СМИ. Как те, так и другие основывались на тех же двух тезисах: 1) Советский Союз никуда не исчезнет и невозможно извне изменить его политическую систему, не говоря уже о ее уничтожении; 2) любые шаги в этом направлении лишь ужесточали реакцию советского руководства и увеличивали риск конфронтации, которая могла привести к ядерной войне. Время показало, что оба эти тезиса оказались ошибочными, но их постоянное повторение придавало им характер истины, в силу чего они не подлежали обсуждению.

В июне 1981 года Аллен взял меня и еще нескольких сотрудников СНБ в Нью — Йорк, чтобы проинформировать Ричарда Никсона о внешней политике Рейгана. Такие брифинги обычно проводились время от времени для бывших президентов. Аллен провел с Никсоном наедине приблизительно полтора часа, пока остальные прогуливались. Пустой разговор перед обедом, на который Никсон пригласил нас в свой дом на Ист — стрит, 65, был тягостен: бывший президент совершенно не умел поддерживать светскую беседу. В основном я помню, как он жаловался на то, что его постоянно беспокоят и просят дать рекомендации на посольскую работу, которую он считал совершенно бесполезной. Его удивило, что человеку с такими

взглядами, как у меня, нравилось преподавать в Гарварде. «Мы, бывало, говорили, пусть Гарвард спит», — сказал он, махнув рукой. Он поинтересовался, успеваем ли мы заниматься спортом. Когда до меня дошла очередь отвечать, я сказал, что стараюсь плавать так часто, насколько позволяет время. К сожалению, он продолжил тему и спросил: «А где именно?» На какое — то мгновение я замешкался и выпалил: «В Уотергейте»[40].

Но когда мы расселись за обеденным столом, Никсон почувствовал себя в своей стихии и преподнес нам что — то вроде лекции. Ее смысл был в том, чтобы мы не давили на русских слишком сильно, добиваясь уступок в обмен на обещания материальной помощи, что ввиду их экономических затруднений сделает их более сговорчивыми. Мы должны начать закладывать фундамент сближения с СССР, так же как он это делал в шестидесятых с Китаем. Я сидел слева от него и время от времени он касался моей руки, чтобы выделить что — то, требуя подтверждения своим раскатистым голосом: «Не правда ли, профессор?» Уже когда мы собирались уходить, он спросил меня, сколько мне лет. «Пятьдесят восемь», — ответил я. «Это хороший возраст. У вас впереди еще много лет. Только не становитесь послом». Я должен признать, что покинул его дом иод влиянием этой сильной личности с глубоким интеллектом, хотя последнее касалось только политики.

Во время работы в СНБ мне пришла в голову мысль организовать еженедельные неформальные встречи в «Старом здании исполнительной власти» в формате семинара для экспертов по советским делам из различных правительственных организаций для обсуждения тем, вызывающих общий интерес. Встречи предназначались просто для обмена мнениями и информацией, без каких бы то ни было политических последствий. В начале марта я пригласил некоторых сотрудников из министерства обороны и Госдепартамента. Как только новость о моей инициативе достигла седьмого этажа Госдепа, прозвучал сигнал тревоги: СНБ вторгся на территорию Госдепартамента! Никакие аргументы не помогли: Хейг приказал, чтобы эти встречи происходили или в Госдепартаменте, или без участия его сотрудников. Перед лицом такого ультиматума я предпочел последнее. Эти семинары в формате ланча с бутербродами, которые происходили время от времени, оказались весьма познавательными.

Рейган

Большую часть времени новый президент был изолирован от сотрудников СНБ своей женой Нэнси Рейган и двумя близкими ему советниками — Майклом Дивером и Джеймсом Бейкером. Нэнси Рейган беспокоило, что у ее мужа была репутация примитивного сторонника «холодной войны». Не лишенная честолюбия, она стремилась быть принятой вашингтонским светом, а также столпами общества, большинство из которых были либерально настроены и пристально наблюдали за двумя бывшими киноактерами, поселившимися в Белом доме. Она хотела, чтобы ее муж завоевал себе место в истории, положив конец «холодной войне», полагая при этом, что ему лучше приспособиться к коммунизму, чем сокрушить его[34]. Я не думаю, чтобы она могла влиять на убеждения Рейгана, так как они были очень прочны. Но она могла оказывать влияние и влияла на его отношение к персоналу, то есть к тем, кто давал ему советы и осуществлял его политику. Рейган плохо разбирался в людях: он хорошо относился ко всем, и в этом заключалось отчасти его очарование, но также и источник его слабости, так как политик должен уметь отличать друга от недруга. Дивер и Бейкер действовали с ней заодно, стремясь удерживать Рейгана от выражения слишком резких взглядов. Они старались отгородить его от сотрудников Аллена в СНБ, чтобы те не усилили естественную для него склонность к жесткому курсу. Как и госпожа Рейган, Дивер, в обязанности которого входила забота об имидже президента, делал все возможное, чтобы сдерживать антикоммунистические инстинкты Рейгана. Вот почему в течение двух лет моей службы в СНБ только один раз, 31 января 1982 года, меня пригласили на светский прием в Белом доме, а именно на ужин с бывшим польским послом Ромуальдом Спасов- ским. И то это приглашение состоялось по просьбе Спа- совского. Было опасение, и, вероятно, оправданное, что я укреплю антикоммунистические убеждения президента.

После моего возвращения в Гарвард Нэнси Рейган по неофициальным каналам привлекла других экспертов по России, которые не обязательно были сторонниками мягкого курса, но испытывали более романтическое отношение к России, что ее больше устраивало. Полагаю, что такие закулисные интриги не прошли бесследно для Рейгана на последующих этапах его президентства.

Нэнси Рейган, Дивер и Бейкер очень не любили Аллена за его консервативные взгляды и профессиональную неэффективность и

были полны решимости сместить его. Вскоре подвернулся подходящий повод. 3 ноября 1981 года японская газета опубликовала сообщение, что Аллен получил тысячу долларов от трех японских журналисток, которые взяли интервью для японского журнала у Нэнси Рейган. Этот инцидент произошел в первый день работы Аллена на своем посту. Одна из журналисток попыталась дать первой леди конверт с десятью стодолларовыми купюрами в качестве гонорара за интервью. Чтобы избавить ее от неприятной ситуации, Аллен перехватил конверт и отдал секретарше, чтобы та его куда — нибудь убрала. Аллен потом забыл об этом. Некоторое время спустя конверт был найден в его сейфе и его обвинили в получении взятки. И хотя министерство юстиции быстро очистило его от подозрений в нечистоплотности, обвинение прилипло к нему, и после возвращения из вынужденного административного отпуска он был освобожден от должности. Недостойное поведение Рейгана и его команды напоминало советскую практику, когда освобождение от должности высокопоставленного лица всегда сопровождалось обвинением в каком — нибудь преступлении. Комментатор Сафир справедливо охарактеризовал это дело как «линчевание».

Рейган был недоступен, даже его дети жаловались, что никогда не могли сблизиться с ним. Его благожелательность на самом деле служила щитом, защищавшим его от более дружественных отношений с людьми. Он прибегал к своему неистощимому запасу шуток и анекдотов, чтобы избежать серьезного разговора. Он был одиноким человеком, одиноким по собственному выбору. У него было несколько глубоких убеждений, и они служили ему компасом в его политических решениях. Среди них была вера в то, что Америка — Богом избранная страна и что необходимо восстановить ее первенство в мире, которого она лишилась из — за долгих лет пораженчества и военной слабости. Коммунизм он считал абсолютным злом, которое было обречено, если только Соединенные Штаты и союзники приложат достаточно усилий. Он стремился избежать войны любой ценой. Он верил в то, что должен быть небольшой государственный аппарат, низкие налоги и частная инициатива. Мне кажется, что все остальное было ему глубоко безразлично, и это помогло ему достичь высокой степени духовной целостности. Также его не заботило то, как его цели будут достигнуты: главным было «что», а не «как». Как — то раз судья Уильям Кларк, занявший пост Аллена, сообщил сотрудникам СНБ, что для Белого дома нужно выполнить некую работу. Когда мы задали вопрос, как это сделать, Кларк ответил: «Президент считает, что если вы делаете правое дело, то найдутся и подходящие

средства». Подобное безразличие к средствам реализации целей позднее привело Рейгана к неприятностям в связи с делом «Иран — контрас»[41]. Но все же такой подход к делу позволял ему не утонуть в мелочах.

Без сомнения, политические и экономические идеи Рейгана были в некотором отношении упрощенными. Как — то раз я слышал от него, что если распространить в Советском Союзе миллион каталогов универмага «Сиэрс и Робак», то советский режим падет. И все же бесспорно и то, что он был весьма успешным президентом, который внес ощутимый вклад в падение Советского Союза и распад его империи, а это события всемирно — исторического значения. Как же случилось так, что этот человек, которого интеллигенция считала простодушным тупицей, понял, что Советский Союз испытывает муки последней стадии болезни, в то время как почти все дипломированные «врачи» говорили про здоровье?

Одно из объяснений заключается в том, что он обладал необъяснимым качеством политического здравомыслия. Как все великие государственные деятели, он инстинктивно понимал, что имеет значение, а что нет, что хорошо, а что плохо для его страны. Этому качеству невозможно научить. Как и абсолютный слух — это врожденный дар.

Но объяснение может быть также и в том, что интеллектуалы, которым дано определять, что совершенно, а что примитивно, уделяют слишком много внимания элегантному оформлению идей, их внутренней логичности и теоретической, а не практической полезности. Так они теряют из виду картину реального мира. Как же еще объяснить, что многие из них поддерживали социализм и коммунизм уже много времени спустя их очевидного для всех банкротства? Почему они верили в то, что, повторяя как заклинание снова и снова слово «мир», они сумеют предотвратить войну? Почему они десятками тысяч маршировали во имя ядерного «замораживания» — бессмысленного лозунга? Интеллектуалы становятся пленниками слов, потому что слова — это их валюта. Среди моих бумаг я нашел записку, в которой написал где — то в середине 1970-х на какой — то конференции: «Чтобы иметь дело с [советской] Россией, необходимо иметь простой ум». Я имел в виду, что советская система была неотесанная, основанная на силе и эксплуатации страха и прикрывающаяся высокими идеалами. Такая противоречивость приводила в замешательство утонченный интеллект, но не простых людей, живущих в условиях невзгод и беспорядочности реального материального мира.

Оппоненты Рейгана обвиняли его в том, что он дремал на

заседаниях кабинета. В 1982 году я посещал многие заседания Совета по национальной безопасности и никогда не видел, чтобы он заснул. Иногда мысли его путались, что можно отнести на счет симптомов болезни Альцгеймера, которая поразила его после окончания срока президентства. Большую часть времени у него были ясные мысли. Нужно признать, что он задавал мало вопросов и держал свои намерения в секрете. Но я отношу такое поведение на счет его весьма твердых убеждений, которые невозможно было изменить: если речь шла о деталях исполнения, к ним он был равнодушен, если же затрагивались принципиальные вопросы, он был непоколебим. Мой коллега как — то присутствовал на встрече Рейгана с Гельмутом Шмидтом, еще до инаугурации. Германский канцлер разглагольствовал полчаса о необходимости умерить антикоммунистическую риторику Рейгана и возобновить политику разрядки. Рейган слушал вежливо. Когда Шмидт закончил, вместо того чтобы вступить с ним в диалог, Рейган спросил с улыбкой, не слышал ли канцлер его любимый анекдот о Брежневе и его коллекции автомобилей?[42] Шмидт был на грани апоплексического удара. Но Рейган этим шутливым отступлением давал понять: «Не следует учить меня, что делать в отношении Советского Союза. Мое мнение твердо».

На заседаниях СНБ он иногда терялся и не знал, что ответить, когда аргументы «за» и «против» звучали один за другим. Вот впечатления, которые я записал в своем дневнике о первом заседании Совета, в котором участвовал. (Оно касалось предполагаемого эмбарго на поставку оборудования для Ямальского газопровода.)

РР совершенно растерян, чувствует себя дискомфортно. После коротких, общего плана замечаний онмол- чал сорок пять минут или около этого. Когда наконец он нарушил молчание, то просто выдохнул: «Ну и дела», как бы пытаясь сказать: «что же делать со всем этим?». Он поглощал пастилки, что, как я полагаю, заменяло ему сигареты. Слушал он невнимательно, смотрел куда — то в сторону или уставившись на бумаги перед собой, за исключением времени, когдя *говорила Джин Киркпатрик и он на какое — то время вступил в диалог с ней. Он понимающе улыбнулся, когда [Дональд] Риган сказал,* что он в «*замешательстве». Все это — суть проблемы и противоборство мнений — было не для него и ему непонятно. У него нет достаточно знаний или решительности, чтобы сделать выбор среди противоречивых советов, ему предлагаемых…*

Хейг, зловещий, агрессивный, нг*/ просто Яго (только РР не хочет играть Отелло и полностью его игнорирует). После того*

как он всех выслушал, Хейг *отмел все доводы и заявил,* что эти *вопросы были уже решены раньше. Он постоянно (и только он один) нахваливал президента и говорил как будто он его представитель. Он смотрел то свирепо,* то *искоса и злобно,* что *смущало всех остальных. Никто его не поддерживал,* дш/се *представитель министерства торговли, который в принципе разделял его точку зрения о необходимости широкой торговли с восточным блоком. Одиночка, который, однако, не выжидает своего часа, а яростно без устали нападает — особенно, конечно, на Дика Аллена.*

Дик (Аллен) был удивительно хорош, прекрасно знал все факты и доводы. Он ратовал, но безуспешно, за то, чтобы решения по конкретным вопросам торговых лицензий принимались в широком контексте политики в отношениях между Востоком и Западом. Он сказал Хейгу, что тот, как лицо, связанное с союзниками, естественно, стремился к более гибкой политике в торговле. Хейг даже подскочил: нет, он стремился к более «эффективной» политике. У меня было чувство, что Дик большую часть времени говорил, так и не сумев заинтересовать Рейгана, по крайней мере РР не слушал его внимательно, хотя более внимательно, чем Хейга, когдя mom *безрезультатно показывал свою власть.*

Но Рейган понимал очень хорошо, скорее интуитивно, чем осознанно, большие проблемы. Его негодование по поводу введения чрезвычайного положения в Польше в декабре 1981 года было так сильно потому, что уничтожило надежду на мирное развитие коммунизма в сторону демократии. Та помощь, которую он оказал польскому сопротивлению в 1982 году, дала возможность Солидарности выжить и позднее заставить коммунистов уступить власть. Это показало намного более глубокое понимание положения, чем то, что можно было видеть в Госдепартаменте, обитатели которого, кичившиеся своим реализмом, списали Польшу со счета. Из членов его кабинета были еще двое, разделявшие его моральный подход к внешней политике: министр обороны Каспар Уайнбергер и особенно Джин Киркпатрик, и поэтому он очень внимательно слушал, когда она говорила.

Для государственного деятеля его уровня определенной слабостью было то, что он не умел отделять гуманитарные аспекты от политических. Так, например, в разгар польского кризиса в декабре 1981 года, когда он рассматривал возможность почти полного разрыва отношений с Москвой, он возражал против закрытия американского посольства в Москве, потому что этот шаг означал бы бросить на произвол судьбы семью русских

пятидесятников, которая укрылась в нем. Позднее, в том же месяце он говорил со мной приватно с огромным облегчением, что был найден способ обойти объявленное нами эмбарго на авиаперелеты из Польши и привезти десятки польских детей с больным сердцем на лечение в Соединенные Штаты. Он совершенно не мог мыслить абстрактно: его мысли были реакцией на эмоции или на образ людей, которых он себе рисовал. Например, на заседании СНБ 21 июля 1982 года он был готов сделать экономическую уступку, которая имела серьезное символическое значение для Москвы, при условии что она согласится отпустить некоего русского по фамилии Петров, который уже сорок девять дней отказывался от приема пищи, объявив голодовку.

Он обладал неотразимым очарованием, которое позволяло ему говорить такие вещи, которые, сказанные кем — то другим, могли бы накликать беду. В частности, как — то раз группа политиков польского происхождения со Среднего Запада прибыла к нему с визитом. Мы развлекали их, как могли, пока не пришел Рейган. Он провел с ними несколько минут. Уже когда он собирался уходить, один из них сказал, как он и его коллеги были рады, что он так быстро оправился от ран после покушения. К сожалению, продолжили они, выздоровление его преосвященства Папы Римского продвигалось намного медленнее. На это Рейган ответил, что своим скорым выздоровлением он обязан своей жене, которая «заботилась о нем». Мы были в ужасе от его слов, но ему это сошло с рук. Никто из поляков не обиделся на то, что можно было бы воспринять как антикатолический выпад.

Хотя я и утверждал выше, что Рейган хорошо относился ко всем, мне кажется, что он с самого начала невзлюбил Александра Хейга, которого назначил по рекомендации своих советников. Вызывающий вид Хейга, насмешливое выражение лица и его чувство превосходства заметно раздражали Рейгана. На заседаниях СНБ предназначенное для меня место было расположено сразу за местом вице — президента и прямо напротив Рейгана, что давало мне возможность наблюдать за его выражением лица и жестикуляцией. Я не мог не заметить, что Рейган никогда не обращался непосредственно и никогда не отвечал на вопросы сидевшего справа от него Хейга. Он все время склонялся влево в сторону Уайнбергера. Хейг закатывал глаза, чтобы показать свое пренебрежительное отношение к предложениям по внешней политике других людей, сидевших вокруг стола (кроме президента), словно призывал небеса быть свидетелем его страданий. Он даже не удосуживался притворяться, что был просто исполнителем воли президента. И в

этом крылась причина его падения. Вопрос о его отставке был лишь вопросом времени.

К концу 1981 года я серьезно раздумывал, не оставить ли мне мою должность в СНБ и не вернуться ли в Гарвард. Но события, произошедшие в Польше в середине декабря 1981 года, были причиной того, что я изменил свои планы и остался.

Польский кризис

Интервал всего в один месяц с момента увольнения Аллена и назначения судьи Уильяма Кларка в качестве его преемника в декабре 1981 года был периодом, более всего наполненным событиями за время, которое я провел в Вашингтоне. Междуцарствие, воцарившееся в Совете по национальной безопасности, совпало с разразившимся в Польше кризисом, что давало мне уникальную возможность влиять на ход событий.

С самого начала президентства Рейгана в Польше нарастал конфликт между коммунистической диктатурой и «Солидарностью», формально профсоюзом, но фактически представлявшим буквально весь народ антикоммунистическим политическим движением. Когда Рейган прибыл в Белый дом, казалось почти неизбежным, что Москва вскоре пошлет войска Варшавского пакта в Польшу, как это было сделано в Чехословакии в 1968 году. В феврале и марте 1981 года молодой полковник из Агентства военной разведки Пентагона часто приносил мне фотографии со спутников, которые показывали концентрацию войск Варшавского пакта, а также другие признаки приготовления к вторжению. Особенно нас тревожили приготовления к большим военным маневрам Варшавского пакта на польской территории под кодовым названием «Союз-81», которые должны были состояться в середине марта и которые легко могли перерасти в наступательные операции. Я колебался между двумя сценариями событий. Я никак не мог решить, состоится ли полномасштабное военное вторжение или же будут применены внутренние меры подавления. В середине февраля я писал Аллену: «Если с точки зрения Москвы положение в Польше будет продолжать ухудшаться, наиболее вероятной реакцией будет объявление чрезвычайного положения». 18 марта я снова высказал мнение, что вторжение Варшавского пакта не намечалось. Однако в начале апреля я изменил мнение, полагая, что вторжение неминуемо.

В феврале 1981 года Госдепартамент разработал планы реагирования в случае вторжения войск Варшавского пакта, но, с моей точки зрения, им не доставало жесткости. В Белом доме возникло опасение, что нашей оценке развития событий в Польше не хватало координации. В середине марта меня попросили узнать, что предпринимал Госдепартамент для отслеживания ситуации в Польше. Чиновник, к которому я обратился, ответил, что даст мне необходимые сведения, но в следующем разговоре сказал, что этот вопрос будет урегулирован между заместителем

госсекретаря Вальтером Штосселем и Алленом. Я совершенно выбросил это из головы, но на следующий день утром Аллен позвонил мне домой и спросил, чем я так взбесил Хейга. Оказывается, Хейг в ярости позвонил президенту, протестуя против моего «вмешательства» в дела Госдепартамента относительно польского кризиса. Он принял мою просьбу предоставить информацию за свидетельство того, что я велел Госдепартаменту «убираться из Польши». Создавалось впечатление, будто мы были двумя различными и враждебными друг другу структурами.

Никакого вторжения не последовало. Как потом стало известно, польское руководство уговорило Москву, что будет лучше, если оно само справится с «Солидарностью». Еще в августе 1980 года поляки сами создали секретный центр по подготовке к введению чрезвычайного положения. По счастливому стечению обстоятельств одним из главных членов этого секретного центра был полковник Ричард Куклинский, который предложил свои услуги ЦРУ. Куклинский был польским патриотом. Его поразило то, с каким безразличием мир отнесся к оккупации Чехословакии в 1968 году, и он решил спасти Польшу от подобной участи. С этой целью он передавал ЦРУ информацию сначала о советских военных силах, а потом о приготовлениях к объявлению чрезвычайного положения.

До сих пор остается одной из неразрешенных тайн президентства Рейгана, почему такая бесценная информация не была использована. Директор ЦРУ при Рейгане Уильям Кейси передавал полученную от Куклинского информацию о советских силах министерству обороны и своему персоналу, но ограничил доступ к разведданным о приготовлениях генерала Ярузельского. Эти данные получали, конечно, президент и его советник по национальной безопасности: донесения Куклинского не достигали моего стола. Однажды Аллен пригласил меня к себе в кабинет и без всякого объяснения показал мне одно из донесений Куклинского (автор не указывался). Меня больше всего поразил тон «верного интернационалиста» Ярузельского, которым он разговаривал в узком кругу своих сотрудников. Этот человек явно не был польским патриотом, как он в дальнейшем будет утверждать, потому что для него интересы мирового коммунизма, которые представлял Советский Союз, были превыше всего. Однако я видел только маленький фрагмент из донесения Куклинского и, не будучи знакомым с его полным содержанием, не мог сделать каких — то выводов. Таким образом, так же как и остальные в администрации Рейгана, я не знал, что в течение всего года польское правительство под давлением Москвы вело

приготовления к суровым военным мерам против оппозиции. Сомневаюсь, можно ли найти в истории еще пример, как столь жизненно важные разведывательные данные были так непростительно проигнорированы.

Хотя я и продолжал колебаться между вероятностью внешнего вторжения или внутренних репрессий, к концу сентября 1981 года я рекомендовал Рейгану упомянуть на пресс — конференции о возможности введения чрезвычайного положения в Польше. Совет остался без внимания. Атмосфера в СНБ была решительно спокойная. Заседание СНБ 10 декабря было посвящено вопросу о займах Польше, а на совещании сотрудников на следующий день обсуждался вопрос о Ливии.

Вечером в субботу 12 декабря 1981 года раздался звонок из Белого дома: я должен был немедленно прибыть в Ситуационную комнату. Рейгана в Белом доме не было, он находился в Кемп — Дэвиде. Присутствовали вице — президент Джордж Буш и несколько сотрудников аппарата СНБ. Я узнал, что, согласно полученным новостям, танки окружили штаб — квартиру «Солидарности» в Варшаве и что все коммуникации с Польшей были прерваны. Никто не знал, что предпринять в этих обстоятельствах. Я позвонил одному из польских представителей в ООН, с которым был знаком, но он также ничего не знал. Затем я позвонил польскому послу Ромуальду Спасовскому, но у него тоже не было новостей. (Несколько дней спустя он подал в отставку и попросил политического убежища.) Позднее в ту ночь появился Джеймс Бейкер, на нем был смокинг, он производил впечатление человека несколько отстраненного и озадаченного нашим волнением.

Когда разразился польский кризис, у Белого дома не было советника по национальной безопасности. Образовавшийся вакуум предоставил мне большую степень свободы, так как исполняющий обязанности советника адмирал Джеймс Нэнс, который ранее командовал авианосцем, мало что знал о Восточной Европе.

Утром 13 декабря, в воскресенье, было созвано совещание в офисе заместителя госсекретаря Уильяма Кларка. Теперь уже становилось ясно, что широкомасштабная, хорошо организованная операция была осуществлена безупречно, что уверенное в своей неуязвимости руководство «Солидарности» не предприняло мер предосторожности и было арестовано, а Польша оказалась под военной диктатурой. Госдепартамент уверял нас, что Советский Союз в эти события не вовлечен.

Днем под председательством Буша состоялось заседание специально сформированной группы по кризису в Польше, но

меня на него не пригласили.

17 декабря президент зачитал заявление по поводу событий в Польше, большую часть которого написал я, в нем он охарактеризовал введение военного положения и массовые аресты как «грубое нарушение Хельсинкского договора» и пообещал Польше помощь для преодоления экономических трудностей при условии, что будет восстановлено гражданское правление.

Поскольку Польша ничего не предприняла в ответ на эти условия, в администрации стали обсуждать вопрос о санкциях сначала против Польши, а затем и против Советского Союза. Эти меры были предметом обсуждения на четырех заседаниях Совета по национальной безопасности, состоявшихся 19, 21, 22 и 23 декабря в эмоционально напряженной атмосфере, вызванной главным образом яростью Рейгана по отношению к коммунистам. В своих мыслях он постоянно возвращался к 1930-м годам, когда западные демократии не сумели остановить германскую и японскую агрессию. Как он выразился на заседании 22 декабря, это был «последний в жизни шанс выступить против этой проклятой силы». Остальные члены кабинета смирились, но с различной степенью энтузиазма: Хейга, как всегда, тревожила реакция союзников по НАТО; члены кабинета, отвечавшие за экономику (министр торговли Малкольм Болдридж, министр сельского хозяйства Джон Блок и министр финансов Дональд Риган), беспокоились по поводу вреда, который принесут экономические санкции Соединенным Штатам. Однако по настоянию Рейгана были приняты довольно строгие санкции, хотя далеко не настолько жесткие, как он поначалу предполагал.

В апреле 1958 г. я получил должность профессора факультета гуманитарных наук Гарвардского университета. В течение тридцати восьми лет с перерывами я преподавал курсы по истории России и СССР. *В рабочем кабинете. 1960 г. Фото: Lyman W. Fisher. The Christian Science Monitor*

Сыновья Стивен (8 лет) и Дэниел (13 лет) во время импровизированной трапезы по поводу еврейской пасхи. *Париж, 1962 г.*

Мои родители. Последнее фото вместе…*Четам (Нъю-Гемпшир), 1971 г.*

С моими дипломниками Дэном Орловски и Ниной Тумаркин 1971 г. Под моим руководством более 80 аспирантов получили степень доктора исторических наук.

"Танец" на льду спортзала в Гарварде. ***1972 г.***

Дружба с Исайей Берлиным продолжалась почти полвека, до ею смерти в 1997 г.Это был необычайно разносторонний интеллектуал… *Лондон, 1993 г.*

Весной 1978 г. я побывал в Китае. Запись в дневнике: "… очень может быть, что это люди будущего: если они обретут высокие технологии и определенную степень интеллектуальной свободы…" *С офицерами 196-й дивизии.*

В феврале 1981 г. я принял пост главы восточноевропейского и советского отдела Совета по национальной безопасности США. Газета "Правда" отреагировала на это назначение статьей под заголовком "Осторожно: Пайпс!" *С президентом Р. Рейганом. Июль 1981 г.*

В моем кабинете № 338 в здании СНБ с видом на Белый дом, где я проработал два года. С самого начала у меня была уверенность, что я вернусь в Гарвард, что бы ни случилось. Я стремился к свободе, а не к власти. *1982 г.*

Беседа с вице — президентом Дж. Бушем — старшим. *Июль 1983 г.*

С А. Сахаровым, самым достойным восхищения защитником прав человека в России….Он не осознавал, насколько он значителен. *Бостон, 1988 г.*

Семейство в сборе. *Чешам, 1990 г.*

Одим из ободряющих событий, связанных с посткоммунистической Россией, стали мои связи с Московской школой политических исследований — организацией, призванной распространять демократические идеи и практики. Фото: Олег Начинкин

Первое из этих заседаний было 19 декабря. Президент отсутствовал, так что заседание превратилось в заседание Группы по разрешению кризисов под председательством Буша.

Уайнбергер, Киркпатрик и в некоторой степени Кейси были сторонниками ответных мер против Советского Союза как подстрекателя польского кризиса, в то время как Риган, Болдридж и Блок были сторонниками «массированных» мер. Как правильно заметил Уайнбергер, такая ситуация на деле означало отсутствие всяких мер. Хейг занял центристскую позицию. Во время перерыва, когда мы с Джин Киркпатрик разговаривали в углу комнаты, Хейг подошел к нам с «искривленным лицом», как я записал в своем дневнике, и сказал: «Я дам вам обоим ядерные ракеты». Мы в замешательстве переглянулись.

Первое серьезное совещание СНБ, посвященное положению в Польше, состоялось 21 декабря. На этом, как и на следующих заседаниях председательствовал адмирал Нэнс, но он почти не вступал в дискуссию. Объятый гневом, Рейган говорил убедительно. События в Польше, заявил он, были первым случаем за шестьдесят лет, когда произошло нечто подобное. (Он был неправ, так как игнорировал события в Венгрии и Чехословакии.) Москве надо дать понять, что если она желает продолжать нормальные отношения с западным миром, то должна восстановить свободу в Польше. Упомянув речь Рузвельта 1937 года, в которой тот призвал к установлению «карантина» по отношению к странам — агрессорам, Рейган сказал, что нам следует изолировать Советский Союз, сведя дипломатические и экономические отношения союзников с Москвой к абсолютному минимуму. Если союзники откажутся действовать с нами заодно, мы должны пересмотреть отношения с ними. Он даже зашел так далеко, что сказал, что нам следует быть готовыми объявить бойкот странам, которые будут продолжать торговать с Советским Союзом. Когда в ответ на это предложение Мис представил список возможных мер: полное прекращение торговли, отмена авиарейсов и блокирование телефонной связи, а также разрыв дипломатических и политических отношений — Рейган возразил, сказав, что дипломатические отношения следует поддерживать и что следует предложить Брежневу что — то привлекательное, чтобы он понял, насколько лучше будет его стране, если он изменит свое поведение. Хейг, однако, предупреждал, что подобные меры являются для Советского Союза вопросом жизни и смерти и потенциально могут стать причиной войны.

Заседание, которое происходило два дня спустя, 23 декабря, началось с перепалки по поводу письма Рейгана Брежневу. Было два текста письма, один из которых был написан мной, а другой — Госдепартаментом. Несмотря на то что мой вариант был одобрен Госдепартаментом, Хейг в приватном разговоре с

Рейганом до начала заседания СНБ настаивал на том, чтобы он подписал версию Госдепартамента. Мис разрядил обстановку, предложив передать оба варианта письма рабочей группе, чтобы не терять время на этот вопрос. После окончания заседания я подошел к Хейгу с текстом своего варианта и спросил, какие у него были возражения по тексту, на что он ответил: «У меня нет возражений». Он предложил несколько незначительных поправок, из которых стало совершенно очевидно, что проблема была не в том, *что* написано, а в том, *кто* написал. Более того, противореча самому себе, он требовал на заседании СНБ, чтобы мы предусмотрели военные меры против СССР, которые никто, даже Уайнбер- гер, не считал возможными.

Что касается дискуссии по существу вопроса, то она напоминала дискуссию предыдущего дня. Хейг предупреждал о германской оппозиции любым политическим и экономическим санкциям против СССР и о возможности разрыва Европы с нами, если мы будем на них настаивать. На что Рейган возразил, что в таком случае «мы сделаем это одни». Джин Киркпатрик поддержала президента, напомнив собравшимся, что в ООН союзники часто открыто были против позиции США.

Письмо Рейгана Брежневу, отправленное днем 23 декабря, было сочетанием двух вариантов: за первыми несколькими абзацами, написанными мной, следовал текст Госдепартамента. По настоянию Хейга и по непонятной мне причине мы убрали предложение, в котором отрицалось, что «Солидарность» была контрреволюционной организацией. Письмо отвергало утверждения, что события в Польше были ее «внутренним делом», учитывая, что в течение нескольких месяцев, предшествовавших введению чрезвычайного положения, Советский Союз «многократно вмешивался в польские дела», тем самым нарушая Хельсинкский Заключительный акт, под которым стояла и его подпись. Если Советский Союз не прекратит поддерживать репрессии в Польше, «у Соединенных Штатов не будет другого выбора, как предпринять конкретные меры в отношении всех аспектов наших отношений».

На следующий день, в сочельник, вопреки возражениям Дивера, Рейган сделал заявление, в значительной степени основанное на написанном мной варианте письма, немного отредактированного главным составителем речей Арамом Бакшияном. В нем он перечислил грубые нарушения в Польше и предупредил, что, если они не прекратятся, следует ожидать серьезных последствий. В то же время он объявил введение некоторых санкций против Польши, таких как прекращение гарантий по кредитам экспортно — импортного банка,

приостановление работы польских авиакомпаний на линиях из Польши в США и запрет польским судам производить лов рыбы в водах США. Много лет спустя на международной конференции, посвященной событиям декабря 1981 года, Ярузель- ский признал, что эти и последовавшие за ними другие санкции стоили Польше двенадцати миллиардов долларов, весьма существенная сумма для этой страны.

Утром в Рождество мне позвонили и сообщили, что на телекс начал поступать ответ Брежнева. Я тут же его перевел. Как и ожидалось, Брежнев обвинял Рейгана во вмешательстве во внутренние дела Польши и, притворяясь, что кризис уже закончился, предлагал ему заняться более «серьезными делами», такими как, например, разоружение. Он проигнорировал точные и определенные предупреждения Рейгана о контрмерах США, по — видимому, считая, что это просто риторика, предназначенная для общественности.

Такой ответ делал санкции против СССР неизбежными, и на следующий день мы вместе с начальником отдела экономики в СНБ Норманом Бейли сели за разработку соответствующего «меню». В воскресенье 27 декабря я встретился с заместителем госсекретаря Ларри Иглбергером, а также с рядом других сотрудников его офиса в Госдепартаменте. Он был одет просто, а из его стереосистемы громко звучала увертюра «1812 год». Мы пробежались по списку и быстро сформулировали перечень санкций.

Утром 28 декабря эти меры были на повестке дня заседания Группы по чрезвычайным ситуациям (ГЧС) под председательством Буша. Это было первое заседание ГЧС, на которое меня пригласили. На этом заседании непредсказуемый Хейг ратовал за очень жесткую линию, утверждая, что «резкая и бескомпромиссная» реакция Брежнева требовала твердого ответа с нашей стороны. Он возмущался поведением германского министра иностранных дел Геншера, который вслед за Брежневым заявил публично, что мы не имели права вмешиваться во «внутренние дела Польши». Затем встал вопрос об объявлении Польши в состоянии дефолта по займу в 350 миллионов долларов, срок выплаты которого миновал. Хотя этот ход и был привлекательным, он был отвергнут, потому что такой шаг причинил бы серьезный вред международным, особенно немецким, банкам. Более подробно этот вопрос обсуждался на совещании ГЧС 2 января, на котором представители министерства финансов и торговли объясняли взаимозависимость мировой финансовой системы и описали, какие разрушительные последствия будет иметь польский дефолт для экономики

европейских стран как Запада, так и

Востока. У меня создалось впечатление, что западные банкиры не особенно беспокоились об этих займах[43].

Опыт работы над введением санкций показал мне, почему интеллектуалы вообще и люди из научной среды в частности оказывают такое незначительное влияние на проводимую политику. Так случилось, что незадолго до того, как я столкнулся с этим вопросом, ко мне попала рукопись книги о санкциях. В ней содержались мудреные рассуждения на эту тему, проводилось различие между «вертикальными» и «горизонтальными» санкциями, разъяснялось, какие санкции работали, какие нет и почему. Я пригласил автора на встречу. После того как мы немного поговорили, я сказал: «Ну, хорошо, я понимаю ваши идеи, но что же нам с ними делать?» «Делать?» — воскликнул с удивлением мой гость. «Да, делать. Посмотрите на мой рабочий стол. Слева входящие документы, а справа исходящие. Моя работа заключается в том, чтобы документы из левой стопки перемещались в правую, а не в том, чтобы обсуждать политику абстрактно». Но он ничем не мог мне помочь.

Санкции против СССР были объявлены на следующий день, 29 декабря. Они затрагивали широкий круг двусторонних отношений в сфере торговли и науки, но не касались переговоров о контроле над вооружениями, которые тогда тянулись в Женеве. Американским компаниям было приказано прекратить любую форму участия в строительстве Сибирского трубопровода. Санкции повлекли за собой убытки для американских корпораций в сотни миллионов долларов («Катэрпиллар трактор», «Дженерал Электрик» и так далее). Но как станет ясно позднее, многие вопросы оставались без ответа: например, имели ли объявленные санкции обратную силу? То есть касались ли они подписанных контрактов или только будущих? Затрагивали ли они иностранные дочерние компании американских корпораций и их лицензии?

Санкции, которые мы наложили на Советский Союз в декабре 1981 года, имели значение, далеко выходящее за рамки экономики, потому что они порывали с ялтинским синдромом, в соответствии с которым молчаливо признавалось, что Польша находится в сфере влияния Советского Союза. Санкции представляли собой прямой вызов легитимности коммунистического блока, которая во времена разрядки не вызывала никаких сомнений и продолжала оставаться таковой для наших европейских союзников. Но нужно признать, что необходимость санкций не была должным образом объяснена американской общественности и союзникам, и создавалось

впечатление, что, принимая их, Рейган действовал импульсивно. Только очень проницательные обозреватели, такие как авторы «Уолл — стрит джорнал», поняли истинный смысл санкций.

В начале 1982 года пост советника по национальной безопасности занял Уильям П. Кларк, близкий друг Рейгана, когда — то служивший судьей в Верховном суде Калифорнии, до этого бывший заместителем Хейга. Хотя он не очень хорошо разбирался в международных делах, он был умный человек и чувствовал себя уверенно благодаря своей близости к Рейгану и отсутствию политических амбиций. Так что во многих отношениях с его назначением положение улучшилось по сравнению с тем, каким оно было при Аллене. В отличие от Аллена у Кларка был прямой выход на президента, так что Мис был не нужен в роли посредника.

Я не могу воздать такую же хвалу заместителю Кларка Роберту К.(Бад) Мак — Фарлейну, молчаливому отставному полковнику морской пехоты, который работал вместе с Кларком в Госдепартаменте. Вероятно потому, что Мак — Фарлейн имел опыт работы в СНБ еще в середине 1970-х, Кларк поручил ему непосредственное руководство текущей работой сотрудников штата Совета по национальной безопасности. Мне казалось, что он непригоден для этой должности, и я никогда не мог понять, как ему удалось сделать политическую карьеру, вершиной которой стало его назначение в октябре 1983 года преемником Кларка на посту советника по национальной безопасности. Пегги Ну- нан, писавшая речи для Рейгана, назвала его «компьютером», который «уже давно решил, что умные люди говорят так, что их невозможно понять»[35]. Храбрый и находчивый офицер, он привнес в политику образ мышления военных, с их врожденным уважением к субординации и склонностью усматривать ее нарушение во всяком проявлении независимого мышления. Поскольку я мыслил независимо и высказывал свои мнения, по крайней мере в рамках СНБ, он с первого же дня своего назначения предпочел игнорировать меня, причем до такой степени, что отказывался разговаривать со мной по телефону и даже отвечать на мои звонки. В тех же случаях, когда он все же со мной связывался, то делал это через своего ассистента, адмирала Джона Пойндекстера. Мак — Фарлейн был человек, преданный Госдепартаменту. В начале 1983 года в приватном общении с Джорджем Шульцем, который сменил Хейга на посту госсекретаря, он охарактеризовал штат сотрудников СНБ как «содержащий… много идеологов»[36].

Вскоре после вступления в должность Кларк уволил нескольких сотрудников штата СНБ. Я полагаю, что и меня

попросили бы уйти, но как раз в это время администрация Рейгана подверглась критике со стороны консервативных республиканцев за то, что она становилась «мягкотелой» и мое увольнение только добавило бы масла в огонь. До меня дошли слухи, что замена мне уже была найдена, но Кларк настоял, чтобы я остался.

Одна из проблем, которая у меня сразу возникла с Кларком, касалась утечки информации в прессу. Ввиду того, что у меня было много связей с журналистами, он, похоже, подозревал меня в передаче внутренней информации прессе. Этим я объясняю его решение не допустить меня к участию в нескольких заседаниях на высоком уровне, прямо касавшихся проблем, которыми я занимался. В конце концов я добился доверия Кларка и установил хорошие отношения с ним. К тому времени, когда я был готов вернуться в Гарвард, он приложил много усилий, чтобы убедить меня остаться.

С точки зрения моих личных интересов назначение Кларка принесло еще одно преимущество. Пока советником по национальной безопасности с января по ноябрь 1981 года был Аллен, меня не допускали до личных контактов с Рейганом. Все мои сообщения для президента проходили через Аллена, который или передавал их дальше по назначению в Овальный кабинет со своим одобрением (и от своего имени), или возвращал их мне без всякой реакции.

Кларк, мало разбиравшийся в иностранной политике, должен был полагаться на мнение экспертов. Через два месяца после его вступления в должность меня попросили организовать брифинг президенту, и с тех пор я делал это довольно часто. В отличие от Аллена, Кларк сохранял наше авторство на докладах, отсылаемых президенту. Во время брифингов, происходивших в Овальном кабинете, меня поражало, насколько мало почтения Дивер и Бейкер выказывали Рейгану. Казалось, они воспринимали его как дедушку, которого можно развлекать, но нельзя относиться к нему слишком серьезно[44].

Кларк разрешил публикацию интервью, которое я дал Стробу Тэлботу из журнала «Тайм» около года назад. Поначалу Аллен дал разрешение на интервью при условии, что оно пройдет проверку сотрудников СНБ. В интервью объяснялся смысл советской политики Рейгана. Однако затем без всякого объяснения он изменил свое решение и наложил вето на публикацию. Интервью в новой редакции появилось в марте 1982 года.

Совещания сотрудников Совета по национальной безопасности происходили теперь намного чаще, чем при Аллене,

под председательством по большей части или самого Мак — Фарлейна, или совместно с Пойндекстером, но они обычно были короткими, от десяти до пятнадцати минут, и поверхностными.

Первые два или три месяца после назначения Кларка были очень трудным периодом для меня. Было ощущение, что меня игнорировали, и я снова стал подумывать об отставке. К маю 1982 года решение вернуться в Гарвард созрело. Слух об этом распространился, и появилось соответствующее сообщение в журнале «Бизнес уик». Узнав об этом, Кларк пригласил меня к себе, чтобы обсудить причины недовольства. Он был очень удивлен и обеспокоен услышанным о трудностях, с которыми я сталкивался по вине его помощников и Госдепартамента. Он пообещал исправить ситуацию. На встрече неделю спустя он уговаривал меня остаться, потому что я, как он выразился, «представлял иную точку зрения», которая ему была нужна. После его вмешательства я получил от Пойндекстера текст записи беседы между Громыко и Хейгом, который я уже давно стремился получить. Некоторые другие поводы для недовольства были также устранены, но вскоре все снова пошло по привычной колее.

Страсти, накалившиеся в связи с событиями в Польше, успокоились на удивление быстро. На заседании СНБ 5 января, в первый раз под председательством Кларка, Хейг доложил об обратных последствиях введенных санкций, ибо в результате поляки стали еще больше зависимы от Москвы. Он был против прекращения кредитов Восточной Европе на том основании, что это укрепит советское доминирование. Он полагал, что не следует критиковать союзников за несогласие с нами, потому что каждый раз, когда мы это делали, мы играли на руку Москве.

Уайнбергер, который всегда рассуждал резонно по этим вопросам, был не согласен с такой точкой зрения, как и президент. Они считали, что дополнительное бремя поддержки Москвой экономики своих владений истощало ее собственную экономику. Позднее эта точка зрения оказалась правильной.

В конце января 1982 года меня попросили слетать в Чикаго и передать приветствие президента по — английски и по — польски на митинге в поддержку «Солидарности». Поздно вечером накануне митинга мне позвонили из Белого дома в гостиницу в Чикаго и сообщили, что президентское послание будет зачитано Хейгом. Я возразил, и было принято компромиссное решение, что я зачитаю послание по — польски. Митинг состоялся 1 февраля в «Международном амфитеатре», где собралось несколько тысяч поляков, полных энтузиазма. Когда Хейг окончил свое короткое выступление, его встретили бурной овацией. Он стоял в свете прожекторов, весь вспотевший, а толпа скандировала: «Хейг!

Хейг! Хейг!» Пока я наблюдал это зрелище, у меня промелькнули две мысли. Как реагировали бы эти ликующие тысячи людей, если бы узнали, что Хейг был против санкций к Советскому Союзу и Польше, и как неразумно было со стороны Хейга узурпировать аплодисменты, предназначавшиеся президенту.

Но проблемы с санкциями еще далеко не закончились. На заседании СНБ 26 февраля Кларк поднял вопрос, имели ли принятые 29 декабря санкции обратную силу и касались ли они дочерних кампаний и лицензий американских фирм. Этот вопрос вызвал смятение в нескольких европейских странах, производивших по американским лицензиям оборудование для сибирского трубопровода. Наши меры вызвали серьезную оппозицию даже со стороны Маргарет Тэтчер. Европейцы считали, что подписанные контракты необходимо выполнять и что мы оказываем на них давление. Хейг высказался в том смысле, что мы действительно поторопились: санкции наносили намного больше вреда европейцам, чем США. Он настаивал, чтобы оборудование для трубопровода было исключено из санкций, и чтобы мы вместо этого сосредоточились на кредитах, сделав более накладным для Москвы получение западных займов для закупки оборудования. Рейган признал, что он поторопился и что госпожа Тэтчер открыла ему на это глаза. Поэтому он был готов выслушать предложения относительно проблемы дочерних компаний и лицензий. Уайнбергер, со своей стороны, настаивал на бескомпромиссном курсе. Он считал глупой ситуацию, когда отец (то есть американские корпорации) не может экспортировать энергооборудование Советскому Союзу, в то время как дети (то есть европейские дочерние компании и ли- цензенты) могут это делать. Мы должны идти до конца и наложить полное эмбарго на это оборудование. Такие меры задержат по крайней мере на два года окончание строительства трубопровода, запланированное на 1984 год. Но Болдридж, Блок и, что удивительно, Кейси утверждали, что экстратерриториальное расширение санкций не сработает, и соглашались с Хейгом, что ограничения на кредиты были бы более эффективным подходом и что такие ограничения могли бы быть введены с согласия союзников. Было решено отложить решение по этому вопросу до возвращения из Европы бывшего сенатора Джеймса Бакли, который должен был обсудить с союзниками вопрос о кредитах и об энергетической зависимости.

Бакли сделал доклад Совету по национальной безопасности 25 марта. К тому времени ощущалось всеобщее ожидание, что санкции, введенные против Советского Союза, будут отменены. Как деловые, так и дипломатические круги энергично

лоббировали отмену. В самом правительстве Госдепартамент и министерство торговли ратовали за отмену, в то время как министерство обороны и СНБ были против. Бакли попытался убедить союзников, что было «идиотизмом» субсидировать гарантированными правительством кредитами наращивание военной мощи СССР. Он также выступал за дальнейшее развитие европейских газовых ресурсов (особенно в Норвегии). Но его аргументы не подействовали: все европейцы были против нашей политики.

К тому времени все члены кабинета, кроме Уайнбер- гера, отвергли санкции в отношении оборудования для трубопровода на том основании, что отложить завершение его строительства было нереалистично, что усилия в этом направлении приводили к ненужным трениям с союзниками и что лучше ограничиться контролем над предоставлением кредитов. Хейг, в принципе, ставил под сомнение увязывание экономических вопросов с дипломатией. Ссылаясь на неназванных экспертов по Советскому Союзу, с которыми он проконсультировался, он заявил, что с их точки зрения было «сумасшествием» полагать, что мы можем «обанкротить» Советский Союз. Конечно же, Советский Союз испытывал затруднения, но поменять его систему путем экономической войны было невозможно. Суждение Хейга и его «экспертов» было неверным по своей сути, что и показало время. Дело было не в том, чтобы «обанкротить» Советский Союз, а в том, чтобы усугубить его и так уже серьезные экономические проблемы. Чтобы с ними справиться, Советскому Союзу пришлось изменить свои приоритеты от наращивания военной мощи и поддержки своих вассалов за границей к реформированию экономики. Это в свою очередь привело к глубоким переменам в управлении советской империей и таким образом снизило напряженность и даже привело к окончанию «холодной войны».

21 мая я узнал, что Госдепартамент лоббировал ослабление санкций путем исключения из них контрактов, подписанных до 30 декабря 1981 года, в обмен на уступки европейцев по кредитам. (Это означало, среди прочего, исключение из режима санкций оборудования для сибирского трубопровода.) Проблема состояла в том, что мы согласились с кредитными ограничениями в обмен на нераспространение санкций за пределами США, но теперь та же процедура распространялась и на подписанные до введения чрезвычайного положения контракты, в отношении которых кредитные ограничения не были введены.

Рейган колебался, стремясь избежать конфронтации с союзниками, в то же время будучи убежденным, что задержка строительства трубопровода была возможна и желательна. Этот

вопрос был поставлен на повестку дня заседания СНБ 24 мая. Надеясь убедить Рейгана не уступать, Норман Бейли уговаривал меня написать меморандум по данному вопросу. Я написал его 22 мая и лично принес Кларку. Он в свою очередь показал его президенту утром 24 мая, незадолго до совещания СНБ. Мое письмо на двух страницах указывало, что размывание санкций без какого бы то ни было заметного изменения к лучшему в Польше серьезным образом отразится на нашем международном авторитете. Это будет означать, что в дальнейшем мы уже больше не сумеем использовать экономические санкции против Советского Союза, чтобы повлиять на его поведение. «Советское правительство, — писал я, — придет к выводу, что президент Рейган не обладает властью и что его антикоммунизм… в основном риторический. Такое понимание ситуации, конечно, окажет огромное влияние на расчеты Советов при планировании будущей агрессии. В конце концов у нас есть два, и только два способа воздействовать на Советский Союз: экономический и военный. Если мы отказываемся от экономического воздействия (а именно это мы и сделаем, если последуем совету Госдепартамента), то у нас не остается иного выбора, кроме военного. Другими словами, если мы ослабим экономическое давление перед лицом советской агрессивности, то будем вынуждены прибегать к военным мерам, что увеличит вероятность конфронтации и конфликта… Это было бы особенно достойно сожаления теперь, когда Советский Союз оказался в беспрецедентном экономическом кризисе и как никогда раньше чувствителен к разного рода средствам экономического воздействия».

Мои аргументы, вероятно, убедили Рейгана. Кларк сообщил мне лично, что они помогли «склонить чашу весов» в сторону расширения санкций за пределами США.

Мой коллега по СНБ впоследствии охарактеризовал мое письмо как «бомбу», которая могла ускорить отставку Хейга.

Заседание СНБ 24 мая было посвящено подготовке экономического саммита, который должен был собраться в Версале в середине июня. Вопрос, который предстояло решить, касался санкций: отменить, сохранить или расширить их. Хейг, который, как всегда, был озабочен реакцией союзников, особенно наиболее упорных из них — французов, предложил компромисс: проявим гибкость в вопросе о санкциях, если европейцы уменьшат поток кредитов Советскому Союзу и ограничат свою зависимость от советских энергоносителей путем развития месторождений в Северном море. Кейси говорил, что, если что — нибудь не предпринять, через десять лет потребление газа

Европой будет наполовину зависеть от советских поставок. Уже сейчас Советский Союз получал восемьдесят процентов выручки в иностранной валюте от экспорта энергоносителей.

Встал вопрос о том, что делать с компрессорами для трубопровода, которые производились за границей по американским лицензиям: распространять ли санкции за пределами США? Болдридж поддержал Хейга, Уайнбер- гер выступил против. Выслушав все аргументы, Рейган заявил, что, когда вводились санкции, их действие не выходило за пределы США, потому что подразумевалось, что будут введены ограничения на предоставление кредитов. Но теперь у него появились сомнения. Никакого решения в тот день он принимать не собирался. Однако, явно имея в виду мое письмо, он поинтересовался, почему мы вообще обсуждали отмену санкций, если в Польше ничего не изменилось к лучшему. Валенса все еще томился в тюрьме, а чрезвычайное положение не было отменено. Если мы отменим санкции, то потеряем всякое доверие к себе. Предложенные ограничения на кредиты предполагались не в качестве компенсации за снятие санкций, а за их нераспространение вне США. Он не понимал, почему мы обсуждали снятие санкций, не получив твердых гарантий по ограничению кредитов. Вместо того чтобы развивать русские энергоресурсы, европейцам следовало бы расширить разработку норвежских газовых месторождений. В любом случае русские должны платить твердой валютой за свои закупки, а не получать дополнительные преимущества от дешевого кредитования. Именно поэтому необходимо было ввести санкции на предоставление кредитов. Экономика Советского Союза была на грани падения, и настало время ее «подтолкнуть».

Со встречи в Версале в середине июня Рейган вернулся совершенно разочарованным и недовольным союзниками, потому что они не предпринимали никаких серьезных шагов в вопросе о кредитных ограничениях. Он был взбешен поведением французов (эту нацию он сильно не любил), которые заявляли, что у них были контракты с Москвой и поэтому они не могли сотрудничать с нами в принятии подобных мер. Тем не менее они отказались показать нам эти контракты.

В полдень 18 июня, в пятницу, я получил срочный вызов явиться в офис к Кларку. Он попросил меня подготовить к заседанию СНБ в час пятнадцать три варианта по вопросу о санкциях: их отмену, их продолжение и их вынесение за пределы США. Он добавил неформально, что мне необязательно тратить много времени на первые два варианта. Вместе с коллегой Роджером Робинсоном мы сформулировали все варианты за

тридцать минут, как раз успев к открытию заседания. Кларк сказал мне, что Рейган «вынесет приговор», что было для него нехарактерно. Это означало, что он принял решение.

Заседание открылось как было запланировано, несмотря на то что Хейг находился в Нью — Йорке на переговорах с Громыко. Кларк отказал в его просьбе перенести заседание, сославшись на то, что заседания СНБ никогда не переносятся. Место Хейга занял заместитель госсекретаря Ларри Иглбергер. Кейси сообщил, что, хотя союзники и поддерживали на словах принцип кредитного контроля, на деле они не предложили ничего конкретного. Хотя он сомневался, что санкции смогут существенно задержать окончание строительства сибирского трубопровода, он считал, что их отмена создаст впечатление, что Соединенные Штаты «мягкотелы». Иглбергер предупреждал, что, если мы сохраним санкции, европейцы откажутся сотрудничать с нами по вопросу о кредитах. Уайнбергер возразил, что мы не должны принимать решения только на основе пожеланий союзников. Президент Миттеран уже дал заверения в том, что процентная ставка по кредитам не будет увеличена с семи с половиной до двенадцати с половиной процентов. Что же касается якобы нарушения Соединенными Штатами суверенных прав союзных государств, то здесь всем должно быть ясно, что мы не пытаемся применять наши законы за границей. Ведь у «Дженерал Электрик» имеются частные контракты с европейскими держателями лицензий, такими как французская фирма «Альстом Атлантик» и британская фирма «Джон Браун», и она не только имеет право, но и обязана выполнить их. Закон требовал от американских компаний, чтобы они воздерживались от действий, которые прямо или косвенно нарушали то, что запрещено американским законодательством. Контракты, подписанные между «Дженерал Электрик» и «Альстом Атлантик», определенно указывали, что французский обладатель лицензии был обязан соблюдать Акт по регулированию экспорта, который президент Рейган ввел в действие с целью запретить торговлю, наносящую ущерб национальной безопасности[37]. Другими словами, если иностранные правительства дадут разрешения своим фирмам продать Советскому Союзу оборудование для строительства трубопровода вопреки американскому запрету, то они, а не Вашингтон, будут виновны в нарушении контракта. Санкции значительно повысят стоимость строительства трубопровода для Советского Союза. Рейган заявил, что французы отрицали, что в Версале было достигнуто какое бы то ни было понимание по вопросу о кредитах.

Выслушав все аргументы за и против, Рейган сказал, что Соединенные Штаты должны твердо отстаивать принципиальную

позицию, даже если это наносит вред нашим бизнес — интересам. Если положение в Польше значительно улучшится, мы отреагируем соответствующим образом. Он закончил заседание словами: «Я не для того попросил вас прийти сюда, чтобы вы были лишь подпевалами. Никакого наказания за несогласие не будет. Но и мое мнение вам не удастся изменить. Мы не пришли к общему мнению, но я твердо убежден, что мы находимся в решительный момент для мира — лучшего мира»[45].

22 июня было объявлено, что санкции в отношении трубопровода расширяются и коснутся дочерних компаний американских фирм и обладателей американских лицензий, потому что положение в Польше не изменилось к лучшему. Если бы санкции не были расширены, американские фирмы понесли бы убытки (что на самом деле и произошло с теми из них, которые аннулировали контракты на поставку оборудования для сибирского трубопровода), в то время как их иностранные партнеры и обладатели лицензий получили бы прибыли от бизнеса в нормальном режиме.

Три дня спустя Хейг подал в отставку, а президент принял ее. Отставка Хейга была непосредственно вызвана решением распространить санкции за пределы США. Он выступал против этого и был исключен из процесса принятия окончательного решения. Но сыграли роль и другие факторы. В Версале Хейг вел себя настолько вызывающе, что оскорбил Нэнси Рейган, чего в Белом доме при Рейгане не прощали. Из Версаля Кларк вернулся в ярости. Хейг предлагал свою отставку несколько раз и прежде, но каждый раз его переубеждали. Очевидно, он рассчитывал на это и теперь, но Рейган принял его отставку. Как Рейган объясняет в своих мемуарах, он находил невыносимой раздражительность Хейга и неприемлемым его стремление возглавлять внешнюю политику: «Единственное разногласие между нами было по вопросу о том, я или госсекретарь руководил политикой»[38]. В тот же день пост госсекретаря был предложен Джорджу Шульцу, президенту корпорации «Бечтел», который разбирался в международных делах меньше, чем Хейг, но у которого был более спокойный характер.

Относительно положения в Польше я был настроен оптимистично. Разговаривая с сотрудниками Госдепартамента, которые уже были готовы списать Польшу со счетов, я напомнил им, что Польша сумела сохранить свой национальный дух в течение полутора столетий иностранной оккупации и наверняка сумеет это сделать снова. В середине июня я сказал представителю «Солидарности» за границей, что «время работало на “Солидарность”» и «им следует быть терпеливыми, не давать

себя провоцировать, напоминать о своем существовании какими — либо символическими действиями и в конце концов политический режим будет вынужден пойти на компромисс». Та моральная поддержка, которую поляки получили от Соединенных Штатов, помогла им сохранить боевой дух и к концу десятилетия заставила коммунистов отказаться от власти.

К сожалению, решительность в Белом доме не продержалась долго, потому что Рейган подвергался неослабевающему давлению со стороны нескольких ведомств своей администрации, особенно министерства торговли и Госдепартамента, и, кроме того, со стороны союзников. Шульц имел намного большее влияние на Рейгана, чем Хейг, просто потому, что был более благоразумным и тактичным человеком. Однако, так как он был в первую очередь экономистом и бизнесменом, ему не хватало более глубокого понимания всего комплекса идеологических и политических проблем в наших отношениях с Советским Союзом. Как и большинству руководителей корпораций, ему было свой

ственно воспринимать наш конфликт с Советским Союзом так, как руководители корпораций воспринимают разногласия со своими профсоюзами. То есть они исходят из того, что обе стороны пекутся о благополучии предприятия и торгуются лишь о распределении прибылей. Но в отношениях с Советским Союзом не было места для компромиссов, за исключением второстепенных предметов, потому что Советский Союз действовал по принципу, что внешняя политика была игрой в одни ворота. В своих мемуарах Шульц описывает, как, заняв свой пост, он хотел «попытаться развернуть отношения [с Советским Союзом] от конфронтации к реальному разрешению проблем»[39]. Он исходил из соображений, основанных на здравом смысле, не понимая, что проблема заключалась в сущности советского режима с его идеологией и его номенклатурой и что невозможно вести переговоры о его собственном разрушении. Оно должно было произойти несмотря ни на что.

Чтобы создать для своей примирительной инициативы атмосферу серьезного подхода, 21 августа 1982 года Шульц организовал семинар по Советскому Союзу под председательством Хэла Зонненфельдта, когда — то работавшего вместе с Киссинджером. Участников этого собрания тщательно отбирали, в результате чего меня не пригласили и СНБ представлял Мак — Фарлейн[40].

Шульц не верил в санкции и решил прекратить их, подталкивая Рейгана в этом направлении на том основании, что они больше вредили американской экономике, чем советской. Измотанный постоянными дискуссиями о санкциях и не желая

игнорировать совет своего нового госсекретаря, Рейган начал колебаться. На заседании СНБ 15 октября Шульц заявил, что получил от союзников всевозможные заверения о взаимности, если мы отменим санкции. Насколько можно было судить, меры европейцев сводились к усилению роли КОКОМ — неэффективной организации, контролирующей экспорт стратегического оборудования коммунистам и заказывающей всевозможные «исследования».

На следующий день Кларк заявил на заседании СНБ, что положение в Польше настолько улучшилось, что санкции могут быть отменены. Эмбарго на оборудование для строительства трубопровода было отменено 13–14 ноября 1982 года. В ответ на эту уступку союзники абсолютно ничего не предприняли хотя бы для приличия, главным образом из — за происков французов. Я был подавлен таким поворотом событий; оказалось, что все, чего я добивался с начала года, было напрасным.

Отдавая дань советским диссидентам

В апреле 1981 года сенатор Роджер Джепсен из штата Индиана связался с Диком Алленом с просьбой устроить встречу Солженицына с президентом. Аллен передал это дело мне. Я придерживался мнения, что совет Киссинджера президенту Форду не принимать русского писателя был неправильным с моральной и политической точки зрения. Когда Солженицын прибыл в Соединенные Штаты в 1975 году, он был известен как героический диссидент и борец за права человека, и его следовало встретить подобающим образом. За прошедшие годы, однако, он сделал ряд политических заявлений, которые показывали, что если он терпеть не мог коммунизм, то и к демократии не испытывал особых симпатий. Как известно из истории фашизма и национал — социализма, антикоммунизм не означает автоматически симпатию к демократии. Антикоммунист в России, Солженицын на Западе быстро превратился в русского националиста, настроенного против Запада. Его идеалом было некое милосердное теократическое самодержавие, уходящее, как он верил, в русскую историю, но которое на самом деле существовало только в его воображении. Он занял позицию на правом националистическом фланге русской политической палитры, хотя сам и отрицал это, так как предпочитал положение пророка, стоящего над партиями.

Стоит добавить, что русские националистически настроенные эмигранты в США были очень недовольны моим назначением в СНБ. В апреле 1981 года, явно опираясь на мнение Солженицына, некая организация под названием «Конгресс русских американцев» призвала своих членов начать массовую кампанию отправки в Белый дом открыток с требованием моей отставки. К несчастью для ее организаторов, кампания так и не сдвинулась с места.

Сначала я предложил, чтобы Рейган послал Солженицыну поздравительное послание по поводу какого — нибудь подходящего события в знак признания его как писателя и автора книги «Архипелаг ГУЛАГ». Аллена не удовлетворило это предложение, и дело зависло на несколько месяцев. Осенью 1981 года на Аллена снова было оказано давление, и он попросил меня собрать сотрудников СНБ, чтобы сформулировать более подходящую рекомендацию. Мы собрались 9 октября. Карнес Лорд, занимавшийся вопросами прессы в СНБ, предложил пригласить Солженицына вместе с группой советских диссидентов различных политических взглядов, нескольких

русских демократов и религиозных деятелей, а также некоторых представителей различных этнических общин. Такая встреча отдавала бы дань всем оппонентам коммунизма, а не только тем, кто стоял на националистических позициях. Мне понравилось такое решение, и я направил это предложение Аллену. Аллен принял его, но в то время он был занят другими проблемами и не дал делу хода.

В марте 1982 года по настойчивым просьбам сенатора Джепсена и конгрессмена Джека Кемпа, Кларк — к тому времени Аллен покинул СНБ — согласился устроить ланч 11 мая для представительной группы советских эмигрантов, включая Солженицына. Полагая, по какой — то причине, что эта встреча может поставить президента в неловкое положение, Дивер предложил устроить вместо этого ланча встречу Рейгана с группой «этнических американцев». Когда эта затея не прошла, он приказал, чтобы никаких фотографий или заявлений по этому поводу не было, дабы не раздражать наших европейских союзников и Москву.

6 апреля эта история просочилась в прессу, что заставило меня заранее проинформировать Солженицына, чтобы он ожидал приглашения. Связаться с Солженицыным, однако, оказалось нелегким делом, потому что затворник городка Кавендиш в штате Вермонт, считавший себя главой государства в изгнании, не изволил предоставить свободный доступ к своей персоне даже для президента страны, в которой он нашел убежище. Из наведенных справок выяснилось, что некий православный священник в Вашингтоне знал, как с ним связаться. Вскоре после разговора со священником и просьбы аудиенции у Солженицына по телефону мне позвонила госпожа Солженицына. Когда я сообщил ей о предстоящем приглашении на ланч к президенту, она неохотно поинтересовалась, был ли приглашен кто — нибудь еще и если да, то кто? Но обсуждать этот вопрос отказалась и потребовала, чтобы приглашение было сделано в письменной форме. Несколько дней спустя русская эмигрантская пресса опубликовала сообщение о приглашении и намекнула, что Солженицын был оскорблен тем, что не один он был приглашен. Мы стали срочно ломать голову, как поступить, и решили, что перед ланчем президент примет Солженицына одного в течение пятнадцати минут.

Послание Солженицыну от имени президента, которое я написал 30 апреля, пошло на рассмотрение и утверждение Мак — Фарлейна. Я перестал думать об этом деле, пока один из сотрудников аппарата президента не пришел ко мне в кабинет в расстройстве, чтобы сообщить, что приглашение Солженицыну на

частную аудиенцию так и не было отправлено, потому что затерялось в кабинете Мак — Фарлейна. Сразу же была послана телеграмма с содержанием неотосланного письма от 30 апреля, но Солженицын счел себя оскорбленным вдвойне и наотрез отказался приехать. Вместо этого он послал президенту дерзкое письмо, в котором усматривал ответственность всевозможных темных сил за этот инцидент и обвинял Соединенные Штаты в замыслах ядерного нападения, направленного против российского населения. Он также отрицал, что он «эмигрант» или «диссидент» и закончил письмо тем, что у него (вероятно, в отличие от президента) нет времени на «символические встречи». Однако, заключил он, мы будем рады принять Рейгана в свое время: «когда вы уже не будете президентом и когда у вас будет полная свобода действий, и если вам случится быть в Вермонте, я сердечно приглашаю вас посетить меня». Он сожалел, что (по какой — то неуказанной причине) у него не было выбора, кроме как сделать это приватное письмо достоянием общественности. Я полагал, что Рейган будет разгневан этим письмом. Но, прочитав его, он спокойно заметил, что автор письма, вероятно, считал других диссидентов, вместе с которыми его пригласили, предателями. Это было проницательное суждение.

И действительно, «Вашингтон пост» в заметке об этом инциденте писала, что Солженицын «не считал для себя приемлемым, чтобы он, писатель, участвовал во встрече вместе с группой тех, кого он назвал политиками и профессиональными (!) эмигрантами»[41]. Радиостанция «Свобода», а ее директором в то время был страстный поклонник Солженицына, приняла непродуманное решение передать по радио много раз без комментария текст письма с абсурдным обвинением Соединенных Штатов в подготовке геноцида против российского населения. Русская эмигрантская пресса, вероятно с подачи Солженицына, обвиняла меня лично в «саботаже» встречи ее героя с президентом. Двадцать лет спустя, в своих воспоминаниях о пребывании в Соединенных Штатах, Солженицын возложил на меня ответственность за этот инцидент. Он обвинял меня в том, что я якобы испытываю «личную ненависть» к нему из — за критических замечаний, которые он сделал несколькими годами ранее о моей книге «Россия при старом режиме»[42]. (По правде говоря, я не обращал внимания на его критику, потому что было очевидно, что, не зная английского языка, он не мог прочитать мою книгу и поэтому сосредоточился на использованных в книге карикатурах, которые, не будучи знакомым с современными методами историографии, посчитал неподобающими для научного труда.) Мания величия, которую продемонстрировал

Солженицын в этой истории, оказалась предвестницей его неудач по возвращении в Россию двенадцать лет спустя. Его нетерпимость и позерство в роли пророка заставят отвернуться от него людей на его родине и в конце концов приведут к его маргинализации.

Ланч, где американский президент впервые встретился с группой советских диссидентов, прошел хорошо, но не без маленьких неувязок. Георгий Винс, баптистский пастор, заявил, что он не займет свое место за столом, если на нем будут алкогольные напитки. Их убрали. Представитель еврейской общины и видный лидер «отказников» Марк Азбель прибыл, одетый как «киббуцник» в синие джинсы и полосатую спортивную рубашку без галстука. Я сумел раздобыть ему галстук. За ланчем каждый гость говорил о невзгодах общины, которую он или она представляли. Рейган слушал внимательно и старался их развлечь своими самыми любимыми анекдотами про коммунистов. Он был весьма разочарован, когда выяснилось, что они уже знали их все. Он зачитал короткую и вполне безобидную речь, в которой выразил надежду, что свобода в Советском Союзе будет восстановлена. Когда ланч закончился, журналисты, поджидавшие снаружи, стали брать интервью у участников встречи. Они также попросили текст речи Рейгана. Когда я попытался достать ее, мне сообщили, что она не для печати. Это было особенно вопиющим примером того, как окружение Рейгана «защищало» его от него самого. Американская пресса в основном проигнорировала это событие. Московское радио задавало вопрос: «Возможно, Рейган испытывает наслаждение, встречаясь с людьми, которые за американские доллары клевещут на свою бывшую родину?»

Меня беспокоило то влияние, которое оказывал Солженицын и ему подобные на американское руководство, убеждая его в том, что русские националисты стоят во главе советского общественного мнения. Поэтому я убедил соответствующие органы в необходимости субсидировать, по крайней мере, одно либеральное прозападное издание. В результате появился ежемесячный журнал «Страна и мир» под редакцией Кронида Любарского, выходивший с 1984-го по 1992 год.

Ливан

6 июня 1982 года израильская армия вторглась в Ливан с намерением, с моей точки зрения вполне оправданным, разгромить значительные военные силы, которые разместила там Организация освобождения Палестины (ООП), и чтобы положить конец нападениям палестинцев на Израиль с ливанской территории. Создается впечатление, что произошел сбой координации между Вашингтоном и Иерусалимом, потому что американское правительство полагало, что речь идет об ограниченной операции, тогда как израильтяне рассматривали ее как большую стратегическую инициативу. Джордж Буш очень разозлился на израильтян за то, что он считал обманом с их стороны. Один чиновник из Госдепартамента сообщил мне, что Буш был за то, чтобы Соединенные Штаты голосовали в Совете Безопасности ООН за резолюцию, осуждающую Израиль за вторжение в Ливан. Но эти намерения Буша расстроили Хейг и Госдепартамент, который наконец — то стал сторонником решительных действий наших израильских союзников.

В какой — то степени я был тоже вовлечен в эти события, потому что Москва не теряла времени, выступив на стороне арабов. Утром 9 июня пришло большое послание от Брежнева с требованием, чтобы Соединенные Штаты оказали давление на Израиль и положили конец «крупномасштабной агрессии». Послание угрожало также советским участием с целью защиты своей безопасности в регионе, расположенном «в непосредственной близости от его южных границ»(?!) Ввиду этих угроз и сообщений разведки, что израильские и сирийские ВВС ведут бой, состоялось заседание Группы но критическим ситуациям. Царила атмосфера всеобщей неопределенности, но также и беспокойства по поводу возможности расширения конфликта. Уайнбергер настаивал на том, чтобы Вашингтон предпринял решительные шаги, сдерживающие израильтян.

Я принял участие в написании ответа Рейгана на письмо Брежнева. Оно было отправлено после полудня. Мой вклад в написание письма заключался в вежливом напоминании, что Советский Союз нес «немалую долю ответственности за разразившийся кризис на Среднем Востоке своим отказом поддерживать соглашения, достигнутые в Кемп — Дэвиде, а также своей готовностью бесконечно поставлять оружие силам ООП в Ливане». Мы также ожидали, что Советский Союз окажет сдерживающее «влияние на ООП, Сирию и [ее] других друзей в регионе».

Во время этих событий я не раз удивлялся антииз- раильским взглядам Буша и его недостаточному пониманию действий израильтян.

Директива по национальной безопасности № 75

В течение двух лет, что я находился в Вашингтоне, я работал с перерывами над текстом общих положений политики администрации Рейгана по отношению к Советскому Союзу, и к январю 1983 года работа над документом под названием «Директива по национальной безопасности № 75» была закончена. (Предыдущая администрация президента Картера не оставила после себя подобного документа.) Окончательный вариант текста этой директивы содержал пункты, которые противоречили всем предыдущим положениям, определявшим курс американской политики в отношении Москвы. Новое было в том, что директива призывала не только адекватно реагировать на неприемлемое поведение Советского Союза, но и предпринимать все возможное для того, чтобы избегать такого поведения путем стимулирования изменения сути советского режима, исходя из того, что именно она была источником такого поведения. Не приписывая самому себе слишком много, я, тем не менее, могу утверждать, что эта идея была моим главным вкладом во внешнюю политику администрации президента Рейгана. Потребовалось много внутриаппаратного маневрирования для того, чтобы преодолеть устоявшиеся модели мышления, особенно в Госдепартаменте.

В академической среде и в правительственных кругах существовал некий консенсус относительно Советского Союза и нашей политики в отношении него, основывавшийся на трех, казалось бы, очевидных и неоспоримых положениях:

1. Нравится вам это или нет, но Советский Союз существует. Давая отпор всевозможным внутренним и внешним вызовам и преодолевая самые трудные препятствия с октября 1917 года, он продемонстрировал, вне всякого сомнения, свою жизнеспособность. Его успехи не могли быть достигнуты без народной поддержки.

2. Из этого следовало, что у некоммунистического мира не было другого выбора, кроме как принять советский блок таким, каков он есть, и стремиться максимально нейтрализовать источники трений с ним. Если этого не сделать, то Советский Союз станет еще более воинственным, и это повысит риск ядерного холокоста. Лучший способ понизить уровень трений — это проведение встреч на высшем уровне, переговоров по контролю над вооружениями, а также налаживание широких

контактов между гражданами двух сообществ. В долгой перспективе такая политика приведет к настоящему сосуществованию между коммунистическими и некоммунистическими обществами, которые на самом деле не такие уж различные, как можно было бы предположить из их идеологических разногласий.

3. Такие примирительные меры необходимо сопровождать политикой «сдерживания» всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, кроме прямой военной конфронтации, чтобы предотвратить расширение сферы влияния Москвы.

Эти убеждения, начиная с 1920-х годов, усиливались верой деловых кругов у нас и за рубежом в то, что торговля способствует миру. Эта вера подвигала бизнесменов поддерживать менее угрожающий, чем в действительности, образ Советского Союза, чтобы получать прибыль от торговли с ним, притом что большая ее часть велась на основе государственной гарантии кредитования.

Весь этот комплекс идей, как показал быстрый распад советского режима в 1991 году, оказался совершенно нереалистичным. В действительности режим не был ни стабильным, ни популярным и политическая стратегия, основанная на предположении о его незыблемости и поддержке народом, была в основе своей ошибочной. Тем не менее, с 1960-х годов и до самого краха коммунизма, такие представления фактически господствовали в респектабельном общественном мнении как в США, так и в Западной Европе.

Хотя те, кто придерживался таких взглядов, будут решительно это отрицать, их мышление и поступки не очень отличались от того, как вели себя британские умиротворители Гитлера, движимые понятным желанием предотвратить еще одну мировую войну и приписывавшие врагу рациональное мышление и ограниченные цели. Они тоже доверяли ему больше, чем его оппонентам. Они так же глубоко верили в пользу личных контактов с нацистскими лидерами и так же отвергали как поборника войны всякого несогласного с их тактикой, например Уинстона Черчилля. До прихода Рейгана на пост президента, я уверен, позиция Госдепартамента по отношению к Москве не сильно отличалась от той, которая преобладала в британском МИДе в тридцатые годы. И она оставалась такой же, хотя и несколько приглушенной, в течение всех восьми лет его президентства.

Русские умело использовали такое положение. Публично они настаивали на том, что мы все «в одной лодке», нагнетали ядерную истерию, представляя самих себя как страну, которая

стремится догнать Соединенные Штаты. В частных разговорах с американскими официальными лицами, как я узнал, читая записи бесед между госсекретарями и их советскими коллегами, последние всегда придерживались одной и той же линии: Соединенные Штаты не имеют права ставить отношения с Советским Союзом в зависимость от действий Москвы на мировой арене. Эти отношения должны быть строго двусторонними и фокусироваться на переговорах о сокращении вооружений. Советский министр иностранных дел Громыко неуклонно отказывался обсуждать советские действия в Афганистане, в Польше или в Центральной Америке на том основании, что все это было внутренним делом этих стран. В переписке с президентом Москва придерживалась той же линии.

Эта тактика пользовалась значительным успехом, так как русские еще со времен Ленина чрезвычайно умело использовали слабости своих противников. В долгой перспективе это оказалось сомнительным преимуществом для них, потому что они недооценивали нашу силу, так же как и мы переоценивали их силу. Наша ошибка, в конце концов, обошлась нам дешевле.

Реакция советологического сообщества как внутри правительства, так вне его на враждебную Москве риторику Рейгана была основана на опасении, что ткань взаимного сотрудничества, с таким трудом сотканная в период разрядки напряженности, будет повреждена и отбросит отношения двух стран за пределы, откуда нет возврата. Сторонники разрядки настолько привыкли к символическим и в значительной степени бесполезным встречам на высшем уровне и переговорам по ограничению вооружений, что отказ Рейгана в его первый президентский срок участвовать как в тех, так и в других был с их точки зрения преддверием полного нарушения равновесия сил (воображаемого), которое так кропотливо создавалось после смерти Сталина. Месяц спустя после избрания Рейгана Бернард Фельд, профессор Массачусетского технологического института и редактор «Бюллетеня американских ученых — атомгциков», заявил, что его издание решило подвинуть стрелки часов на обложке, символически показывающие приближение конца света, с семи до четырех минут до полуночи, потому что «по мере того как 1980 год подходил к концу, мир, казалось, двигался неуверенно, но *неумолимо* к ядерной катастрофе»[43]. Это означало, что те самые ученые, которые дали нам атомную бомбу, считали, что вероятность Армагеддона находилась в пределах 0,0028 процента, что в километровом масштабе соответствовало 2,8 сантиметра.

Шум, поднятый напуганными «экспертами», не имел

реальных оснований. У них не было ни малейшего понятия о том, какие люди управляли Советским Союзом, что двигало ими и к чему они стремились. Когда двадцать лет спустя читаешь их «Бюллетень», создается впечатление, что он был написан кучкой истерических невежд, которые разбирались в физике, но мало в чем еще. Незнание истории и отсутствие воображения формировало у них убеждение, что советские лидеры были движимы паранойей, вызванной столетиями вторжений (мнимых), и что главная задача американской дипломатии заключалась в том, чтобы постоянно успокаивать их, поэтому делался упор на встречи на высшем уровне и на переговоры по контролю над вооружениями. Бытовало мнение, что чем более сурово относиться к русским, тем более упрямыми и агрессивными они станут.

В июне 1982 года меня посетил канадский посол в Москве Роберт А. Д. Форд, который выразил такого рода общепринятые взгляды, надеясь убедить меня, что наша политика по отношению к Советскому Союзу была в основе своей неправильной. «Наилучшая политика, — уверял он меня, — должна убедить советское руководство, что Соединенные Штаты не желают развала режима и распада империи. Только такая политика имеет шанс убедить Москву сократить военные расходы и заняться своими внутренними преобразованиями»[46].

Каждая сентенция в этом высказывании оказалась ошибочной. Это был пример «зеркального отражения» в самом худшем его варианте. Я не слышал о том, чтобы посол Форд или какой — нибудь другой дипломат, имевший такие взгляды, когда — нибудь отказался от них или признал, что он ошибался.

В наши дни трудно понять те страсти, которые порождали переговоры по контролю над вооружениями. Это было непосредственным результатом активно распространяемого Москвой мнения, что в ядерный век единственное, что имело значение, — это избежать войны; следовательно, не нужно чинить препятствий коммунистической деятельности в любой части мира, потому что не делалось ничего, кроме поддержки стихийных местных движений за социальную справедливость и/или национальное самоопределение. При поддержке западного либерального общественного мнения Москва настаивала на том, что переговоры по контролю над вооружениями были альфой и омегой отношений между Востоком и Западом. Ничто другое не имело значения. На самом же деле эти переговоры были пустым ритуалом — для внушения напуганному обществу, что они уменьшали угрозу ядерной войны и таким образом склоняли Запад быть более уступчивым Москве.

Если рассуждать беспристрастно, позиция лобби по контролю над вооружениями основывалась на явном противоречии. Те же самые люди, которые, чтобы предотвратить наше наращивание вооружений, настаивали на том, что ядерное превосходство не имеет никакого смысла, считали необходимым уменьшить наш ядерный арсенал. С одной стороны, они изображали ядерное превосходство как нечто бесполезное на том основании, что обе стороны уже имеют арсеналы, достаточные для того, чтобы уничтожить жизнь на земле сто и более раз. А с другой — утверждали, что прекращение наращивания этих арсеналов делало мир более безопасным. Каким образом? Почему мы должны чувствовать себя в большей безопасности, если вместо того, чтобы быть уничтоженными сто раз, у нас была бы перспектива уничтожения «только» пятьдесят раз? Или десять раз? Эта логика не имела никакого смысла, но миллионы людей тем не менее дали себя убедить, что переговоры по контролю над вооружениями делали завтрашний день более безопасным.

В 1980 году в Чикаго я принял участие в диспуте с известным вашингтонским адвокатом Полом Уорнке, который ранее возглавлял Агентство по контролю над вооружениями и разоружению. Он утверждал, что, если Договор по ограничению стратегических вооружений (ОСВ-2) не будет ратифицирован, возрастет вероятность третьей мировой войны. На самом деле этот договор никогда не был ратифицирован и никакой третьей мировой войны не последовало. Строб Талбот, в то время журналист, работавший для еженедельника «Тайм», а позднее заместитель госсекретаря при Клинтоне, опубликовал в 1984 году книгу «Смертельный гамбит», в которой подверг критике отказ Рейгана возобновить переговоры по контролю над вооружениями, что, исходя из названия книги, автор считал чреватым потенциальной катастрофой.

Истина была противоположна тому, что все считали правильным: чем в большей безопасности чувствовали себя советские лидеры, тем более агрессивно они себя вели, и наоборот. Единственный раз, когда они проявили уступчивость и сговорчивость по отношению к иностранной «капиталистической» державе пришелся на 1940–1941 годы, когда они опасались, что, завоевав континентальную Европу, Гитлер повернет против них. Чтобы умиротворить его, они увеличили поставки продовольствия и стратегических материалов и даже выдали ему германских коммунистов, нашедших убежище в Москве. Нужно признать, что в отношениях с США они проявляли озабоченность, но эта озабоченность имела иные причины, чем те, которые приписывало ей общепринятое мнение. Пока Соединенные Штаты

были свободными и процветающими, советские лидеры не могли быть спокойны, потому что эти свобода и процветание были занозой, угрожающей их авторитету в собственной стране. Поэтому, что бы мы ни предпринимали, исключая саморазрушение, они видели в нас угрозу и действовали агрессивно, особенно если полагали, что могут делать это безнаказанно. Как выразился Джордж Кеннан, они были враждебны к нам не по тому, что мы делали, а по тому, кто мы есть. Агрессивность была присуща их системе. Только после развала этой системы стал бы возможен мир, что и случилось после 1991 года.

Но в то время подобные рассуждения казались совершенно бессмысленными. Когда администрация Рейгана приняла стратегию подталкивания Советского Союза к реформе, она натолкнулась на стену враждебности как внутри, так и вне правительственных кругов. В 1984 году Талбот писал: «В частных разговорах некоторые чиновники администрации президента, особенно профессиональные дипломаты и аналитики разведки с большим опытом работы по советским делам, не только отвергали идею о том, что Соединенные Штаты могут влиять на советскую внутреннюю политику, но и верили в то, что советские деятели принимали подобного рода теоретизирование таким, каким оно было на самом деле: не экстремистским,

широко распространенным на периферии правительственных кругов»[47].

Талбот отметил меня как главного «теоретика» «подобного спорного утверждения об уязвимости внутренних процессов в Советском Союзе по отношению к внешнему воздействию» и соглашался с советскими представителями в том, что я был «экстремистом».

Нужно признать, что взгляд Рейгана на советский режим, в основных чертах правильный, не был до конца продуманным. Он считал, что коммунистические лидеры, как и все главы государств, были озабочены благосостоянием своих народов, и если они не могли обеспечить им свободу и процветание, то только потому, что были пленниками ошибочной идеологии. На одном из заседаний СНБ (25 марта 1982 г.) он вслух задался вопросом о том, наступит ли когда — нибудь день, когда Советский Союз окажется в таком трудном экономическом положении, что мы сможем сказать его руководству: «Вы получили урок? Если вы вернетесь в цивилизованный мир, мы поможем вам и сделаем замечательные вещи для вашего народа». Лишь позже он понял, что советская номенклатура была заинтересована в том, чтобы население оставалось бедным и

голодным.

В то же время он прекрасно понимал, скорее интуитивно, чем осмысленно, в чем главная слабость советского режима. Каким образом это ему удалось, я так и не понял, но мне кажется, что важную роль играл его сильный моральный дух, и в делах с тоталитарными режимами он редко прибегал к обычным «реалистичным» и «прагматичным» подходам. Точно так же Черчилль понял сущность коммунизма почти с момента его установления в России, как и сущность национал — социализма пятнадцать лет спустя. Его голос, как и голос Рейгана, был почти единственным голосом мужества в хоре тех, кто требовал примирения.

Но несмотря на весь свой непримиримый антикоммунизм Рейган был вполне готов к тому, чтобы спокойно вести переговоры с Москвой. Он ужасался перспективе ядерной войны. Он также полагал, что сможет найти отклик в душе советских лидеров, веря в то, что они, как и мы, — люди, но только ослепленные коммунистической доктриной. В апреле 1981 года, оправляясь от покушения на свою жизнь, Рейган написал личное письмо Брежневу, чтобы обратиться к его гуманизму. Письмо было представлено на рассмотрение сотрудникам СНБ и некоторым другим. Прочитав его, мы переглянулись, не зная, что думать: настолько оно было сентиментальным и расходилось с публичными высказываниями Рейгана[44]. Рейган намеренно написал его от руки, чтобы придать ему личный характер, и был разочарован, получив напечатанный ответ, который заставил его усомниться, что Брежнев вообще видел его письмо[45].

Поскольку Рейган знал, чего хотел, но не мог сформулировать свою позицию так, чтобы она была доступна профессионалам внешней политики в стране и за рубежом, я взялся это сделать от его имени. Я намеревался сформулировать теоретическое обоснование его советской политики в надежде, что оно ляжет в основу официального документа. Через несколько дней после того как я пришел в СНБ, я попросил у Аллена разрешения написать тезисы, излагающие основные принципы политики администрации Рейгана по отношению к Советскому Союзу. Аллен согласился.

Однако эта инициатива была принята в штыки Госдепартаментом, которому не нравился сам замысел подобных тезисов, так как здесь пахло «идеологией», этим «пугалом» Госдепартамента. Он опасался, что подобный политический документ узаконит пока лишь ограниченный риторикой воинствующий антикоммунизм Рейгана, что в результате приведет к бесконечным проблемам с союзниками. Но если это

необходимо было сделать, Госдепартамент настаивал, что нужно это делать в Госдепартаменте, а не в Белом доме. В конце февраля 1981 года Хейг поручил Полу Вулфовицу написать документ о «стратегии политики в отношении Советского Союза». Вулфо- виц, в прошлом студент Альберта Волыитеттера и член команды «Б», был талантливым молодым специалистом по военным делам, но ни в коем случае не специалистом по Советскому Союзу.

В начале марта Госдепартамент созвал первое совещание представителей министерств по этому вопросу, на котором я присутствовал вместе с Алленом. Под председательством заместителя госсекретаря и бывшего посла в Москве Вальтера Штосселя дискуссия тянулась бесцельно, пока потерявший терпение Аллен не сказал: «Вам нужен доклад или политический курс?» Позднее, в том же месяце, я получил копию доклада Вулфовица под названием «Восток — Запад». Это был типичный продукт Госдепартамента, изготовленный, без сомнения, многими руками. В нем указывалось, как нам следует реагировать на советскую агрессию, но не было каких — либо предложений об инициативах. 30 марта 1981 года я в таких словах сообщил Аллену мою реакцию на доклад: «Ничто из вышесказанного не представляется мне как нечто смелое, инновационное или имеющее шанс на успех. *Мы должны добиться того, чтобы Советский Союз занял оборонительную позицию*. Я не могу выразить центральную мысль советской политики Рейгана более сжато. Чтобы этого добиться, нам необходимо вырвать инициативу из их рук и использовать их внутренние трудности, которые постоянно усугубляются. Госдепартамент не способен мыслить такими категориями. Я предлагаю, как и положено, прокомментировать этот доклад и положить его на полку, чтобы действовать, исходя из нашего собственного понимания положения».

Госдепартамент, однако, не отступал. Провели еще несколько заседаний, каждое из которых под председательством нижестоящего сотрудника. В июле под председательством Штосселя было проведено еще одно совещание для обсуждения доклада «Восток — Запад». В ответ на наши возражения он был выдержан в более жестком духе, но все же оставался вялым. Во время дискуссии я спросил: «Чего мы надеемся достичь нашей политикой?» Этот вопрос вызвал всеобщее замешательство: сосредоточившись на средствах, авторы доклада совершенно упустили конечные цели. Ответа не последовало. Он так и не был дан, и в конце концов доклад положили на полку.

Отсутствие основополагающего документа, объясняющего

смысл нашей политики в отношении СССР, создавало серьезные проблемы. В дискуссиях с союзниками, сопровождавших различные кризисы в наших отношениях с Москвой, мы никогда четко не объясняли, чего мы добивались нашими контрмерами. Мы их просили сотрудничать с нами, но оставляли их в неведении относительно наших целей. Поэтому они чаще всего неправильно понимали наши публичные высказывания и наши действия, воспринимая их как патологический антикоммунизм, настолько же опасный, как и бесполезный, лишенный всякого объяснения и смысла. По этой причине они чаще всего отказывались поддерживать нас. В тех же *случаях*, когда предоставлялась возможность объяснить нашу стратегию европейскому журналисту или дипломату, их реакцией было удивление, что у нас действительно была цель. Рейган выступал с проникновенными речами против коммунизма, но он никогда так и не разъяснил спокойно, без эмоций теоретические основы своей политики.

В мае 1981 года я отдал Аллену подготовленный мною доклад, надеясь, что он направит его президенту. Но Аллен держал рукопись на своем столе несколько месяцев без всякого движения. Только в сентябре он созвал небольшую группу сотрудников для обсуждения доклада. Реакция была положительная, но после окончания совещания Аллен сказал мне, что у президента нет времени его читать. Он подал его Рейгану только незадолго до Дня благодарения, за несколько дней до ухода в отпуск, из которого на работу он не вернулся.

Все это происходило на фоне одного очень неприятного инцидента, который вновь подчеркнул неуверенность Аллена в себе. 8 ноября 1981 года после собрания сотрудников я подошел к нему спросить о предстоящей речи президента по внешней политике. В тот день я записал в дневнике:

Прежде чем я сумел что — либо сказать, он повернулся к [своей ассистентке] Джанет [Колсон] и спросил: «Вы ему уже сказали?» Она покачала головой. «Уберите титульный лист!» (Он имел в виду мой доклад «Советская политика Рейгана», который должен был быть отправлен РР [Рональду Рейгану] и на титульном листе которого было мое имя. Когда я пришел на работу, была договоренность, что на докладах РР, написанных мною, будет указано имя автора.) Я сказал что — то относительно нашего уговора, но он оборвал меня: «Уберите титульный лист! Я же просил вас!» Он добавил, что РР узнает, кто это написал.

В таком тоне со мной не разговаривал никто с тех пор, как я был рядовым в армии. Такое отношение значительно убавило мое

сожаление по поводу увольнения Аллена вскоре после этого, особенно еще и потому, что у меня не было причин полагать, что он действительно сказал Рейгану, кто был автором документа.

Выпад Аллена, возможно, был следствием того факта, что к тому времени он и сотрудники СНБ попали под возраставший огонь критики со стороны СМИ. Причем были все признаки того, что кампания управлялась Белым домом. Нападки продолжались все лето и усилились к концу года. Журнал «Ньюсуик» начал короткое, но жесткое наступление на Аллена в ноябре 1981 года публикацией, в которой утверждалось, что сотрудники СНБ были сильно уязвлены сообщениями об их якобы некомпетентности: «Все, что они просят, — это шанс быть некомпе — тентными»[46]. Неделю спустя, 27 ноября, журнал Уильяма Бакли «Нэшнл ревью», который Рейган весьма уважал, обрушился на Аллена за то, что он, как утверждалось, не справлялся с руководством СНБ, и советовал перевести его на работу в министерство торговли. Журнал упомянул и меня, как «самую яркую звезду на небосклоне СНБ», и добавил, что, согласно слухам, я чувствовал, что «мои способности не используются в полной мере, и был скован как скакун в цирке, который вынужден бежать по слишком маленькой арене»[47]. Некоторые интерпретировали эти слова как способ, избранный Бакли, выдвинуть меня на пост Аллена. Естественно, все это очень нервировало Аллена. С глазу на глаз некоторые друзья советовали мне связаться с Хейгом, чтобы выяснить, могу ли я перейти на работу в Госдепартамент, но я проигнорировал этот совет. Однако такое положение вещей меня очень огорчало, и в июле я записал в своем дневнике: «Совет по национальной безопасности мертв».

Действительно было много признаков того, что в СНБ царил разброд. Достаточно привести такой случай в качестве примера. В начале ноября 1981 года Госдепартамент послал мне черновик письма Рейгана к Брежневу всего в два предложения в связи с предстоящей годовщиной большевистской «революции» 1917 года. Во втором предложении было выражено пожелание «благополучия» Брежневу. Я убрал это предложение и оставил только первое, вполне безобидное. К своему удивлению, я вскоре узнал, что за несколько дней до этого адмирал Нэнс, один из двух административных помощников Аллена, не посоветовавшись со мной, уже одобрил текст Госдепартамента. Я связался с нашим посольством в Москве, чтобы они не передавали послание, но было уже поздно.

В докладе о принципах американской политики в отношении СССР я выдвинул четыре основных тезиса:

— Коммунизм по своей сути — учение экспансионистское. Его

экспансионизм спадет, если только система

рухнет или, по крайней мере подвергнется глубокому реформированию.

— Сталинистская модель… в настоящее время стоит на пороге глубокого кризиса, вызванного хроническими экономическими неудачами и трудностями в результате чрезмерной экспансии.

— Наследники Брежнева и его сталинистские аппаратчики со временем, вероятно, расколются на фракции «консерваторов» и «реформаторов», причем последние будут добиваться определенной политической и экономической демократизации.

— В интересах Соединенных Штатов способствовать развитию реформистских тенденций в СССР путем двоякой стратегии: ***поддерживать реформаторские силы внутри СССР и поднимать цену, которую Советский Союз должен будет заплатить за свой империализм***[48].

На обложке доклада Рейган написал: «Очень обоснованно». Это эссе было передано Тони Долану, одному из главных составителей речей в Белом доме, и оно стало теоретической основой для знаменитой лондонской речи Рейгана в июне 1982 года.

Мой подход совершенно противоречил стандартной американской политике по отношению к СССР в период «холодной войны», основанной на поведенческой психологии: наказывать за агрессию и поощрять хорошее поведение, но тщательно избегать вмешательства в дела самого режима. С моей точки зрения, такой подход был тщетным, потому что, как я уже отмечал выше, именно система подталкивала Советский Союз к агрессии. А раз так, мы должны были делать все, что в наших силах, чтобы изменить систему, главным образом политикой экономического давления и энергичной программой вооружений. Первое вынуждало бы Москву реформировать свою командную экономику, а второе должно было показать ей бесполезность попыток достигнуть военного превосходства над нами.

Политика сдерживания, которая оставалась краеугольным камнем американской политики по отношению к Советскому Союзу, уже давно изжила себя. Она предполагала противодействие советской территориальной экспансии, чтобы создать внутреннее давление, которое со временем приведет к переменам. Этот подход был явно старомодной концепцией, потому что империализм рассматривался в традиционном территориальном плане, как военная экспансия Советского Союза, подобно нацистской Германии. В действительности с 1917 года коммунисты придумали целый набор инструментов завоевания, среди которых непосредственно военные действия

были лишь одним из средств и далеко не самым важным. Вторжение в Афганистан в 1979 году было первым примером после неудачного вторжения в Польшу в 1920 году, когда Советская армия была использована в мирное время в целях экспансии. Излюбленным методом коммунистов была работа изнутри, путем политической подрывной деятельности и создания экономической зависимости. После того как Китай был захвачен коммунистами в 1949 году, политика сдерживания утратила свою действенность. За годы, последовавшие за этим, Москва преодолела наши преграды и создала зависимые от себя режимы на каждом континенте: в Африке это были Эфиопия, Ангола и Гана; в Азии — Северная Корея и Северный Вьетнам; в Центральной Америке — Куба, Чили и Никарагуа. Ни в одной из этих стран Москва не устанавливала свою гегемонию военными средствами. Как показала наша неудачная война во Вьетнаме, остановить коммунистическую экспансию военными средствами было невозможно, так как метастазы коммунизма распространялись по всему миру. Следовательно, было безнадежным предприятием пытаться предотвратить его дальнейшее распространение на периферии; нужно было нанести удар в самое сердце советского империализма, по его системе.

Но эта точка зрения оставалась невысказанной, потому что Госдепартамент положил под сукно свои тезисы и проигнорировал мои. 5 марта 1982 года я написал Кларку, что не стоит и надеяться на то, что мы сумеем добиться поддержки союзников в нашей жесткой политике по отношению к советскому блоку (которая в то время включала санкции), если мы не сумеем ясно объяснить ее суть. Я процитировал слова из недавней речи французского министра торговли Мишеля Жубера, который сказал: «Вы просите нас отправиться вместе с вами, но не говорите, куда мы направляемся и куда этот путь нас приведет». Для того чтобы ответить на этот вполне резонный вопрос, я предложил разработать Директиву по национальной безопасности в отношении Советского Союза, в которой содержалось бы теоретическое обоснование важной речи, которую президент должен был произнести во время своего визита в Европу в июне. Кларк дал согласие на то, чтобы я сформулировал основные положения для этого документа. Первый вариант текста был готов 10 марта, но надежда на то, что директива будет готова к концу апреля, была нереалистичной, главным образом из — за сопротивления Госдепартамента. 23 марта Пойндекстер сказал мне, что мои «Основные положения» поднимут шум в Госдепартаменте. Он предложил отложить их в сторону и вместо этого вытереть пыль с доклада Госдепартамента прошлого года

«Восток — Запад» и вставить туда некоторые из моих идей. Стремясь избежать конфликта с Госдепартаментом, Кларк принял это предложение, но из затеи ничего не вышло, потому что было невозможно внести изменения в старый доклад. В записке к Кларку я писал:

«Основное различие между моей позицией и позицией Госдепартамента заключается в философском подходе к проблеме. Госдепартамент полагает, что мы должны довольствоваться попыткой влиять на советское **поведение,** поощряя СССР, если он ведет себя мирно, и наказывая, когда это не так. В соответствии с тем, что, как мне кажется, отражает мысль президента, я в противоположность данному подходу утверждаю, что поведение есть следствие **системы** и что наша политика (например, недавно введенные санкции и ограничения на кредиты) направлена на изменение системы как предпосылки изменения поведения (например, вынудит Советский Союз изменить свое экономическое устройство). Самый спорный пункт в прилагаемых «Основных положениях» заключается в следующем предложении: [Обзор] «будет исходить из того, что поведение Советского Союза на международной арене является реакцией не только на внешние угрозы и возможности, но также и на внутренние императивы советской политической, экономической, социальной и идеологической системы». Госдепартамент, вероятно, будет бороться против этого положения всеми силами, однако, я полагаю, что оно выражает самую суть президентского подхода».

Хотя политический доклад не был готов к поездке президента, было принято решение, что президент сделает важное заявление по поводу нашей политики по отношению к Советскому Союзу в речи во время своего предстоящего визита в Англию. В конце апреля Госдепартамент представил проект речи, в написании которой я не участвовал, и направил ее на утверждение в СНБ, но не через меня, а через другого сотрудника. Речь была наполнена типичной клишированной риторикой. Однако я был удовлетворен тем, что авторы документа все — таки приняли, хотя и в усеченной и смягченной форме, мой принцип, что «сущность советской системы влияет на ее внешнюю политику». Но я отказался принять этот документ и подал вместо него собственный вариант. Президент, таким образом, получил два варианта речи. Он отверг вариант Госдепартамента и выразил желание, чтобы новый вариант речи подготовил Тони Долан, талантливый спичрайтер Белого дома, написавший большинство речей Рейгана по вопросам коммунизма. (Именно он был автором выражения «империя зла».) Долан в свою очередь спросил меня о

моих предложениях. Он вставил в свой текст абзац из моего варианта, в котором объяснялось в марксистских терминах, почему Советский Союз находился, по выражению коммунистов, в «революционной ситуации».

Изначально предполагалось, что президент выступит перед палатой общин в Вестминстере, Доме парламента, и именно это предложила премьер — министр Маргарет Тэтчер. Но местная оппозиция не допустила этого. Английская элита считала Рейгана опасным простаком, и он вынужден был довольствоваться менее престижным местом выступления в Королевской галерее в палате лордов. Несмотря на то что поначалу он заявил нам, что не согласится на «второе по значимости место», он все — таки воспринял этот недоброжелательный выпад с чувством юмора. В своей речи 8 июня 1982 года Рейган сказал: «В ироническом смысле Карл Маркс был прав. В настоящее время мы являемся свидетелями большого революционного кризиса; кризиса, в котором экономика приходит в прямое столкновение с политическим порядком. Но этот кризис происходит не на свободном немарксистском Западе, а на родине марксизма — ленинизма в Советском Союзе… То, что мы там наблюдаем, — это политическая структура, которая более не соответствует экономическому базису, и общество, где производственные силы не могут развиваться из — за политических оков»[49].

Лондонская речь взбесила русских больше, чем что бы то ни было из того, что Рейган говорил со дня вступления в должность. Они хорошо осознали ее последствия: по марксистской терминологии СССР стоял перед лицом неминуемого краха и, следовательно, не являлся державой, чьи интересы следовало принимать во внимание и переговоры с которой не стоили затраченных усилий[50]. Она послужила теоретической основой для речи, которую Рейган произнес годом позже в университете «Нотр Дам» и в подготовке которой я также участвовал. В ней Рейган сказал, что мы «переживем» коммунизм. Русские правильно приписали упоминание Маркса в лондонской речи мне. Журналист, вернувшийся из Москвы вскоре после этого, сообщил мне, что мое имя стало широко известно в России и что по влиянию на советскую политику меня считали равным Бжезинскому. Несмотря на то что в речи указывалось, что Советский Союз саморазрушался, официальный советский комментатор, прибегая к обычному «диалектическому» мышлению, охарактеризовал ее как заявление о том, что Соединенные Штаты намереваются разрушить Советский Союз. Когда я сообщил Рейгану об этих реакциях, он ответил: «Итак, мы затронули нерв».

13 июля 1982 года в Госдепартаменте состоялось совещание, чтобы обсудить мои тезисы для Директивы по национальной безопасности. Помощник госсекретаря по европейским делам Ричард Бёрт подтвердил в приватном разговоре, что чиновники Госдепартамента на самом деле не хотели принимать никакого документа, определяющего нашу политику.

После ухода Хейга Кларк был полон решимости восстановить авторитет СНБ в процессе осуществления внешней политики и для этого отдал распоряжение его сотрудникам готовить проект директив. В последующие месяцы время от времени происходили дискуссии с Госдепартаментом по поводу Директивы в отношении политики к СССР, но Кларку нравился мой вариант и в конце концов он был принят с некоторыми изменениями. В начале ноября 1982 года Госдепартамент уступил по самому спорному пункту моих тезисов (атаковать «систему»), что давало нам возможность продвигаться вперед в написании того, что стало известно как Директива по национальной безопасности № 75. Этот документ в настоящее время рассекречен и опубликован[48]. Ключевым был второй параграф. Он определял как одну из важнейших задач Соединенных Штатов в их отношениях с СССР:

Способствовать в предоставленных нам ограниченных рамках процессу перемен в Советском Союзе в направлении к более плюралистической политической и экономической системе, при которой власть привилегированной элиты будет постепенно уменьшаться. Соединенные Штаты исходят из того, что советская агрессивность имеет глубокие корни во внутренней системе и что отношения с СССР должны, таким образом, принимать во внимание, будет или нет проводимая политика способствовать укреплению системы и ее способности проводить агрессивную политику.

Несмотря на робкое выражение «в предоставленных нам ограниченных рамках», вставленное по настоянию Госдепартамента, такая формулировка представляла собой большую победу над Госдепартаментом и над общепринятым мышлением советологического сообщества.

Однако Госдепартаменту удалось одержать маленькую победу. В первоначальном варианте, который я представил, содержались два предложения под заголовком «Экономическая политика». В них были следующие рекомендации:

Побудить СССР переориентировать средства и ресурсы с оборонного сектора на инвестиции в экономику и в производство товаров широкого потребления.

Воздержаться от предоставления помощи Советскому Союзу в

разработке его природных ресурсов и получении с минимальными для него затратами доходов в твердой валюте.

Как Госдепартамент, так и министерства финансов и сельского хозяйства возражали против обоих предложений, а министерство торговли возражало против второго. Почему они возражали, остается тайной для меня до сих пор, так как эти предложения только детализировали принципы, изложенные выше.

Марк Палмер позвонил из Госдепартамента попросить, а точнее «потребовать», чтобы я убрал эти два пункта из окончательного текста, но Кларк передал мне через Пойндекстера распоряжение их оставить. Таким образом, текст, который я представил для обсуждения от имени СНБ, включал оба спорных предложения. Однако, по — ви- димому, незадолго до заседания СНБ в то утро Шульц, которого не было в городе, связался с Рейганом и уговорил его убрать эти два предложения.

Текст Директивы по национальной безопасности № 75 был предметом обсуждения на заседании СНБ, которое Кларк тактично назначил на 16 декабря, то есть за день до окончания моей работы в Совете. Невзирая на возражения Уайнбергера, Рейган настоял на том, чтобы два спорных пункта были изъяты из текста, потому что они просочатся в прессу («Мне придется читать о них в «Вашингтон пост»), что даст русским материал для пропаганды. «Мы знаем, что будем делать, и нам необязательно это описывать», — сказал он. Это объяснение показалось мне странным, потому что весь документ «описывал», что мы будем делать. Я полагаю, что главная причина отказа от этих пунктов была в том, что они напоминали о санкциях по трубопроводу, которые причинили столько неприятностей и которые были отменены только несколькими неделями раньше. Большая часть заседания была посвящена разъяснению и уточнению выражений, касавшихся экономических мер. Рейган принимал активное участие в обсуждении. Он настаивал на своем нежелании, чтобы в документе были формулировки, «исключающие компромисс и тихую дипломатию». В конце концов было решено рассматривать экономические отношения с Москвой по каждому конкретному проекту без формулирования каких — то общих принципов и, конечно же, исключая такие понятия, как «экономическая война».

Когда заседание подходило к концу, Рейган выразил мне благодарность за работу в его администрации и сожаление по поводу моего ухода.

Позже в приватном разговоре Кларк поинтересовался, кто мог бы занять мое место. Я предложил кандидатуру Джека Мэтлока, нашего посла в Чехословакии, потому что на меня произвели

благоприятное впечатление его отчеты из Москвы в начале 1981 года, когда он служил там заместителем главы миссии. Сначала Кларк колебался, опасаясь, что как профессиональный дипломат Мэтлок будет зависеть от Госдепартамента, но я постарался убедить его преодолеть эти сомнения, уверяя, что Мэтлок, судя по его отчетам, мыслил не как типичный дипломат. Сам Мэтлок, как выяснилось, предпочитал бы оставаться в Праге, но в конце концов он вернулся в Вашингтон и в июне 1983 года занял мой пост. Он пользовался доверием Шульца и помог направить курс администрации президента в русло менее конфронтационной политики при Горбачеве, когда весной 1987 года он оставил СНБ и занял пост посла Соединенных Штатов в Москве.

Кроме Мэтлока, в качестве источника информации о Советском Союзе и приватного канала связи с советскими лидерами как президент, так и Шульц использовали Сьюзен Масси, протеже Нэнси Рейган и поклонницу старой России. Она уверяла президента, что Россия была готова откликнуться на любые обнадеживающие шаги с его стороны. Я полагаю, что она также подчеркивала тот факт, что русские люди религиозны. Подобные мысли были созвучны сентиментальным свойствам характера Рейгана, хотя и были неочевидными.

Последние месяцы

В октябре 1982 года я получил отпуск для поездки в Европу, чтобы прочитать лекции и принять участие в международных конференциях. Я выступал с лекциями на тему «Советский Союз в кризисе» в Бонне, Кельне и Париже, повсеместно сталкиваясь с непониманием и нескрываемой враждебностью к Рейгану и его внешней политике. Немцы повторяли вслед за Москвой, что единственной альтернативой разрядке была ядерная война. Французы обвиняли нас в лицемерии: они протестовали против продажи русским нашего зерна, в то время как мы пытались не дать возможности европейцам продавать России технику для развития газовой промышленности. Казалось, они были неспособны (а скорее не хотели) понять, что, продавая Москве зерно, мы истощали советские запасы твердой валюты, в то время как они, развивая энергетический экспорт России, увеличивали их[51]. Повсюду я встречал полное непонимание, во — первых, того факта, что экономика Советского Союза находилась в критическом состоянии, а во — вторых, какую роль экономика играет в международной политике. Поскольку аудитория, к которой я обращался, состояла из людей в высшей степени умных и хорошо информированных, я заключил, что их непонимание того, что мы делали, объяснялось отчасти их недовольством гегемонией Америки, а отчасти получением выгоды от торговли с Советским Союзом, в то время как мы несли бремя расходов по сдерживанию коммунизма. По возвращении домой я сообщил некоторым людям, что наши союзники, хотя и состояли в браке с нами, вступили во внебрачные связи с нашим противником.

Единственный имевший смысл совет, который я получил по этому вопросу, дал мне мой старый друг Борис Суварин. В октябре 1981 года, во время моего последнего, как оказалось, визита к нему перед его смертью, он сказал мне: «Помни, Пайпс, они готовы на все, что угодно, но не на войну; они шантажисты». Эти слова глубоко засели в моем сознании.

10 ноября 1982 года пришло известие, что долго ожидавшееся событие наконец произошло: Брежнев умер. На спешно созванном совещании в Овальном кабинете встал вопрос о том, кому следует представлять Соединенные Штаты на его похоронах. Кларк показал президенту подготовленный Шульцем список, в котором президент возглавлял делегацию. Рейган быстро пробежался взглядом по списку и сказал, что такая делегация была бы более уместна на похоронах английской королевы. Он наотрез отказался ехать. Тогда Кларк сказал, что,

по мнению Шульца, в случае отказа президента ехать, возглавлять американскую делегацию должен Джордж Буш. Рейган ответил, что это предложение не годится, потому что вице — президент находится в Африке с визитом, который уже откладывался, и если бы он вернулся ранее запланированного срока, это было бы еще хуже, добавив: «Пусть едет Шульц». Я возразил, что это не лучшее решение, потому что наверняка ожидаются главы государств, и поэтому присутствие вице — президента в качестве главы американской делегации было бы предпочтительней. Рейган задумался на мгновение и согласился: «Окей, пусть едет Буш». Было забавно читать на следующий день в газетах утонченные интерпретации этого решения. Но я не нашел ничего забавного, когда узнал, что во время визита в Москву Буш сказал Андропову, что в их «прошлой биографии было что — то общее»[49]. Вероятно, у него создалось впечатление, что КГБ, который возглавлял Андропов, был, как и ЦРУ, просто разведывательной организацией. Это замечание, если оно было серьезным, ужасало, а если было произнесено в шутку, отличалось плохим вкусом.

Хотя президент и не поехал в Москву на похороны Брежнева, он согласился нанести визит в советское посольство, чтобы выразить соболезнования. Меня попросили подготовить для Рейгана несколько слов, которые он мог бы вписать в книгу соболезнований. Это было чрезвычайно трудным предприятием, так как я ни в коей мере не сожалел о смерти Брежнева. Тогда я понял, насколько трудно выразить словами то, что человек не чувствует или то, во что не верит. Это было пыткой для меня. Рейган благоразумно отверг текст и сформулировал что — то сам.

В порядке подготовки его визита в посольство на 16-й улице я отправился туда с группой специалистов из секретной службы обследовать здание. Вдоль лестницы стояли угрюмые работники посольства. Она вела в комнату, при входе в которую стояли мальчики и девочки в пионерской форме. Добрынин встретил нас на втором этаже и показал книгу для соболезнований. Я кивнул и попытался выйти, но он вставил авторучку в мою руку и попросил расписаться. Я попытался отказаться, но он не отпускал меня. Что я мог поделать? Я начертал совершенно неузнаваемую подпись, чтобы будущий историк не смог обвинить меня в лицемерии.

Когда стало очевидным, что преемником Брежнева станет Андропов, я написал меморандум (17 ноября), в котором набросал то, что может предпринять новый Генеральный секретарь: восстановить чувство сильного руководства; попытаться остановить психологический натиск, предпринятый президентом Рейганом, и его «вмешательство во внутренние дела

Советского Союза»; остановить или, по крайней мере, понизить уровень коррупции и потребительства; остановить оборонные программы США; подавить или изолировать советское диссидентское движение.

Меня глубоко тронули те несколько ланчей и обедов в мою честь, которые друзья и сотрудники устроили в последние дни перед моим уходом. Один знакомый сказал, что ему доводилось быть свидетелем ухода знаменитостей с меньшими почестями. 14 декабря на прощальном ланче, данном от его имени, Мак — Фарлейн щедро хвалил меня за мою «скромность» и «усердный труд». Он добавил, что когда речь заходила о советских делах в Овальном кабинете, Рейган часто спрашивал: «А что Дик Пайпс думает об этом?»

Когда конец моей службы приблизился, Кларк предложил назначить меня консультантом СНБ. Он надеялся, что в этом качестве я буду писать и читать лекции в поддержку внешней политики Рейгана. Когда я спросил, смогу ли я свободно выражать свое мнение, он ответил: «Не создавайте нам неприятностей!»

Вероятно, это для меня было очень затруднительно выполнить. Роуланд Эванс и Боб Новак, которые вели еженедельную программу новостей по Си — эн — эн, попросили меня дать интервью. Я дал согласие на интервью, но только после того как официально не буду числиться работающим в правительстве, то есть после 17 декабря. К сожалению, они сказали, что интервью должно быть записано на пленку утром в пятницу 17 декабря, но это не создаст для меня никаких проблем, потому что оно не пойдет в эфир до следующего дня. Я согласился на таких условиях. Первый вопрос, который задал мне Новак, касался советского участия в покушении на жизнь папы римского Иоанна Павла И. Я ответил, что в связи с тем, что почти наверняка в этом деле участвовали болгарские спецслужбы, притом что КГБ их контролирует, логично предположить, что КГБ каким — то образом тоже замешан в этом деле. Тем не менее точных доказательств нет. Принимая во внимание, что человек, который возглавлял КГБ в марте 1981 года, к тому времени стал главой советского государства, это было весьма серьезное обвинение. Но к тому времени, когда интервью пойдет в эфир, я уже не буду на государственной службе.

В тот день после полудня Кларк давал прием по случаю Рождества в Блэр — Хаус, особняке напротив Белого дома. Вдруг как раз посередине хорошего тоста секретарша

Кларка подошла ко мне сказать, что меня срочно вызывают к телефону. Звонили из «Нью — Йорк тайме» с сообщением, что по

городу пошел слух, что я обвинил Андропова в том, что он стоял во главе заговора с целью покушения на жизнь папы римского. Я был шокирован этой новостью, потому что мне торжественно обещали, что программу не пустят в эфир до завтрашнего дня. Как оказалось, чтобы поднять интерес к программе, из Си — эн — эн позвонили в «Таймс» и «Вашингтон пост» и сообщили им о сенсационном содержании предстоящей программы. В следующий понедельник, когда я был недосягаем для их дипломатической артиллерии, советский поверенный в делах Бессмертных подал в Госдепартамент официальный протест по поводу «разнузданной клеветнической кампании» против Болгарии и Советского Союза. Иглбергер отверг ноту протеста, сказав, что «за его долгую работу по советским делам он никогда не видел советское коммюнике, которое было бы написано в таком невыдержанном тоне».

Консультантом я работал только два раза, в начале 1983 года, после чего моя связь с администрацией Рейгана и Вашингтоном значительно ослабла.

В конце января 1983 года Дон Грег, советник по безопасности вице — президента Буша, пригласил меня участвовать в брифинге вместе с вице — президентом. Мы встретились днем 27 января. Наша дискуссия касалась не непосредственно России, а планируемого размещения в Европе ракет среднего радиуса дальности в Европе «Першинг-2». Их запросили наши партнеры по НАТО как противовес ракетам «СС-20», которые русские устанавливали вот уже несколько лет. Москва развернула в Европе массивную пропагандистскую кампанию с тем, чтобы сорвать этот процесс, используя для этой цели массовые демонстрации протеста, которые ее агенты организовывали и финансировали. Буш как раз собирался ехать в Европу и был донельзя обеспокоен перспективой столкнуться с антиамериканскими выступлениями. Я сделал все, что было в моих силах, чтобы снять опасения, напомнив, что, как бы там ни было, европейцы сами запросили эти ракеты, а толпами манипулировали профессионалы. Не знаю, сумел ли я его убедить, но когда я уходил, он все еще выглядел очень озабоченным.

Второй случай касался встречи с Шульцем. В начале марта 1983 года по рекомендации Шульца Госдепартамент выпустил документ под названием «Американско- советские отношения: какими они должны быть и что нам делать?»[50]. Игнорируя Директиву по национальной безопасности № 75, которой не исполнилось и три месяца, Шульц попросил аудиенцию у президента, чтобы убедить его с помощью нового документа, что

пришло время изменить наш курс в отношении Москвы. Совещание было назначено на 10 марта. То ли по просьбе президента, то ли по своей собственной инициативе Кларк отошел от установившейся процедуры и превратил эту встречу в конфронтацию между СНБ и Госдепартаментом. Он пригласил меня принять участие.

В своих мемуарах Шульц дал искаженную картину этого совещания, представив дело так, будто президент согласился с его рекомендациями, но их расстроили Кларк и сотрудники СНБ, чьим «пленником» он якобы оказался[51]. Такая интерпретация серьезно расходится с фактами, что я могу подтвердить своими детальными записями по этому совещанию.

Присутствовали четырнадцать человек[52]. Шульц начал с предупреждения, что то, что он собирался сказать, было весьма деликатным и если произойдет утечка информации, это причинит много вреда. В этот момент Рейган с забавной улыбкой приподнял край скатерти и, обращаясь к воображаемому микрофону, установленному Андроповым, сказал: «Это относится и к тебе, Юрий!» Но госсекретарю не было смешно.

Прежде чем начать свою речь, Шульц бросил взгляд на меня и сказал: «Здесь я знаю всех, кроме вас». Кларк проинформировал, кто я такой, после чего Шульц начал описывать серию инициатив, которые мы могли бы предпринять в отношениях с Москвой, касающихся, например, Афганистана и Польши, а также возобновления переговоров по различным соглашениям, срок которых подходил к концу (транспорт, атомная энергия, рыболовство и т. д.). В какой — то момент он остановился и, уставившись на меня, произнес: «Меня нервирует, что вы делаете записи». Кларк уверил его, что я был надежным сотрудником СНБ два года.

Рейган слушал предложения Шульца с нараставшим нетерпением, зевая, а в какой — то момент почти задремал. Когда Шульц закончил, он высказал свое мнение. «Мне кажется, — сказал Рейган, — что в предыдущие годы разрядки мы всегда предпринимали шаги и в ответ получали по зубам». Наши попытки привлечь русских к сотрудничеству никуда не привели. Мы должны быть осторожны в наших отношениях с ними и не делать никаких открытых призывов. Когда они снимут факторы раздражения в наших отношениях, мы ответим подобающим образом. Другими словами, Рейган говорил, что не надо предпринимать никаких инициатив с нашей стороны, мы должны только отвечать на советские позитивные инициативы.

Затем Кларк повернулся ко мне, спрашивая мое мнение. Обращаясь к Шульцу, который сидел напротив меня, я спросил,

предлагал ли он предпринять эти шаги один за другим или все вместе? Шульц уставился прямо мне в глаза, но не ответил. Я повторил вопрос, но ответа не получил. Я полагаю, он был оскорблен тем, что после его речи, адресованной Президенту Соединенных Штатов, ему задавал вопросы простой ученый.

Рейган вступил в разговор еще раз. Если русские разрешат приютившимся в американском посольстве пятидесятникам покинуть страну, мы могли бы согласиться на переговоры по рыбному промыслу. Если они выпустят из тюрьмы Анатолия Щаранского, мы откликнемся и на этот шаг. Если такие жесты доброй воли будут сделаны, мы не будем «каркать», но спокойно ответим взаимностью. В этот момент он высказал довольно новую для него идею, которую, я полагаю, мне удалось внедрить в его сознание: «Я больше не верю в то, что они коммунисты по убеждению. Это просто автократия, заинтересованная в сохранении своих привилегий».

Когда продолжавшееся около часа совещание уже подходило к концу, потерпевший поражение Шульц с явным раздражением пробормотал как бы себе под нос, но так, чтобы другие могли слышать: «Получается, что надо избегать двусторонних переговоров, быть осторожными с Добрыниным, не оставлять в покое вопросы о Кубе, Афганистане и о пятидесятниках. Лично я ничего хорошего в этом не вижу».

В мае 1983 года по просьбе Кейси меня попросили от имени президентского Консультативного совета по иностранной разведке сделать анализ точности политических прогнозов, которые давало ЦРУ на протяжении пя- ти — шести лет. Я выбрал три конкретные темы: Польша, Афганистан и прогнозы о преемнике Брежнева — и с помощью двух ассистентов пропахал огромное количество информации. Выводы, к которым мы пришли год спустя, были не в пользу ЦРУ. Они показывали, что в каждом случае ЦРУ или не сумело предвидеть события, или предвидело их неправильно. Причиной всему было сочетание проецирования своих воззрений на противоположную сторону и принятие желаемого за действительное. На этот раз наши выводы не просочились в прессу.

В 1980-е годы я также служил в группах консультантов, в том числе в военно — консультативном бюро при Совете национальной разведки (1986–1988), которые готовили рекомендации для ЦРУ по вопросам советской политики, экономики и военного строительства. Мы имели дело с весьма секретными разведданными.

В декабре 1987 года меня пригласили войти в команду «Дол — в президенты» в качестве руководителя группы советников по

советским делам. Работа принесла разочарование, потому что, в отличие от Рейгана, Дол не имел четкого представления о том, какой должна быть наша политика по отношению к Советскому Союзу. У него было слишком много советников по внешней политике — ошибка, которая была в его следующей и последней попытке завоевать Белый дом.

Буш систематически убирал из своей команды всех людей Рейгана, за исключением своего друга Джеймса Бейкера. Я проводил брифинг для него в Кемп — Дэвиде перед его встречей с Горбачевым на Мальте в ноябре 1989 года, но вместе с двумя другими специалистами, у которых были более благосклонные, чем у меня, взгляды в отношении намерений Советского Союза. Кроме этого *случая,* у меня не было никаких контактов с Бушем.

С избранием Клинтона моя связь с Вашингтоном прекратилась полностью. Пару раз в начале его президентства я получал от его администрации приглашение быть консультантом, но, поняв, что это было сделано «для галочки», отказался.

Размышления о государственной службе

Я покинул Вашингтон с двойственным чувством.

В интеллектуальном плане наиболее полезным для меня этот опыт оказался с точки зрения возможности наблюдать в непосредственной близости, как принимаются политические решения на высшем уровне. Как и большинство историков, я верил в могущественные незримые силы, направляющие государственных деятелей. Как и большинство образованных людей, я полагал, что высокая политика была результатом всестороннего и взвешенного процесса, когда вся поступающая информация передается наверх, где подвергается рассудительному анализу, взвешиваются все «за» и «против», пока не будет найдено решение.

Действительность оказалась совсем иной. Во — первых, потому что личности играют огромную роль в политике — их пристрастия и неприязнь, так же как и опасения, раздражение и надежды. В былое время мне было трудно поверить в утверждение современников, что Николай II отправил в отставку своего главного министра Сергея Витте, потому что не мог выносить его грубые манеры. Мне казалось неубедительным, что по этой причине можно потерять преданного и талантливого государственного деятеля. Но наблюдая за реакцией Рейгана на поведение Хейга, я пришел к выводу, что подобного рода личные чувства могут действительно играть решающую роль в политике. Поведение Хейга, его напористость и высокомерие никак не сочетались с дружелюбным и добродушным характером Рейгана. Таким же образом антипатия и раздражение Рейгана по отношению к французам сыграли большую роль в расширении за пределы США наших санкций на поставку оборудования для Сибирского трубопровода. Эти уроки наложили отпечаток на мое мышление и повлияли на мой подход к историческим исследованиям. С тех пор я с улыбкой наблюдаю, как не имеющие опыта в политике молодые историки отбрасывают подобные соображения, так же, как я мог бы делать это раньше, до работы в Вашингтоне.

Во — вторых, что касается процесса принятия решений, это, конечно, не результат вдумчивого взвешивания информации и всех «за» и «против». Та информация, которую бюрократическая машина изрыгает наверх, слишком объемна, сложна и противоречива, чтобы государственный деятель мог ее усвоить. Поэтому решения обычно принимаются бессистемно, на основе интеллектуальных предпочтений или настроения в данный

момент. Это правило относится не только к администрации Рейгана, но ко всем правительствам, которые я изучал, включая правительства в России, как при царях, так и при коммунистах.

Именно по этой причине человек, знакомый с опытом работы правительства, скептически относится к теориям, объясняющим политическое поведение как нечто целенаправленное, рациональное, не говоря уже об объяснениях, сводящих все к заговору. В октябре 1982 года я выступил во Французском институте международных отношений (IFRI) в Париже. После моего выступления возникла дискуссия по поводу эмбарго, которое наложил Рейган на продажу нефтегазового оборудования Советскому Союзу. Один молодой участник утверждал — тоном, не терпящим возражений, — что истинной причиной этих санкций было «разрушение европейской промышленности». Я посмотрел на него как на сумасшедшего. Я ответил, что не только ничего подобного не намеревалась сделать страна, потратившая десятки миллиардов долларов на восстановление европейской промышленности после Второй мировой войны, но, даже если бы кто — то и задумал такой странный план, не было механизма, чтобы его осуществить. Возможно ли представить себе совещание Совета по национальной безопасности, посвященное «разрушению европейской промышленности»? Заседания СНБ обычно проходили, чтобы обсудить срочные текущие вопросы, редко — стратегию на длительный период и никогда для обсуждения философских проблем. Но в это большинство людей верят с трудом. Они отдают предпочтение всеобъемлющим историческим объяснениям, если они образованны, и конспиративным — если необразованны.

Судя по записям в дневнике, который я вел в течение двух лет работы в Вашингтоне, девять десятых рабочего времени правительства тратятся впустую, придавая ему сходство с буксующими колесами. Порой, однако, в критические моменты выпадает возможность действовать, и то, что человек тогда сделает, может сыграть большую роль. Такие моменты восхитительны. И, конечно же, я испытывал удовлетворение от осознания того, что внес некоторый вклад во внешнюю политику, которая помогла развалить Советский Союз, представлявший собой самую опасную и бесчеловечную силу во второй половине XX века. Я считаю, что Советский Союз развалился главным образом по внутренним причинам, то есть из — за неспособности коммунистов возвести прочное основание для режима, который нарушал все известные нам принципы природы человека и общественных отношений. Однако решимость Соединенных Штатов расстроить амбиции внешней политики Советского Союза

сыграла большую роль в этом процессе. И здесь два президента внесли особый вклад: Трумэн в начале «холодной войны» и Рейган в ее конце. Идеологическое наступление Рейгана и его наращивание военной мощи напугало русских, они потеряли приобретенную в шестидесятые и семидесятые годы уверенность, что связали руки Соединенным Штатам. Такая потеря уверенности в себе стала главной причиной ошибок, которые они совершили в конце 1980-х.

Лично я понял, что не приспособлен для работы в больших организациях. Мое чувство разочарования, мои многочисленные (хотя и неосуществленные) решения уйти в отставку объясняются главным образом тем, что, начиная с пятнадцатилетнего возраста, я привык изо дня в день к интенсивному интеллектуальному труду. Когда я берусь за перо или высказываюсь, то выражаю собственные мысли и чувства и свободен это делать в любое время. Я сам себе суверен. Мои подданные — это сотни тысяч слов в английском языке, которыми я могу командовать, как мне вздумается. Я всматриваюсь в них, и, если они меня не устраивают, я могу их выстроить в ином порядке. Но в правительстве, так же как и в любой другой большой организации, человек находится в положении адресата команд и начинает действовать только тогда, когда его начальники бросают работу к его ногам. Меня это чрезвычайно расстраивало, потому что зачастую мне умышленно не поручали какое — либо дело чиновники, которым не нравился я или мои идеи. И, конечно, все, что человек пишет или говорит, должно быть скоординировано или «пропущено» через начальство. Даже публичные выступления президента подвергаются тонкой цензуре.

Когда я впервые прибыл в Вашингтон, некоторые старожилы предсказывали, что я там останусь навсегда.

Однако у меня не было сомнений, что через два *года я* вернусь в Гарвард, что бы ни случилось. Моя уверенность была основана не только на глубокой любви к науке, но также и на отсутствии у меня стремления к власти, то есть того импульса, который приводит в действие политические амбиции. Власть дает психологическую компенсацию: она позволяет человеку, который не может управлять самим собой, управлять другими. Я не отрицаю тот факт, что мне было приятно внимание к моей персоне, когда я был в Белом доме, но власть как таковая не имела для меня никакой ценности. Поэтому совет, который я получил от Киссинджера, вошел в одно ухо и вышел в другое. Почему это должно было быть именно так, стало мне ясно, когда я читал Эрика Хоффера, одного их самых мудрых людей Америки

XX века. В своем дневнике он писал: «Люди, не созданные для свободы, — те, которые не знают, что с ней делать, — алчут власти. Желание свободы характеризует «обладающий» тип личности. Такие люди говорят: оставьте меня в покое, и я смогу вырасти, выучиться и реализовывать свои способности. Жажда власти, по сути, характеризует «необладающий» тип личности. Если бы у Гитлера был талант и темперамент гениального художника, если бы у Сталина был талант стать выдающимся теоретиком, если бы у Наполеона были задатки великого поэта или философа, в них вряд ли развилась бы всепоглощающая страсть к абсолютной власти. Свобода дает нам шанс реализовать нашу человеческую и индивидуальную уникальность… те же, кто лишен способности достигнуть чего — либо в атмосфере свободы, будут стремиться к власти»[52].

Я стремился к свободе, а не к власти. И в первый день после окончания работы в правительстве я с восторгом записал в своем дневнике:

Фантастика! Сейчас девять двадцать утра, когда каждый день я обычно приходил на службу, и я как раз пришел в библиотеку Конгресса… Ошейник и поводок, на которых меня невидимо держали, исчезли.

Глава четвертая. Снова в Гарварде

Просто выжить недостаточно

Когда я вернулся в Гарвард в феврале 1983 года, меня встретили как знаменитость. Мои курсы были переполнены. В 1987 году курс по русской революции, который я читал первый раз весной 1976 года, был среди десяти курсов в университете с самым большим числом записавшихся студентов. У меня постоянно брали интервью корреспонденты газет и телевизионных компаний, как национальных, так и иностранных. Я часто ездил по всей стране на конференции и в университеты с лекциями о современном положении. Мое расписание на этот год и несколько следующих лет было заполнено подобного рода событиями. Нередко бывало, что я улетал в Европу в среду вечером и возвращался в воскресенье днем, посвящая преподаванию первые три дня недели.

Листая дневники за эти годы, я поражаюсь, откуда у меня бралась на все это энергия, и огорчаюсь, что большая часть этих конференций, интервью и так далее оставила такой незначительный след в моей памяти. Были ли все они бесполезной тратой времени? Вероятно, нет. Обсуждения внутреннего положения в Советском Союзе, наших отношений с этой страной или ядерной политики редко меняли мое или чье — либо мнение. Но они приводили к определенному консенсусу, когда мы соглашались принять наши разногласия и таким образом сужали тематику спо

ра и делали его более острым. В противоположность этому, в такой стране, как Советский Союз, где подобные дискуссии не могли происходить и где люди не соглашались даже там, где можно было найти согласие, каждый формировал свое собственное мнение по каждому вопросу, результатом чего было столько же мнений, сколько и людей. Когда свобода была наконец восстановлена, русские не могли найти общего языка, столь необходимого для функционирования эффективной демократии.

Общественная деятельность несколько ослабила мою связь с факультетом истории. На собраниях преподавателей факультета обсуждались в основном проблемы отдельных студентов, младшего преподавательского состава и особенно замещения вакантных мест. Конечно, это были важные вопросы, но по сравнению с теми, которыми я занимался в Вашингтоне, они казались малозначимыми, и я не мог относиться к ним с такой же серьезностью, как прежде. Поэтому центр тяжести моей профессиональной деятельности все более и более перемещался

за пределы университета.

Когда я готовился к отъезду из Вашингтона, Бил Сафаир, обозреватель «Нью — Йорк тайме» советовал мне написать книгу, очевидно, имея в виду отчет о тех двух годах, что я провел в Белом доме, и рекомендовал связаться с его литературным агентом Мортоном Дженклоу. Джен- клоу обычно занимался бестселлерами, за которые платили огромные авансы, но в качестве одолжения Сафаиру он согласился представлять меня. Впервые я прибегнул к услугам литературного агента. Дженклоу продал права на мою книгу издательству «Саймон и Шустер», редактор которого Эрвин Гликес дал мне совет, кончавшийся следующим наставлением: «Помните, побольше пикантных подробностей!»

Однако я отдавал себе отчет в том, что, не нарушив оказанного мне доверия, не мог написать такого рода книгу, которую в среде издателей называют «разоблачающий поцелуй», то есть откровенно описывающую все, что я видел и испытал. Вместо этого я решил написать серьезную книгу о Советском Союзе и перспективах наших отношений с ним, опираясь на информацию, которую я приобрел в Вашингтоне, но без ссылок на секретные материалы. Отбросив несколько вариантов названия книги, я остановился на «Просто выжить недостаточно». Этим названием я хотел выразить мысль, что просто избежать ядерного холокоста не являлось самоцелью нашей внешней политики[53].

Книга была написана быстро, потому что я точно знал, что хотел сказать, и у меня было много материала. Писать я начал в июне 1983 года и в феврале 1984-го отослал рукопись издателю. Книга вышла в октябре 1984 года. Отрывок из нее появился в осеннем номере журнала *Foreign Affairs* под заголовком «Может ли Советский Союз реформироваться?»

Эпиграфом для книги я выбрал слова римского историка Тита Ливия: *quo timoris minus sit, eo minus ferme periculi est* («Чем меньше страх, тем обычно меньше опасность»)[1]. Вот что я записал в своем вашингтонском блокноте:

В конечном итоге исход будет зависеть от соперничающих сторон. Вопрос стоит так: что сильнее — стремление номенклатуры сохранить и расширить свою власть или стремление демократий сохранить свой уклад жизни? Вероятно, исход не вызывал бы разногласий, если бы ядерное оружие не вселяло в сердца людей на Западе такой страх, который парализует их волю к сопротивлению. Следовательно, центральным здесь является вопрос о страхе и мужестве. Клаузевиц в свое время писал, что «любая война направлена против мужества человека» и что главной целью в конфликте

является «убить мужество противника»[2].

Во вступлении к книге я объяснял причину, по которой решился добавить еще один том к огромной литературе по советско — американским отношениям. Дело в том, что эта литература страдала от одного существенного недостатка: наши отношения рассматривались «почти без исключения как проблемы, касающиеся Соединенных Штатов, которые обсуждались и решались американцами. Советский режим с его интересами, идеологией и политической стратегией в этом контексте присутствовал лишь косвенно». Другими словами, поразительной чертой советологической литературы было то, что она постоянно обсуждала, что мы должны делать и почти никогда то, что нам следует требовать от русских, кроме, конечно, утверждения, что они нам не доставляют никаких неприятностей. Такой подход казался мне ограниченным и самоуверенным. Более того, продолжал я, даже в обширной литературе о самом Советском Союзе «связь между его внутренним устройством и поведением на международной арене редко обсуждается». Это было ошибкой, потому что внешняя политика любой страны есть функция ее внутренней политики: «То, как правительство относится к своим гражданам, с очевидностью оказывает значительное влияние на его отношение к другим странам. Политический режим, который не уважает юридические нормы в пределах своих границ, вряд ли станет уважать эти нормы за границей. Если он ведет войну против своего народа, то вряд ли можно ожидать, что он будет жить в мире с остальным миром».

Исходя их этих рассуждений, я отвел много места внутреннему функционированию коммунистических режимов и его влиянию на их внешнюю политику. Затем я перешел к рассмотрению экономических и политических кризисов в коммунистических странах, которые ставили преграду их замыслам и несли угрозу власти. Несмотря на впечатление прочности и устойчивости, писал я, СССР находится в «революционной ситуации», выход из которой состоит только в глубинных реформах: «…возникает растущий разрыв между глобальными амбициями коммунистической элиты и средствами для их реализации… этой элите становится все труднее осуществлять свои глобальные амбиции и поддерживать сталинскую систему без изменений. Если советскому режиму не грозит скорый развал, то он не может и бесконечно «тянуть лямку» и ему вскоре придется выбирать между уменьшением своих претензий на мировое господство и трансформацией своего политического устройства. Возможно, ему придется сделать и то и другое».

«Вскоре», как оказалось, определялось шестью месяцами, когда Горбачев занял пост главы советского правительства и начал свою перестройку. Суть же моей рекомендации состояла в том, чтобы позволить Советскому Союзу самому «разрушить себя»: «Если советский режим желает осуществить свои глобальные замыслы, он будет вынужден двигаться в направлении создания экономических и общественных институтов, которые в итоге и разрушат его».

События сложились таким образом, что я не предвидел «скорого развала» советского режима, который произошел через семь лет после того, как мои слова появились в печати. Но и Горбачев не ожидал такого поворота событий. Придя к власти, он и его соратники, осознавая, в каком кризисе находился коммунистический лагерь, принялись реформировать систему путем привнесения в нее большей законности, расширения частной инициативы и децентрализации управления. «Главная задача, стоящая перед советскими лидерами, — писал я в своей книге, — состоит в том, чтобы направить творческие силы страны на благо общества, преодолеть разрыв между интересами всего общества и интересами личного плана, которые в настоящее время являются основной заботой подавляющего большинства граждан в коммунистических странах, включая их лидеров». Именно на это была нацелена перестройка, но ей не удалось это осуществить.

Почему перестройка провалилась? Я полагаю, потому что ее лидеры стали жертвой своей собственной пропаганды (а также советов заморских советологов) и представляли советский режим намного более прочным и популярным, чем он был на самом деле. Когда начатые Горбачевым реформы натолкнулись на сопротивление коммунистического аппарата, он попытался преодолеть это сопротивление, обращаясь к гражданам и вовлекая их в политический процесс, уверенный в том, что простые люди поддержат программу внутрисистемных реформ. Это оказалось фатальной ошибкой, потому что народ, который заставляли молчать семьдесят лет, воспринял вновь обретенную свободу слова и некоторые политические права не как возможность укрепить коммунистическую систему, а чтобы оторваться от нее. Таким образом, вместо того чтобы следовать китайскому примеру и твердо удерживать политическую власть в руках, проводя экономические реформы, Горбачев ослабил бразды коммунистического правления, и повозка вскоре стала неуправляемой. Никто не мог предвидеть такого хода событий, хотя бы потому, что это был результат решений, принятых кучкой людей, без участия народа[54].

Рецензенты книги «Просто выжить недостаточно» интерпретировали мои взгляды каждый по — своему. Но меня поразило, что Гельмут Зонненфельдт, когда — то служивший экспертом по советским делам у Киссинджера, написал в конце своей рецензии, что я «приблизился к тому, чтобы пообещать мир после трансформации советской системы. В этом вопросе, пишет автор [то есть Пайпс], он и не ястреб, и не голубь, а просто *весьма* оптимистично настроен»[3].

Не отдавая себе в этом отчет, я поступил так же, как британский писатель Энтони Троллоп, хотя узнал о его литературных привычках много лет спустя: закончив одну книгу, я сразу же принялся за другую. Это объяснялось не желанием видеть свое имя в печати, а установившимся в ту пору, когда мне не было еще двадцати, укладом жизни, смысл которого заключался в исследованиях и писательском творчестве. Как спортсмен, которому необходимо постоянно тренировать свои мышцы, я испытываю потребность тренировать свое мышление, особенно в первой половине дня, когда чувствую прилив энергии. В 1973 году, находясь в Лондоне в академическом отпуске и закончив книгу «Россия при старом режиме», я решил сделать паузу в писательском труде. В конце концов, рассуждал я, у меня достаточно книг и статей, чтобы позволить себе несколько месяцев отдыха. Результат был мучительным. Я вставал утром с перспективой унылого дня. По нескольку раз до ланча я выбегал купить английские и иностранные газеты и прочитывал их от корки до корки. Я слушал новости по радио и телевидению. Такое вынужденное безделье оказалось не только источником стресса, но и лишало меня удовольствия наслаждаться Лондоном во второй половине дня и по вечерам, потому что, не сделав ничего полезного за день, я не мог расслабиться. Через неделю или две я сдался и начал работу над следующей книгой. Это был второй том биографии Струве.

На этот раз, закончив «Просто выжить недостаточно», я занялся русской революцией. Этот проект оказался моим самым значительным предприятием, которому я посвятил с перерывами больше десяти лет. Мой замысел был в том, чтобы написать продолжение книги «Россия при старом режиме» и поначалу я намеревался охватить полвека — с 1878-го по 1928 год. Я помню, что Исайя Берлин рекомендовал мне написать такую книгу, возможно потому, что хотел расстроить планы Е. Г. Карра, с которым долго спорил о проблеме исторической «неизбежности» и которого лично презирал.

В то время единственной историей русской революции, оправдывавшей такое название, была книга, опубликованная в 1935 году Уильямом Генри Чемберленом, московским корреспондентом газеты «Крисчиан сайенс монитор». Его двухтомной работе не хватало ясной концепции, но она была непредвзятой и основана на серьезном исследовании доступных в то время источников. Нельзя сказать то же самое о книге Карра

«История Советского Союза», первые три тома которой, касавшиеся революции, были опубликованы в начале 1950-х. Карр вообще избегал описательной истории и жизнеописания исторических личностей, а предпочитал сухой каталог событий, которые сводились у него главным образом к принятию законодательных актов. Достаточно сказать, что он не нашел места хотя бы раз упомянуть царя Николая II, правившего во время, когда разразилась революция! Его «выдающийся труд» в конце концов расплылся на четырнадцать томов и был справочником, а не историей. Кроме того, его работа страдала явной антидемократической предвзятостью и детерминизмом, основанным на убеждении, что случившееся, просто в силу самого факта, является неизбежным и поэтому не может быть предметом моральной оценки. Такие воззрения привели его в 1930-е годы к тому, что он в лондонской «Таймс» призывал к умиротворению нацистской Германии.

Таким образом, имело смысл иначе исследовать это значительное событие, и, даже не закончив второй том биографии Струве (1979), я занялся изучением революции. В 1975–1976 академическом году я в первый раз прочел курс лекций по этому предмету. Как заметил один из моих студентов, он оказался несколько схематичным. Затем этот курс подвергся многим дополнениям и исправлениям, пока наконец не оформился весной 1984 года в основной курс. Курс привлекал большое количество студентов, и я читал его каждый второй год вплоть до моего выхода на пенсию.

Русская революция была определяющим событием для моего поколения. Бытовало мнение, что Первая мировая война имела решающее влияние на XX век и без нее, скорее всего, не было бы и русской революции, а если бы она и случилась, то приняла бы другое направление. Но я нахожу более убедительным предположение, что, если бы большевики не захватили власть в 1917 году, мир после Первой мировой войны рано или поздно вернулся бы к какому — то нормальному состоянию. Маловероятно, что нацисты пришли бы к власти в Германии, если бы у Гитлера не было коммунистического прототипа, который, с одной стороны, служил вдохновляющим примером, а с другой — пугалом, страх перед которым заставил немецкий народ предоставить Гитлеру неограниченные полномочия. Это Москва в критический момент оказала ему услугу, поддержав в продвижении к власти на выборах в рейхстаг в 1932 году. А без нацизма и без согласия Москвы на захват Польши не было бы и Второй мировой войны. Что же касается мира после Второй мировой войны, то здесь доминировала «холодная война» —

порождение Октября 1917 года. По всем этим причинам история русской революции — ее истоки, развитие и последствия — имеет исключительное значение для понимания нашей эпохи. Также и по этой причине почти вся моя научная работа, если вдуматься, прямо или косвенно связана с этим центральным событием.

Существует мнение, что историк адекватно относится к предмету своего исследования, если испытывает к нему симпатию. Это утверждение представляется мне несостоятельным, потому что оно означает, что невозможно писать о предметах, вызывающих всеобщую неприязнь. Если рассуждать таким образом, то только нацист может написать приемлемую биографию Гитлера. На самом деле историк вполне может черпать вдохновение во враждебности. Например, Литтон Стрэчи, вероятно имея в виду свое собственное исследование викторианской эпохи, как — то заметил, что точка зрения «ни в коей мере не зависит от симпатии. Можно утверждать почти обратное. По крайней мере, любопытно наблюдать, как много историков были враждебны своим объектам исследования», например Гиббон и Мишле[4].

История Чемберлена и ряд других существовавших в то время трудов (я не беру в расчет опубликованные в СССР, потому что они представляли собой не научные исследования, а пропаганду) сводили революцию к борьбе за власть в России, сосредотачиваясь на политических, военных и, в меньшей степени, на социальных событиях. Но большевистская революция должна была быть тотальной, переделать все полностью, включая человека как такового, по выражению Троцкого, — «перевернуть мир».

Это дерзкое намерение людей, которые сделали русскую революцию, не принималось во внимание ни в одном из доступных мне исследований.

Проблема усугублялась еще и тем, что среди молодого поколения английских и американских историков в конце 1960-х годов появилось так называемое ревизионистское направление. Оно имело несколько источников, одним из которых была сформировавшаяся вокруг журнала «Анналы» французская школа, которая отвергала политическую историю в пользу изучения культуры, как высокой, так и простонародной, а также изучения *ментальности* и моделей повседневной жизни. Атмосфера разрядки напряженности, в которой возникло и расцвело это течение, также способствовала его распространению, так как отождествление советского руководства с установленной в результате государственного переворота тоталитарной диктатурой воспринималось как дань «холодной войне».

Методологически главным источником ревизионистской школы были Маркс и Энгельс, утверждавшие, что экономика и вытекающие из нее классовые отношения являлись решающими силами в истории, а все остальное, включая политику и культуру, относилось к «надстройке». Как гласит Коммунистический манифест: «Вся история до сих пор была историей классовой борьбы». Это утверждение настолько же неверно, как если бы кто — то заявлял, что вся история сводится к истории политического и идеологического соперничества. На самом деле, каждому, кто углубится в изучение прошлого, сразу становится ясно, что историю формируют множество факторов, включая случайности и роль личности, каждый из которых может играть решающую роль в определенном месте и в определенное время, но никогда не будет универсальным. Главным результатом марксистского подхода является игнорирование политики и культуры вообще, или, по крайней мере, сведение их роли к второстепенной[55]. Историю надо писать «снизу». Интересно, как приверженцы данной школы объяснят самые разрушительные события XX века — две мировые войны. Неужели они могут серьезно утверждать, что массы требовали начала военных действий, в которых они будут гибнуть десятками миллионов? Или что их повседневные привычки имели большее значение для их жизни, чем решения, принимаемые от их имени горсткой государственных деятелей и генералов? И как они объяснят, что распад Советского Союза произошел без социального насилия? Даже такой авторитет по данному вопросу, как Горбачев, утверждал публично, что при советском режиме перемены могли произойти «только сверху»[5].

Таким образом, мой спор с ревизионистами шел не просто о движущих силах в исторических событиях, но был направлен против утверждения, что эти события всегда и везде определяются одними и теми же силами. Я верю в то, что история — совокупность историй жизни многих людей — не имеет большего смысла, чем жизнь отдельного индивида. И даже если это не так, наше присутствие в потоке жизни не позволяет нам постичь его смысл. Не существует Истории с большой буквы, а есть истории во множественном числе и только. Происходят события, и мы можем понять лишь их непосредственные причины и значение. Но, увы, не можем соединить это знание с какой — то более широкой всеобъемлющей философией. Я нахожу, что вся гегелевская философия истории вместе с ее разновидностями столь же абсурдна, сколь и претенциозна.

Моя историческая методология намеренно эклектична. То есть я полагаю, что различные события происходят под воздействием различных сил: иногда это случайность, иногда

решение конкретного человека имеет решающее значение, в других случаях это экономические факторы или идеология. Мастерство историка заключается в том, чтобы решить на каждом этапе своего повествования, какой из этих факторов имеет решающее значение. Он прибегает к различным методам, так же как хирург использует различные инструменты. Ни одна из причин не может объяснить всё. Верить в противоположное означает принять всеобщую схему человеческой истории, для которой я не вижу основания. В моих исторических трудах для меня самым интересным всегда было определить образ мышления главных действующих лиц, а затем показать, как оно повлияло на их поведение.

Я отношусь к источникам непредвзято и полагаюсь на то, что они укажут мне путь. В процессе исследования в голове возникает план, который постепенно наполняется содержанием. Этот процесс, как и художественное творчество, тоже приносит много удовлетворения. Он требует огромного терпения. Различие между истинным научным трудом и его популярной имитацией заключается в способности историка рассматривать предмет исследования со всех сторон, что требует времени. Я испытываю симпатию к наблюдению по этому поводу флорентийского историка XVI столетия Франческо Гвиччардини, который писал: «Когда — то я был того мнения, что то, что мне не представилось внезапно, не явится мне и позже, при размышлении; на деле у себя и у других я увидел противоположное: чем больше и глубже думаешь о вещах, тем лучше их понимаешь и делаешь»[6].

Однако, сколь бы ни верно было это утверждение, есть предел времени для размышления: альтернатива чревата творческим бесплодием. Обычно я продолжаю исследование, пока не обнаружу, что источники начинают повторяться и никаких новых данных, которые могли бы существенно изменить сложившуюся в моем сознании картину, не поступает. В этот момент я останавливаюсь.

Обычно я получаю похвалы за стиль изложения, хотя некоторые читатели находят его простым, так как я стремлюсь к ясности и лаконичности[56]. Я не использую сложный, «изысканный» стиль, потому что он показывает, что писатель более заинтересован в демонстрации своего красноречия, чем в том, чтобы передать сущность. Поэтому мне не нравятся писавшие в начале XX века знаменитые авторы, такие как Марсель Пруст, Генри Джеймс и Уолтер Патер. Я стремлюсь к максимальной экономии слов. Литтон Стрэчи дал определение такому стилю, как «классический»: «Цель всякого искусства состоит в том, чтобы пробуждать мысли. Писатель — романтик

достигает этого с помощью множества различных стимулов, вызывая картину за картиной, воспоминание за воспоминанием, пока сознание читателя ими не наполнится и им не овладеет яркий и осязаемый образ. Классик, наоборот, работает, полагаясь на метод изящной композиции и, опуская все несущественное, рассчитывает строго выверенным изложением добиться необходимого эффекта»[7].

Ясность и лаконичность, которых мне удается достичь, объясняются двумя факторами. Во — первых, я знаю, что хочу сказать, или, по крайней мере, не пытаюсь писать, пока не достиг точного понимания того, что хочу сказать. Во — вторых, я редактирую текст до тех пор, пока не достигаю желаемой ясности изложения. С каждым прочтением, я все больше отдаляю себя от содержания и приближаюсь к восприятию предполагаемого читателя.

Вообще я предпочитаю описательную историю, так как очевидно, что события происходят во временных рамках и хронология составляет каркас причинной обусловленности. Но мне нравится сочетать повествование с комплексным исследованием, чтобы создать фон, на котором разворачиваются события.

Я исхожу из того, что, если что — либо показалось интересным мне, это произведет впечатление и на читателя. Чтобы объяснить мою мысль, лучше всего процитировать Томаса Карлейля, который в одном из писем так описывал свой метод:

«Вы спрашиваете меня, как я пишу свои Заметки… Я с радостью рассказал бы вам о всех своих методах, если бы они у меня были; на самом деле их у меня просто нет. Я отдаю своему делу весь свой ум, терпение, усердие и другие таланты и добродетели, которыми обладаю… В действительности оказывается справедливым только то, что *живет* в вашей собственной памяти и в вашем сердце, это и стоит доверить бумаге для печати, только у этого есть шанс проникнуть в живые сердца и в память других людей. И именно в этом, я уверен, заключается суть всех правил, которые я создал для себя»[8].

До возникновения школы ревизионистов научная литература о русской революции подчеркивала сочетание политических и социальных факторов. Традиционные историки знали о заботах крестьян и рабочих, но фокусировали свое внимание на политиках, как тех, что были у власти, так и тех, кто был в оппозиции. Они считали Октябрь 1917 года не народным восстанием, а государственным переворотом, совершенным кучкой заговорщиков, использовавших анархию, которая последовала за падением царизма. Они воспринимали падение

царизма как нечто, чего можно было избежать и что было вызвано участием России в Первой мировой войне и политической несостоятельностью царского режима, а именно его плохим руководством военными действиями. Последовавшую за этим анархию они относили на счет ошибок преемника царизма — Временного правительства. Они считали, что ленинский и сталинский режимы строили свою власть главным образом на терроре.

Ревизионисты бросили вызов такой интерпретации по всем пунктам. Падение царизма, с их точки зрения, было неизбежным независимо от того, вступила бы Россия в Первую мировую войну или нет. Причиной же были нарастающие нищета и страдания «масс». Захват власти большевиками также был предопределен, а сами они не только не были меньшинством и заговорщиками в 1917 году, но олицетворяли волю народа, который оказывал на них давление, побуждая взять власть и сформировать правительство советов. Если демократические намерения большевиков не воплотились и большевистский режим вскоре превратился в диктатуру, виновны в этом были русская «буржуазия» и ее западные союзники, которые отказались признать новую реальность и сопротивлялись коммунистическому режиму силой оружия. Сталинизм они объясняли как пример сотрудничества власти и населения, которое по какой — то причине поддерживало свое угнетенное положение. Чтобы понять, что произошло и почему, ученый должен был обращать внимание на социальные силы, особенно на рабочий класс, который якобы и был движущей силой современной истории. Вся эта схема в общем и целом соответствовала советской и постсталинской историографии, хотя и без обязательных сносок на труды Маркса, Энгельса, Ленина и кого — либо еще, кто находился у власти в СССР во время написания работы.

В соответствии с этой схемой ревизионисты сами писали и заставляли своих студентов писать монографии по различным аспектам российской социальной истории начала XX века, игнорируя то, что было создано до них. Они ниспровергли традиционный подход, но не сумели заменить его своим собственным, потому что оказалось невозможным написать общую историю русской революции, не уделяя необходимого внимания политике и идеологии. Поэтому польза от них, как и следовало ожидать, носила случайный характер.

Качество, которое меня всегда поражало в приверженцах данной школы, — это их полное безразличие к преступлениям и моральному произволу коммунизма, который так ярко отражен в

современных источниках и занимает центральное место в литературе по национал — социализму. Стремясь к научности, они избегали моральных суждений и пренебрегали судьбами людей. Они абстрактно рассуждали об «общественных классах», «классовых конфликтах», партийных лозунгах, статистике, слепо взирая на действительность большевистского правления с самых первых дней его существования, так живо описанную в газетных статьях Максима Горького и в дневниках Ивана Бунина. Они писали бесстрастную историю времени, которое утопало в крови, времени массовых расстрелов и погромов, творимых новой диктаторской властью. То, что для русского народа обернулось беспрецедентной катастрофой, для них было величественным, хотя и неудавшимся, экспериментом. Такое мышление позволяло обходиться без моральных оценок. Но революция — это не природная стихия, не люди, воздействующие на природу, и не природа, воздействующая на людей, революция — это люди, воздействующие на других людей, и именно с этой точки зрения она нуждалась в оценке.

Ревизионистов объединяла не только общая методология. Они образовали некое подобие партии, полной решимости ввести контроль над преподаванием современной русской истории. В манере, которая, как мне кажется, была чужда американской академической жизни, но под влиянием истории большевизма, они стремились и в основном достигли монопольного контроля над профессией, добившись того, что кафедры в этой области в университетах по всей стране заняли их сторонники. Это привело к остракизму ученых, которые придерживались других взглядов. В своих писаниях они действовали в том же духе. Отстаивая свою позицию, ревизионисты не удосуживались показать, в чем ошибались их предшественники: они просто их игнорировали. Поэтому было забавно наблюдать, как они негодовали, когда их оппоненты, включая меня, платили им их же монетой и в основном так же игнорировали их работы.

Таково было положение с литературой по русской революции в конце 1970-х годов. Прежние труды или не переиздавались, или устарели; недавно вышедшая литература была или монографической, или «одноцветной». Задача, как я ее представлял, когда решил заполнить пустоту, состояла в том, чтобы существенно расширить рамки предмета как в плане хронологии, так и самого предмета: вернуться к событиям, по крайней мере, конца XIX века и включить темы, которые обычно игнорировались. Такие как культура и религия, внешняя политика и подрывная деятельность, голод и эпидемии, миграция населения, террор. Чтобы исследовать революцию должным

образом, необходимо было замахнуться на серьезную «историю», как ее писали до того, как низвели до социальных мелочей и тривиальностей. В мае 1977 года я подписал контракт с издательством «Альфред А. Кнопф», которое впоследствии опубликовало еще несколько моих книг. Мои отношения с издательством складывались очень хорошо: Кнопф выпускал мои книги в элегантном оформлении и обнаружил впечатляющий коммерческий талант в их реализации.

Библиотеки в Гарвардском университете таковы, что, над чем бы я ни работал, я всегда мог найти на их полках девять десятых необходимых мне материалов. Если чего — нибудь не хватало, я находил это в Гуверовском институте при Станфордском университете в Калифорнии или в Нью — Йоркской публичной библиотеке, а иногда — в Париже или Лондоне. Советский Союз с его архивами был для меня практически недосягаем до 1992 года.

Работа над русской революцией оказалась утомительной в психологическом и эмоциональном плане. Меня постоянно возмущали двуличие и жестокость коммунистов, так же как и иллюзии их оппонентов. Действия коммунистов снова и снова напоминали мне о нацистах. Меня буквально охватывало отчаяние и я не мог спать, когда изучал подробности красного террора, который существующая историческая литература либо обходила, либо просто игнорировала. (Карр, например, вообще о нем не упоминает в своей многотомной истории.) Изучая убийство императорской семьи в Екатеринбурге, я записал в дневнике:

Все время ощущаю острую подавленность. Я чувствую дыхание холокоста. Сожженные тела у «Четырех братьев» и дымящиеся трубы Освенцима[57].

Мои исследования были прерваны на два года работой в Вашингтоне и написанием книги «Просто выжить недостаточно». Я вернулся к ним в 1984 году. Весной и летом 1985 года я вынужден был замедлить работу, когда, находясь в Венеции в марте, заболел потенциально смертельной болезнью иммунной системы под названием дерматомиозит. Я старался не обращать на нее внимания, продолжая путешествовать, и даже прочитал три лекции в Гарварде в апреле 1985 года о екатеринбургской трагедии. Но я проводил много времени в постели, потел неимоверно и двигался с трудом. К счастью, к концу года болезнь отступила, как и предсказывал мой лечащий врач.

Я работал одновременно над двумя частями книги: «Агония имперского режима», которая касалась периода с 1899 по 1917 год, и «Большевики завоевывают Россию» — о периоде с 1917 по 1919 год. В начале 1989-го я сдал рукопись в издательство

«Кнопф». Я намеревался издать две части в отдельных томах, но по коммерческим соображениям «Кнопф» решил выпустить их в одном томе под названием «Русская революция». Книга вышла в октябре 1990 года. К тому времени я уже работал над последней и заключительной частью, которая должна была называться «Россия при новом режиме». Но в конце 1991 года Советский Союз распался, уступив место демократическому режиму, и название могло быть неправильно отнесено к России при Борисе Ельцине. Поэтому я изменил заголовок на «Россия при большевистском режиме». Этот том вышел в 1994 году.

Закончив работу над этой историей в 1500 страниц, я осознал, *что* имел в виду Джордж Чепмен три с половиной столетия назад, когда, завершив работу над переводом Гомера, воскликнул: «Работа, ради которой я появился на свет, сделана!»

На конференции о русской революции в Иерусалимском университете в январе 1988 года я имел возможность получить представление о том, как ревизионисты встретят мою книгу. Я сделал доклад в последний день конференции. Это была общая оценка революции. Почти все, что я говорил, вызывало негодование. Аудитория, состоявшая из профессиональных историков революции, была особенно обижена моим утверждением, что большевистский режим, как я уже говорил выше, оказал большое влияние на нацизм как в позитивном, так и в негативном плане; в положительном — потому что большевизм предоставил нацистам модель однопартийной диктатуры, в отрицательном — потому что давал им возможность пугать немецкое население жупелом коммунизма. Эти распространенные и вполне для меня очевидные утверждения привели аудиторию в совершенную ярость. Один участник заявил, что я очень смелый человек, если провожу подобные параллели. Я ответил, что сказанное мною требовало не смелости, ибо ничто мне не угрожало, а знания[58]. Израильский профессор кричал с места: «Кого вы хотели бы видеть победителем в войне: нацистов или советы?» На таком уровне проходила дискуссия[59].

Организаторы конференции заявили впоследствии, что из — за поломки магнитофона у них не было текста моего выступления и поэтому они не могли включить его в сборник опубликованных материалов. К счастью, один из присутствовавших в аудитории, редактор русского эмигрантского издания, записал и опубликовал мое выступление в своем журнале. Александр Яковлев, главный архитектор перестройки, потом сказал мне, что он читал этот журнал в Израиле и ему понравилось мое выступление, и что он показал его Горбачеву.

Советский Союз открывается: Сахаров

Как только Горбачев был назначен Генеральным секретарем, меня начали посещать советские журналисты, которые интересовались моими суждениями по различным вопросам относительно своей страны и публиковали их без привычных искажений. Первым изданием, опубликовавшим меня, была газета «Московские новости» (декабрь 1986 г.), а затем, в июле 1989-го, — «Известия». В начале 1991 года советский журнал «Полис» даже перепечатал с незначительными (но немаловажными) сокращениями отрывок из моей «Русской революции», в котором описывался разгон большевиками Учредительного собрания.

В апреле 1990 года я организовал перевод на русский язык книги «Русская революция». Согласно контракту с издательством «Книга», которое раньше специализировалось на факсимильном издании редких старых иллюстрированных книг, но потом стало издавать книги по современной тематике, оно должно было напечатать минимум 50 ООО экземпляров к июню 1992 года. Но по мере того как проходила эйфория, отражая изменяющееся настроение в стране, издательство сначала отложило выход книги на год, а затем вообще аннулировало контракт, потому что решило переключиться на издание литературы по бизнесу. С трудом я нашел другого издателя, «РОССПЭН», которое выпустило «Русскую революцию» в двух томах в 1994 году тиражом 5 тыс. экземпляров и «Россия при большевиках» три года спустя, тиражом 2 тысячи.

Прогрессирующее сокращение тиражей можно объяснить двумя причинами. Первая заключалась в том, что система розничной продажи книг развалилась и российским издателям приходилось налаживать связи непосредственно с книжными магазинами. В результате произошло значительное сужение книжного рынка. Новые книги стали доступны практически только в Москве и в Петербурге. Второй причиной была потеря российской публикой интереса к серьезной нехудожественной литературе, особенно к истории своей собственной страны. Такая реакция была сходна с реакцией немцев, которые в годы, последовавшие за Второй мировой войной, потеряли всякий интерес ко всему периоду нацизма. В Москве большая часть розничной торговли книгами происходила на тротуарах; книги раскладывали прямо на земле или на переносных столах. Большинство предлагаемых книг составляла развлекательная литература (детективы, любовные романы, порнография) или

практические издания (словари иностранных языков, книги по бухгалтерскому делу и книга Дэйла Карнеги «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей»). История не выдерживала конкуренции, если она не была романтизированной или сенсационной.

Я также договорился с книгоиздательским отделом «Независимой газеты» о новом издании на русском языке «России при старом режиме», опубликованной впервые на мои средства в 1980 году в Соединенных Штатах. Издание вышло в июне 1993 года. Несколько лет спустя заместитель мэра Москвы пригласил меня для беседы. Он показал экземпляр этой книги, от начала до конца исчерканный карандашами разных цветов. Один цвет означал полное согласие, второй частичное согласие и так далее. Несмотря на то что националистам, как и ожидалось, книга очень не понравилась, она все — таки произвела впечатление и ее многие прочитали, особенно студенты вузов.

Тем не менее, несмотря на благоприятные приметы оттепели, я испытывал глубокое недоверие к Горбачеву и его планам реформ. Новый советский лидер не скрывал, что он оставался убежденным коммунистом и намеревался обновить систему, а не отменять ее или хотя бы существенно изменить. 1 декабря 1987 года я написал в «Уолл — стрит джорнал» критический обзор его книги «Перестройка». Кажется, это была единственная в Соединенных Штатах не хвалебная рецензия на эту книгу. Сейчас можно сказать, что она, возможно, была чрезмерно жесткой, но в свете прошлых разочарований советскими обещаниями перемен мое недоверие было не так уж и необоснованно.

Через неделю после рецензии я встретил Горбачева на ланче, который дал в его честь в Госдепартаменте госсекретарь Джордж Шульц. Когда очередь гостей, которых представляли ему, дошла до меня, назвали мое имя. Горбачев сразу же среагировал: «О, мистер Пайпс, похоже, вам не понравилась моя книга?» — «К сожалению, это так». — «Ну да, ведь вы ученый. Вам бы хотелось, чтобы я наметил четкую программу. Но ведь я политик»[60]. Мы говорили по — русски. Шульц, стоявший рядом с Горбачевым, выглядел обеспокоенным этим разговором, сути которого не понимал: его лицо выражало опасение, как бы я не развязал третью мировую войну. Пятнадцать лет спустя, когда Горбачев прибыл с визитом в Гарвард, я признался ему, что был неправ, не приняв всерьез его план перестройки.

Независимо от моего недоверия относительно намерений Горбачева, я полагал, что Советский Союз приближался к своему концу. На совещании специалистов по России, созванном ЦРУ в августе 1987 года, я сказал, что СССР выпутывается.

Тем временем оттепель продолжалась.

В июне 1988 года во время визита в Москву со мной произошел необычный случай. Я встречался с русским диссидентом, экономистом Львом Тимофеевым, которого недавно выпустили из тюрьмы и который основал двумя месяцами раньше организацию с амбициозным названием «Независимый университет», хотя у него не было ни помещения, ни преподавателей. Он пригласил меня выступить на любую выбранную мной тему. Я предложил «Российское прошлое и советское настоящее». Лекция прошла в квартире на окраине Москвы. Гостиная и кухня были заполнены людьми. Некоторые из них принесли с собой магнитофоны.

В лекции я подчеркивал, что корни коммунизма берут начало в русской истории, что вызвало негодование Солженицына. Во время последовавшей затем дискуссии образовались две фракции: славянофилы (которых можно было отличить по их окладистым бородам) и западники. Славянофилы придерживались знакомого уже и идеализированного взгляда на дореволюционную Россию; а западники — более реалистичных воззрений. Атмосфера была просто захватывающая: возникло чувство, будто присутствуешь при рождении новой и свободной России.

После лекции мы с Тимофеевым направились к нему домой, на другой конец Москвы, где поужинали в компании нескольких известных диссидентов. Одним из них был Сергей Ковалев, которому суждено было унаследовать «мантию» Сахарова как защитника прав человека в России. Ковалев был ученым, и незадолго до этой встречи его выпустили из тюрьмы, обещав устроить на работу, при условии что он откажется от присутствия на приеме для советских диссидентов, который намеревался дать Рональд Рейган в американском посольстве через месяц. Ковалев проигнорировал предупреждение и был наказан. Я спросил его, присутствовал бы он на приеме, если бы знал, что власти выполнят свою угрозу. Он задумался на мгновение и ответил, что все равно поступил бы так же. Он и другие диссиденты излучали спокойное мужество, сильно отличавшееся от позерства западных радикалов, которые никогда не платили никакой цены за свое несогласие с политикой правительства. Из всех, кого я когда-либо встречал, эти люди вызывали у меня наибольшее восхищение. Могу добавить, что ни один из этих героев ни в коей мере не походил на рубак, подобных Джону Уэйну или Эролу Флинну. Это были тихие и погруженные в себя люди, чье мужество обнаруживалось только во взгляде — уверенном и искреннем. Их храбрость была внутри, благодаря глубоким

этическим убеждениям.

Самый достойный восхищения из них, Андрей Сахаров, посетил Бостон в конце 1988 года. Ему разрешили выехать из страны впервые в качестве члена руководства фиктивной организации под названием Международный фонд выживания и развития человечества, спонсировавшейся совместно американскими и советскими организациями. Спонсоры надеялись, что участие Сахарова поможет им завоевать доверие и привлечь финансы. Сахаров согласился войти в руководство, но не без колебаний, так как понимал, что его просто используют[61].

18 ноября 1988 года организаторы устроили в здании Американской академии наук и искусств в Кембридже заседание, где Сахаров должен был быть главным докладчиком. Однако в своей речи, вместо того чтобы поддержать Международный фонд, он высказал оговорки относительно состава его участников и целей. Он сказал собравшимся, а 90 процентов из них были либерально настроенные люди, что у него были сомнения по поводу своего участия в организации, состоявшей исключительно из людей «дружелюбно настроенных по отношению к Советскому Союзу», а также людей с «левыми убеждениями». Он даже выразил большое сомнение, заслуживает ли эта организация финансовой поддержки (большую часть которой предоставлял Арманд Хаммер). Я видел как Джером Визнер, бывший президент Массачусетского технологического института и один из руководителей фонда, сидевший рядом с Сахаровым, в замешательстве закрыл лицо руками; его советский коллега (кажется, это был академик Евгений Велихов) сидел рядом с каменным лицом. Какое — то время спустя у Визнера случился инфаркт, в чем некоторые винили Сахарова. С моей точки зрения, его поведение демонстрировало незаурядное гражданское мужество.

Пару недель спустя приемная дочь Сахарова Таня Янкелевич пригласила меня на приватный прием в честь Сахарова у нее дома в Ньютоне (пригород Бостона). В то утро мне позвонили из Би — би — си и поинтересовались, собираюсь ли я встретиться с Сахаровым, и если да, то, что я ему скажу. «Я бы задал ему такой вопрос: Что вы думаете о будущем Советского Союза?» — ответил я. Они обещали позвонить на следующий день, чтобы узнать его ответ.

Буквально сразу же, как только меня представили Сахарову и прежде чем я успел что — либо сказать, он спросил: «Что вы думаете о будущем Советского Союза?» Я был поражен. Затем мы некоторое время разговаривали. Он задавался вопросом, не стал ли он объектом манипуляции, участвуя в руководстве

Международного фонда. Мне казалось, что так оно и было, но цена этого была минимальной, а преимущества большие. Но его совесть явно не давала ему покоя. Казалось, он не осознавал, насколько он знаменит и значителен. Его скромность поражала потому, что в ней не было ни йоты ложной покорности.

В июне 1990 года я участвовал в конференции в Москве на тему «Истоки “холодной войны”», организованной советским Министерством иностранных дел. В своем докладе я возложил вину за «холодную войну» исключительно на Советский Союз, идеология и интересы которого требовали постоянного напряжения в отношениях с Западом. Дискуссия проходила вежливо, и советская делегация не подвергла меня никакой критике. Все это, конечно, было беспрецедентно.

В феврале 1991 года я с удивлением получил приглашение из советского посольства принять участие через месяц в коллоквиуме в Москве на тему «Ленин и XX век». Это была из ряда вон выходящая встреча, где в присутствии официальных коммунистических деятелей и иностранных гостей в самом сердце Советского Союза — в столице, в гостинице, которая ранее предназначалась исключительно для номенклатуры, я сделал доклад, в котором показал Сталина как верного последователя Ленина.

Два месяца спустя вдова Сахарова, Елена Боннэр, организовала конференцию в Москве в память о своем муже, умершем два года назад. Высшей точкой торжеств была церемония 21 мая в Большом зале Московской консерватории, где выступавшие вспоминали о его достижениях, а выдающиеся музыканты исполняли музыкальные произведения в его честь. В ложе с одной стороны зала сидел Горбачев, а Ельцин напротив. Горбачев вынужден был выслушивать горькие обвинения в свой адрес от многих говоривших, в том числе и от Елены Боннэр. Я подумал про себя, что, возможно, это был первый случай, когда глава российского государства сам позволил подвергнуть себя публичному порицанию.

Во время перерыва я вышел в холл. Посередине стоял окруженный толпой Ельцин. У него брали интервью для телевидения. Когда интервью закончилось и огни погасли, Ельцин остался один. Я подошел к нему и без всякого вступления сказал: «Вы знаете, господин Ельцин, если через месяц вас изберут Президентом России, вы будете первым главой государства в истории вашей страны, которого изберет народ». «Если меня изберут», — ответил он, несколько удивившись. «Дело в том, что Керенского никогда не избирали, — продолжал я, — и никакой другой глава правительства ни до, ни после него не был

избран». Он кивнул. На следующий день я случайно встретил Лейна Кирклендa, главу Американской федерации труда и Конгресса производственных профсоюзов, приехавшего в Россию на чествование Сахарова. Он рассказал мне, что встречался в то утро с Ельциным. «Ну и что он сказал?» — спросил я. «Он сказал, что, если через месяц его изберут на пост президента, он будет первым главой государства в истории России…» и так далее. Таким образом, я дал краткий урок русской истории первому настоящему Президенту России.

Из Москвы я направился в Тбилиси, куда меня пригласило правительство Грузии, провозгласившее независимость месяц назад.

Я долгое время поддерживал отношения с грузинской общиной в Париже, где обосновались лидеры независимой Грузии, когда их страну захватили коммунисты в 1921 году. Я всегда испытывал симпатию к грузинам, благодаря их обаянию и приветливости. В 1951 году я посетил их колонию в Лёвилле около Парижа и встретился, а точнее получил аудиенцию у Ноя Жордания — свергнутого главы их правительства, который даже в жуткой нищете сумел сохранить президентское достоинство. У меня сложились особенно теплые отношения с Ноем Цинцад- зе, который в те годы служил министром в кабинете Жордания, а в эмиграции стал успешным бизнесменом. Это он сообщил мне об опасениях грузинской общины за безопасность эвакуированного в Париж в 1921 году национального архива, который мог быть захвачен сначала нацистами, а потом коммунистами. Цинцадзе спросил, не будет ли заинтересован Гарвард в приобретении этого архива. Гарвардский университет согласился и к 1959 году был готов подписать контракт, но затем в грузинской эмигрантской общине возникли некоторые трудности и переговоры затянулись на годы. В конце концов, в 1974 году архив был перевезен в библиотеку редких книг имени Ха- угтона в Гарварде, где хрупкая бумага подверглась химической обработке, коллекция каталогизирована и снята на микропленку. Согласно условиям соглашения, коллекция должна быть возвращена в Тбилиси через тридцать лет, а в Гарварде останется копия на микропленке.

Я провел неделю в Тбилиси, наблюдая за президентскими выборами, на которых победил Звиад Гамсахурдиа, поэт и бывший диссидент. Я встречался приватно с Гамсахурдия как до, так и после его победы на выборах. Мне он показался ужасно стеснительным, потому что никогда не смотрел собеседнику в глаза, и произвел впечатление человека, находившегося в глубокой депрессии. Он спросил, что он должен делать, чтобы

добиться расположения Вашингтона, который при Буше и Бейкере нарочито пренебрежительно относился к нему. Я предложил проводить последовательную демократическую политику. Он ответил, что уже делает это. И, словно защищаясь, обратил мое внимание на протестующих, пикетировавших вход в президентскую резиденцию. «Станет ли президент Буш терпеть подобные протесты перед Белым домом?» — спросил он. Этот вопрос показывал, насколько он был наивен в политике. Я присутствовал на банкете в честь его победы, но победа оказалась кратковременной. В январе 1992 года при обстоятельствах, которые остаются неясными до сих пор, Гамсахурдиа был свергнут и вынужден бежать. Два года спустя его нашли мертвым: он стал жертвой или самоубийства, или, что более вероятно, убийства.

Летом 1997 года грузинский архив был возвращен в Тбилиси — столицу независимой Грузии. Я посетил Грузию вскоре после этого и был целую неделю гостем правительства, которое назначило меня почетным консулом, а также почетным гражданином Грузии. Эти знаки почета я получил от преемника Гамсахурдиа Эдуарда Шеварднадзе.

Советский Союз подводит советологов

Ночью с 18 на 19 августа 1991 года меня разбудил телефонный звонок из агентства новостей. Мне сообщали о каких — то необычных событиях в Советском Союзе, включая, если верить слухам, арест Горбачева. Было неясно, что все это означало. Ситуация прояснилась на следующий день, когда мы узнали, что в Москве произошел путч и объявлено чрезвычайное положение. Горбачев содержался под домашним арестом в Крыму. Такой ход событий меня не удивил. В ноябре предыдущего года для страницы мнений в «Нью — Йорк тайме» я написал статью, в которой предсказывал вероятность путча военных[62]. Но та быстрота, с которой путч провалился, застала нас всех врасплох. Такой исход стал возможен благодаря мужеству единственного человека — Бориса Ельцина.

В то утро мне позвонили из «Нью — Йорк тайме» и попросили написать статью о происходящих событиях. Я отослал ее через несколько часов, и она появилась на следующий день — 20 августа. В этой статье я предсказал конец политической карьеры Горбачева. На самом деле он занимал свою должность еще четыре месяца и ушел в отставку в Рождество, но после августа власть де — факто перешла в руки Ельцина.

В декабре 1991 года Советский Союз раскололся на составляющие его республики: события 1917–1918 годов повторялись. Как бы ни казались эти события неизбежными, они развивались, как нам сейчас известно, по случайному сценарию[63].

В конце 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии пришли к выводу, что Союз ССР существует только на бумаге. Грузия провозгласила независимость в апреле 1991 года, Азербайджан и три прибалтийские республики — в августе, а в Украине 1 декабря состоялся референдум, в ходе которого 90,6 процента населения высказалось за независимость. Для Советского Союза, где политические символы часто имели большее значение, чем реальность, все это означало, что на деле он прекратил свое существование. И перед лидерами Союза стояла проблема, как оформить юридически этот факт, чтобы предотвратить гражданскую войну, которая раздирала на части Югославию. Горбачев предложил конфедеративное устройство, но это предложение было отвергнуто, потому что при внимательном рассмотрении оно отличалось от предыдущего унитарного государства только названием. Тогда Ельцин, Президент Украины Леонид Кравчук и Станислав Шушке- вич согласились

встретиться в Белоруссии, в уединении Беловежской Пущи без Горбачева, чтобы решить проблему. Они исходили из того, что Союз умер. После длительной дискуссии между собой и с помощью экспертов — юристов они провозгласили роспуск Советского Союза и предоставили полный суверенитет всем входящим в него республикам[64]. В результате с карты мира исчез не только Советский Союз, но вместе с ним и старая Российская империя. Четыре столетия экспансии были перечеркнуты, и Россия вернулась к границам приблизительно 1600 года.

Такой ход событий был неожиданным и недоступным пониманию на Западе, если учесть, что еще в августе 1991 года во время визита в Киев президент Буш предостерег украинцев от стремления к независимости! В Соединенных Штатах сложилась традиция не поддерживать сепаратизм среди нерусских народов СССР из — за опасения анархии, гражданской войны и того, что ядерное оружие может попасть не в те руки. Но действительность взяла верх, и со временем официальный Вашингтон пришел к выводу, что распад Российской империи был положительным фактором.

Советологическое сообщество было потрясено крахом коммунизма и распадом советской империи, потому что оно упорно придерживалось мнения, что, какие бы трудности ни возникали, советский режим обладал как волей, так и средствами, чтобы их преодолеть. Попытки советологов предвидеть будущее потерпели провал не потому, что они прилагали мало усилий, а из — за их полной некомпетентности. Они изучали свой предмет как естествоиспытатели, игнорируя все невещественное, прежде всего традиции и культуру страны с тысячелетней историей. Они выросли в странах, где законы соблюдаются, а собственность уважается, и не могли взять в толк, что есть общества, где ничего этого нет. Этим людям не хватало воображения, и они придавали всем непонятным явлениям черты, знакомые им самим, и оправдывали свои действия ссылками на всякие псевдонаучные социальные «модели». Сознательно подавляя эмоции, они не испытывали сострадания к жертвам коммунистического эксперимента, подтверждая тем самым слова Олдоса Хаксли: «Нельзя понять то, чего не испытал»[9]. Эти люди заявляли, что они ученые, но они никогда не удосуживались сверять свои теории с фактами, и даже когда события 1991 года доказали, что их анализ оказался неправильным, не попытались разобраться в причинах просчета, чтобы избежать повторения своих ошибок. Закрыв уши, чтобы не слышать альтернативных мнений, они делали вид, что были незаинтересованной стороной,

однако были кровно заинтересованы в том, чтобы писать о Советском Союзе как пока еще сильном и благоразумном противнике, чтобы, с одной стороны, обеспечить себя потоком грантов от правительства и фондов, а с другой — заручиться поддержкой советских властей своих исследований. Я полагаю, что никогда в истории не было потрачено такое количество денег на изучение иностранного государства с такими удручающими результатами. Тем не менее эти советологи продолжали свои псевдонаучные изыскания без всякого объяснения или извинения[65].

Эти провалы не ограничивались сообществом специалистов по России и Советскому Союзу. Они были проявлением неверных представлений, которые разделяла вся интеллигенция и особенно те, кто занимался академическим трудом и с той или иной степенью симпатии относился к коммунистическому эксперименту. Удивительно, но простой человек, например пресловутый водитель нью- йоркского такси, лучше понимал сущность коммунизма, чем большинство университетских профессоров. Причина этого занимала меня долгие годы. Одну нить рассуждений, ведущую к разгадке этого феномена, я обнаружил в докладе Министерства юстиции США в феврале 1995 года. Исследовав схемы финансового мошенничества, его авторы пришли к удивительному заключению, что «люди более образованные чаще становились жертвами мошенничества, чем менее образованные»[10]. То же, по — видимому, происходит и в случае идеологического мошенничества.

До и после распада Советского Союза мне часто задавали вопрос, как человек с моими взглядами на коммунизм и на СССР мог выжить в «либеральном Гарварде». Мой ответ, отчасти шутливый, был таков: «Представьте, что вы живете пятьсот лет назад, в пятнадцатом веке. Большинство людей верят в то, что земля плоская, а вы благодаря своим исследованиям и наблюдениям обнаружили, что она круглая. Каким бы странным и бессмысленным ваш взгляд ни казался другим, вы знаете, что рано или поздно они вынуждены будут признать вашу правоту. И вы терпеливо дожидаетесь, когда время возьмет свое».

Как оказалось, я был далеко не одинок в своем отвращении по поводу происходившего в исторической науке. Других тоже возмущали растущая тенденциозность и копание в мелочах. В ноябре 1994 года на конференции Национальной ассоциации ученых, организации, предназначенной бороться за сохранение научных стандартов, я предложил основать историческое общество, которое существовало бы независимо от Американской исторической ассоциации, ставшей пленницей группировок со

своими специфическими интересами. Мое предложение не вызвало прямой реакции и, похоже, было пропущено мимо ушей. Но два с половиной года спустя несколько ученых, во главе с Юджином Дженовезе, последовали моему предложению и, собрав необходимые ресурсы и заручившись покровительством Бостонского университета, основали Историческое общество.

В освобожденной России

В начале сентября 1991 года, буквально через несколько дней после провала путча, я приехал в Москву с коротким визитом, чтобы принять участие в Мировом экономическом форуме. Атмосфера в столице была наэлектризована. Люди, особенно интеллигенция, находились в состоянии оцепенения, будто не могли поверить, что все происходившее не было сном. Прогуливаясь по центру города, я увидел пьедестал сброшенного памятника основателю советской секретной полиции Феликсу Дзержинскому, исписанный антикоммунистическими надписями. Неподалеку, на Старой площади, перед зданием Центрального комитета, теперь закрытого, единственный милиционер нервно расхаживал взад и вперед. Один молодой человек, смотревший на эту сцену, спросил меня с улыбкой, полной восторга: «Думали ли вы когда — нибудь в жизни увидеть это?» Русские были опьянены свободой. Но вскоре они узнают и ее цену.

В мае 1992 года я вернулся в страну, которая теперь называлась Российской Федерацией, чтобы выяснить возможность заняться исследованиями в Центральном партийном архиве, который до недавнего времени был наглухо закрыт для всех, кроме надежных партийных аппаратчиков, но теперь благодаря Ельцину открыл свои двери для всех ученых. Это удивительное решение новых правителей России открыть доступ к самым секретным хранилищам коммунистической партии мотивировалось не столько уважением к исторической правде, сколько желанием Ельцина дискредитировать коммунистов, его главных конкурентов. Архивы, содержащие государственные секреты, например министерств иностранных дел или обороны, а также архивы разведывательных органов и органов безопасности оставались под замком, как и прежде.

В Центральном партийном архиве, неуклюже переименованном в Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, содержатся подлинные документы всех основателей коммунизма от Маркса и Энгельса до Ленина и Сталина, а также менее значимых лиц и различных партийных организаций, включая документы Коммунистического интернационала. Насколько важен этот архив для историка, становится ясно, когда узнаешь, что в нем хранится около трех тысяч неопубликованных документов Ленина. Все эти материалы содержались в прекрасных условиях, как и подобает святым писаниям.

Издательство Йельского университета подписало контракт с

этим архивным хранилищем и получило эксклюзивные права на издание на английском языке документов в серии «Анналы коммунизма». Редактор этой серии Джонатан Брент предложил мне составить подборку ленинских документов из ранее засекреченной части архива. Я с энтузиазмом согласился.

В Москве я провел неделю, хорошо устроившись в частной квартире из двух комнат, кухни и ванной, заплатив 125 долларов. Для сравнения можно проиллюстрировать абсурдность российской экономики тем, что, по словам хозяйки, она платила в месяц за квартиру сумму, эквивалентную цене обычной шариковой ручки. Я вернулся в Москву в июне 1992 года, на этот раз на две недели, чтобы заняться засекреченной ранее перепиской Ленина.

О новой России я записал такие впечатления: «Люди намного более удовлетворены жизнью, чем я предполагал, а магазины снабжаются намного лучше. Нет ни малейшего интереса ни к чему, кроме своих собственных дел. Слышен звон колоколов! Невообразимые торговые ряды вдоль Пушкинской улицы, как муравейник. Но в воздухе веет свободой». «Торговые ряды» — это уличные торговцы, мужчины и женщины, молодые и старые, стоящие плечом к плечу по обеим сторонам улицы и предлагающие прохожим один или два предмета: блузку, свитер ручной вязки или калькулятор. Милиция, в растерянности, не зная как быть с такой непривычной проблемой, время от времени разгоняет лоточников, но они моментально восстанавливают свои ряды.

Согласно контракту с Москвой, книга должна была выйти одновременно на русском и на английском языке. Но это оказалось невозможно, потому что работники архива были явно психологически не в состоянии относиться к Ленину хотя бы с какой — то долей объективности. Документы из секретного ленинского архива выдавали мне медленно и бессистемно. Это было похоже на удаление зубов. Штат архива состоял из людей, набранных не за их профессиональные качества архивистов, а за верность коммунистическим идеалам. Они были весьма вежливы, но им явно не нравилось, что материалы по самым секретным аспектам режима выдавались иностранцам. Я прощал им их поведение, думая о том, как бы чувствовали себя архивисты в Ватикане, если бы их попросили обслуживать представителей советского общества безбожников. Тем не менее я быстро продвигался вперед. Книга под названием «Неизвестный Ленин» вышла в октябре 1996 года, а русское издание с предвзятым комментарием и некоторыми сокращениями — три года спустя.

Одной из целей этой особенной книги, как и двух ранее

изданных томов о русской революции, было развенчать расхожее представление о разнице между «хорошим» Лениным и «плохим» Сталиным, показав, что главные элементы того, что стало известно как сталинизм, напрямую связаны с ленинизмом. Советский режим в период после 1953 года намеренно распространял миф о якобы существовавшем различии между двумя диктаторами, чтобы возложить вину за все лишения и ужасы, через которые прошла страна при коммунизме, на Сталина, который будто бы узурпировал социалистическую революцию. Эта интерпретация благосклонно воспринималась в левых кру- rax по всему миру, потому что она позволяла восхищаться коммунизмом, свободным от бремени сталинизма. Но такая интерпретация противоречила фактам. Хотя к концу своей жизни, в приступах паранойи, Ленин и ссорился со Сталиным (а он ссорился почти со всеми своими соратниками), именно он продвигал Сталина на высшие посты в партии. Когда Вячеслава Молотова, в течение сорока лет работавшего с обоими советскими деятелями, спросили, когда он уже был на пенсии, кто из них «был более суровым», он ответил: «Конечно, Ленин… Помню, как он упрекал Сталина в мягкотелости и либерализме. “Какая у нас диктатура? У нас же кисельная власть, а не диктатура”»[11]. Единственным историком, кто поддерживал мою позицию, был ныне покойный Дмитрий Волкогонов. Но ни он, ни я не слишком преуспели в ее защите, потому что репутация Ленина как идеалиста, вынужденного прибегать к жестокости против своей воли, оставалась непоколебимой как в России, так и за границей.

Пока я работал в архиве, вновь созданный Конституционный суд готовился к рассмотрению двух исков: правительства против коммунистической партии, которая была запрещена, и коммунистической партии против правительства по поводу ее запрета. Один из моих друзей из «Мемориала» — организации, посвятившей себя сохранению памяти о жертвах коммунизма, — предложил суду пригласить меня дать показания в качестве эксперта. 1 июля 1992 года за мной приехала правительственная машина и понеслась с головокружительной скоростью в Архангельское, некогда поместье Юсуповых, одной из самых богатых семей старой России. Впоследствии там была дача Троцкого, а затем музей. Там я встретился с двумя судьями Конституционного суда и с Сергеем Шахраем, главным юридическим советником Ельцина. Они обратились ко мне с вопросом, мог бы я как историк защищать утверждение правительства, что коммунистическая партия никогда не была политической партией в общепринятом понимании этого

термина, а была лишь «механизмом для захвата власти». Без всякого колебания я ответил, что мог бы. Затем мне предложили написать показания, которые правительственные юристы могли бы использовать на суде.

Слушание, начавшееся в мае 1992 года, но затем отложенное, возобновилось 7 июля в небольшой комнате на улице Ильинка. Перед зданием милиция сдерживала кучку протестующих против суда над коммунистами. Было чувство, что происходило что — то, имеющее историческое значение. Мой друг из «Мемориала», проводивший меня в зал заседаний, сказал, что он ждал этого момента всю жизнь. По одну сторону сидели представители правительства, по другую — коммунисты. На стене за скамьями судей (все они раньше были членами коммунистической партии) висели две эмблемы — серп и молот и трехцветный флаг России — нелепое сочетание, которое, однако, правильно символизировало полуосвобожденную Россию.

Суд состоял из 13 судей. В своей вступительной речи председатель суда Валерий Зорькин упомянул мое имя как одного из экспертов, которого суд привлек для показаний по делу. Услышав это, один из коммунистов вскочил на ноги с протестом: «Зачем нам нужен американец? Почему бы тогда не пригласить китайца?» Зорькин отклонил протест на том основании, что суд имел право пригласить любого эксперта по своему усмотрению. В первый день коммунисты изложили свои аргументы. Из сказанного могло возникнуть впечатление, что коммунистическая партия, правившая Россией и ее владениями железной рукой более семидесяти лет, была филантропической организацией, финансируемой исключительно за счет взносов своих членов и посвятившей себя целиком величию и процветанию своих граждан. На суде было много процедурных перепалок. Коммунисты вели себя так, будто они все еще были у власти, расхаживая с напыщенным видом и обращаясь к представителям нового правительства с нескрываемым презрением. Они напоминали бывшего чемпиона по боксу, который все еще не догадывается, что уже свергнут с пьедестала.

Я ожидал, что дам показания лично, то есть прочту заявление, в котором я утверждал, что с самого первого дня у власти коммунистическая партия установила политическую монополию и использовала государство для своих собственных целей. Но поскольку мне никто не мог сообщить, когда меня вызовут, я, отдав свои показания, уехал в Лондон. Кажется, было более ста подобных показаний и только четырнадцать из них были сделаны устно. При этом три четверти были поданы коммунистами, которые заявляли, что указ Ельцина был

незаконным, а Коммунистическая партия Советского Союза являлась «конституционной» партией[12]. В итоге судебное разбирательство оказалось разочаровывающим, так как суд вынес неубедительный вердикт, который не оправдывал и не осуждал коммунистическую партию. Зато, пока шел процесс, коммунисты ухитрились тайно увести для своих личных нужд значительную часть средств, накопленных партией за долгие годы. Суд оказался поворотным моментом, который не состоялся.

В феврале 1993 года рубль упал настолько, что я менял один доллар на 800 рублей. Пачка сигарет «Кемэл», стоившая в мае 1992 года 70 рублей, теперь стоила 350. Рубль продолжал обесцениваться, упав в конце концов до 6 тысяч рублей за доллар. В результате если на аванс в 14 тысяч рублей, положенный на мой банковский счет в Москве в 1992 году за права на перевод «Россия при старом режиме», можно было купить скромную дачу, то теперь этих денег хватало лишь на две порции пиццы.

В начале 1994 года я получил сообщение, что Университет Силезии в Польше решил присвоить мне звание почетного доктора наук. Церемония должна была состояться в филиале университета в городе Чиешин, где я родился. Я надеялся, что мать сумеет меня сопровождать, но ее сердце и почки быстро сдавали. Воскресным вечером 1 мая 1994 года по моей просьбе она детально описала мне, как выглядела квартира, где я родился больше семидесяти лет назад. Несмотря на пошатнувшееся здоровье, ее сознание было ясным, а память отличной. Когда она плохо себя почувствовала, я вызвал «скорую помощь», чтобы отвезти ее в больницу. Я оставался с ней до тех пор, пока врач не посоветовал мне уйти. На следующее утро я позвонил ей. Она сказала, что чувствует себя хорошо, и попросила, чтобы ее привезли домой. Мы договорились, что я заеду за ней до двенадцати. Но час спустя позвонил доктор и сказал, что она умерла за завтраком. Ей было 92 года. Мою мать ужасала мысль, что она может оказаться в доме для престарелых или что ей будут искусственно поддерживать жизнь. Она потребовала от меня обещания, что с ней так не поступят. И вот она оставила этот мир так, как ей хотелось. В свои последние годы она очень походила на английскую королеву — мать, которая дожила до ста одного года.

Все, кто знал мою мать, считали ее необыкновенным человеком. У нее до самого конца были как молодые, так и пожилые друзья. У нее было удивительное чувство юмора, она никогда не жаловалась и принимала жизнь такой, какая она есть. Я был благодарен ей за ее терпимость по отношению ко мне в мои юношеские годы, позволившую мне преодолеть трудный

период возмужания почти без единого упрека. Со временем мне стало ее очень не хватать.

В конце месяца я поехал в Чиешин. В отличие от американских, польские университеты не раздают направо и налево почетные степени, а подходят к этому индивидуально. Мероприятие прошло в торжественной обстановке: хор исполнял *Gaudeamus igitur*, были зачитаны адреса правительственных органов и от университетов — побрати- мов; цветов было больше, чем в средней руки цветочном магазине. Мне было приятно посетить место моего рождения в первый раз за 55 лет. Это очаровательный городок в стиле отчасти Возрождения, отчасти барокко, который уцелел во время Второй мировой войны почти без разрушений, если не считать синагогу, сожженную немцами 13 сентября 1939 года, сразу после оккупации. Я пришел в двухэтажное здание, где родился, и обнаружил, что бывшая квартира моих родителей выглядела точно так же, как ее описывала мать.

Мэр города присвоил мне звание почетного гражданина. Когда я спросил, что это звание дает практически, он ответил, что если я когда — нибудь окажусь в нужде, то могу обратиться к нему или его преемникам за помощью. На что присутствовавший при этом польский журналист, добавил: sotto voce (и наоборот).

Тем временем эйфория в России начинала спадать. Я полагаю, что многие русские думали, что как только они отбросят коммунизм и объявят себя демократами со свободной рыночной экономикой, то сразу же будут купаться в золоте. Более того, придя к власти, Ельцин фактически им это пообещал. Вместо этого они обнаружили, что с падением коммунизма вся система социального обеспечения, которую они воспринимали как само собой разумеющееся, исчезла, и они оказались в незнакомом и странном мире. Их реакцией было не насилие — они слишком устали для этого и, кроме того, больше не верили, что можно добиться чего — либо насилием. Каждый просто замкнулся в своем собственном мире. Опросы общественного мнения показывали, что значительная часть людей, почти треть, считала, что *лучше* жилось при социализме, но когда их спрашивали, хотят ли они возврата социализма, большинство отвечало отрицательно.

Я писал, что в царской России подлинной религией людей был фатализм. Коммунизм ничего не изменил в этом отношении, более того, сделал русских людей еще более бессильными. Столетия жизни в условиях сурового и капризного климата и столь же сурового и капризного правительства научили их покоряться судьбе. При первых признаках трудностей русские

закрываются от них, как черепаха, прячущаяся в панцире, и ждут, пока опасность минует. Их сила в способности выжить даже в самых враждебных условиях, слабость — в неготовности противодействовать им. Они просто относятся спокойно к несчастью и лучше справляются с ситуацией, когда им плохо, чем когда хорошо. Если они не могут что — либо больше выносить, они просто напиваются.

В моей памяти остались два случая, которые иллюстрируют это качество русских. Это вполне тривиальные случаи, но довольно характерные. В 1975 году, когда я работал в Публичной библиотеке в Москве, мне понадобилось сделать фотокопию с одной страницы, и я подошел к окошку, где можно было оформить заказ. Женщина, сидевшая за стеклянной перегородкой, посмотрела на заполненный бланк и сказала, что, поскольку я работал в зале номер один, то есть в «профессорском читальном зале», мне придется подождать до двух часов. На часах было 13.45 и никого в очереди не было. «Не могли бы вы принять заказ раньше?» — «Нет». По мере того как приближалось четырнадцать часов, за мной образовалась очередь. Женщина за окошком продолжала неподвижно сидеть со сложенными руками. Ровно в четырнадцать часов она поднялась, повесила на окно табличку «Ушла пить чай» и исчезла. Я был в бешенстве и посмотрел на других, ища поддержки, но не нашел ее. Другие читатели стояли спокойно, словно то, что произошло, было в порядке вещей и только глупец будет поднимать шум[66].

Как — то в другой раз я ехал в метро, поезд приближался к станции и из громкоговорителя прозвучало ее название. Поезд остановился, но двери не открывались. В Соединенных Штатах в подобной ситуации пассажиры попытались бы открыть дверь или, по крайней мере, стали бы по ней стучать. В Израиле они разнесли бы вагон. Здесь же все стояли неподвижно и покорно. «Осторожно, двери закрываются», — послышалось из динамика, и поезд тронулся с плененными пассажирами к следующей станции.

При новом режиме люди роптали, но ничего не делали. Особенно разочаровывало поведение интеллигенции. Она никак не могла избавиться от наследия противостояния правительству, даже к демократическому, потому что в ходе русской истории привыкла видеть свое предназначение в сопротивлении, а не в участии. В апреле 1992 года я принимал участие в конференции в Рутгер- ском университете, где сделал доклад о Сахарове. В прениях Татьяна Толстая, блестящий российский эссеист, спросила меня, какую роль, по моему мнению, должны играть диссиденты в новой России. Меня такой вопрос поразил. Я

ответил, что при демократии нет места диссидентам, и что те, кто когда — то принадлежал к этой группе, сейчас должны всю свою энергию направить на созидательную политическую деятельность. Однако вопреки этой очевидности большинство диссидентов, столь мужественных при тоталитарном режиме, теперь отошли от публичной жизни, сидели по своим углам и дулись, отдав политику прежней советской номенклатуре.

Демократический режим дал русским больше свободы и возможностей, чем у них было после 1917 года. Однако ему не удалось перестроить органы правительства, вырвать с корнем всепроникающую коррупцию и установить верховенство права. В результате он вскоре стал зависимым от финансовой помощи Запада в форме периодических вливаний займов и кредитов. К концу 1990-х годов Россия превратилась в страну третьего мира, живущую с продажи сырьевых ресурсов, в основном энергоносителей, и за счет иностранной помощи. Это была удручающая картина. Я ожидал, что Россия оправится быстрее. Вероятно, несмотря на мою репутацию поборника «холодной войны», я недооценил тот вред, который нанесли стране и психике людей семь десятилетий коммунистического правления.

Как встретили книгу «Русская революция»

Были две, и совершенно различные, реакции на книгу «Русская революция». Ежедневная пресса и периодические издания как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании встретили ее с энтузиазмом, отдавая должное ее охвату и стилю. Читающая публика также встретила ее тепло. Я получил множество писем от поклонников. Одна леди писала, что нашла книгу настолько захватывающей, что провела бессонные ночи, читая ее, другая доверительно писала, что — по какой — то неназванной причине — описание убийства императорской семьи заставило ее *лучше* понять ее собственный брак. Книга расходилась очень хорошо, настолько хорошо, что профессионалы окрестили ее «популярной». Тот факт, что изданная коммерческим издательством книга разошлась тиражом с пятизначной цифрой, в то время как университетские издательства обычно продавали количество экземпляров, измеряемое четырьмя цифрами, не внушал к ней доверия в академической среде. Враждебно настроенные критики постоянно сообщали своим читателям, что я работал в администрации Рейгана, показывая тем самым, что человек, служивший у такого неинтеллектуального поборника «холодной войны», очевидно, и сам не был интеллектуалом и являлся «ястребом», а значит, его не стоит воспринимать всерьез.

Специалисты или проигнорировали книгу, или критиковали ее за то, что она была якобы «предвзятой» и «злой». Ревизионистские историки осудили ее за недостойную ученого дерзость суждения о таком эпическом историческом событии. Преданные своему принципу, согласно которому история «делается снизу», они критиковали мое принижение роли рабочих и крестьян в революционном подъеме, особенно во время большевистского переворота. Но наибольшее раздражение вызывало у них то, что я не воспринимал их работу серьезно: похоже, они были более озабочены моим отношением к ним, чем к предмету исследования[67].

Я признаю вину по данному обвинению. И на это у меня есть три причины. Первая заключается в том, что если бы я был согласен с их интерпретацией событий, то все равно предпочел бы использовать оригинальный источник, а именно советскую историческую литературу, авторы которой, по крайней мере, имели доступ к архивам. Вторая причина в том, что книга и так получилась достаточно объемной, почти тысяча страниц, чтобы перегружать ее научными спорами, интересными разве что

специалистам. И третья, самая важная, причина заключается в том, что мне не нравится вступать в академическую полемику, доставляющую удовольствие многим ученым, потому что она отвлекает меня от предмета исследования. Я нашел поддержку такому подходу у германского теолога середины XIX века Рихарда Роте, который во введении к своему фундаментальному труду писал: «Я практически избегал антиклерикальной полемики за исключением немногих случаев, когда важность веских аргументов или имени автора побуждала меня к иного рода действиям. Если моим критикам не удается пошатнуть мои убеждения своими возражениями, я с радостью оставляю их с их мнением, потому что критический подход в моей научной работе состоит в критике собственных мыслей, а не мыслей других»[13].

Что же касается анализа исторических событий, то я не чувствовал необходимости оправдываться за них, потому что, как писал выше, рассматривал не неизбежные явления природы, а последствия преднамеренных действий людей, которые таким образом могут быть подвергнуты моральному осуждению. Обращаясь к проблемам нацизма, историки не колеблясь и заслуженно проклинают его. На каком же основании делать исключение для коммунизма, который забрал еще больше человеческих жизней? Мне вспоминаются слова Аристотеля из «Никомаховой этики», что бывают ситуации, когда «безгневность» неприемлема; «ибо те, у кого не вызывает гнева то, что следует, считаются глупцами», — писал он. Я также разделяю мнение лорда Актона, который был твердо убежден, что историк должен занимать моральную позицию. Иначе, когда идет речь об исторических преступлениях, он становится их соучастником. «Убийство — акт мгновенный и исключительный, — писал он. — А его историческое оправдание свидетельствует о более извращенной совести»[14].

Книга была переведена на несколько иностранных языков, помимо русского, и произвела, за исключением Польши, намного меньшее впечатление, чем в англоязычном мире. Во Франции и в Италии изучение русской истории уже долгое время было вотчиной коммунистов и им сочувствующих, которым, как и следовало ожидать, не понравилась моя интерпретация и они обошли ее вниманием. Французское издание в мягкой обложке не вызвало практически никакой реакции и вскоре перестало печататься. (Издательство *Presses Universitaires* назначило цену за книгу 278 франков, то есть 48 долларов.)

В Германии ситуация была иной. Здесь три тома были выпущены издательством *Rowohlt*, самым большим в стране, и книга получила много рецензий, но все они без исключения были

негативными, причем меня поразила их ядовитость и однообразность. Не было ни одной положительной рецензии; такое впечатление, будто все рецензенты маршировали сомкнутым строем, по чьей — то команде сверху. Одни обвиняли меня в игнорировании социальных проблем, другие — в русофобии. Некоторые германские рецензенты считали, что книга слишком хорошо читалась, как криминальный или детективный роман, и поэтому, по выражению одного из них, ее едва ли можно было считать «научной». Я пришел к выводу, что подобное отторжение было связано скорее не с сутью моей работы, а с проблемами прошлого самих немцев. Поскольку нацизм, по крайней мере в своей пропаганде, практиковал фанатичный антикоммунизм, всякое осуждение коммунизма неизбежно напоминало о нацизме, затрагивая таким образом обнаженный нерв. Это наблюдение особенно относится к исторической науке, представители которой в свое время были рьяными нацистами. Поэтому дистанцирование от антикоммунизма было для них формой самообороны[68]. Я нашел подтверждение этому в реакции одного германского журналиста на книгу, в которой описывались ужасы советского ГУЛАГа: «Так значит, Геббельс был прав?» — спрашивал он себя, явно глубоко озадаченный.

Распад Советского Союза нанес смертельный удар по ревизионизму. Психологически это течение черпало самоуверенность из того факта, что коммунистическому режиму удавалось раз за разом преодолевать все угрозы своему господству и не только выживать на протяжении семи десятилетий, но и превратиться в соперничающую с Соединенными Штатами великую державу. Из этих фактов ревизионисты делали опять — таки основанный на психологии, а не на логике вывод, что режим пользовался прочной поддержкой масс. Обращаясь к прошлому, они полагали, что режим пришел к власти на волне народной революции, в точности как утверждали ее лидеры. Его неожиданный развал, без даже символического сопротивления, показал, что эти заявления совершенно пусты, что режим прогнил до основания и пользовался ограниченной поддержкой. Это ударило по основам ревизионистской интерпретации и заставило ее сторонников если не ревизовать свою ревизию, то, по крайней мере, перейти на более реалистическую позицию.

Наиболее глубокие причины провала коммунизма я рассмотрел в двух лекциях, с которыми выступил по приглашению Нобелевского института мира в Осло весной 1993 года[15]. В этих лекциях я осветил тему с философской точки зрения, отвечая на вопрос, мог ли сохраниться режим, который

попирал все известные представления об истинной природе человека. На этом можно было настаивать, только отрицая существование человеческой природы и объясняя поведение людей исключительно воздействием внешней среды, в результате чего оно становится предельно подверженным воздействию. Такое понимание, имеющее отчасти корни в философии Просвещения и подкрепленное современной поведенческой психологией, противоречит, однако, тому, что известно о человеке из антропологии и истории. Есть некоторые аспекты поведения человека, присущие ему всюду и во все времена. А именно — вера в сверхъестественное, стремление к собственности, желание выражать свои мысли и жить в семье, то есть все то, что большевики были полны решимости искоренить. Убежденные в том, что не существует такого понятия как природа человека, а есть только внешняя среда, формирующая его поведение, они стремились радикально трансформировать социальную среду, чтобы создать «нового человека». Они потерпели поражение в силу ложности исходной предпосылки. Я закончил лекции предупреждением западным демократиям, которые обнаруживают признаки совершения подобных ошибок, когда сужают права собственности и ограничивают свободу слова в результате общественного давления, то есть полагаясь на так называемую политкорректность.

Проблема собственности

К тому времени, когда я прочитал эти лекции, я уже полностью был поглощен новым проектом — книгой об истории собственности. Интерес к этой теме был для меня не нов. В первый раз я осознал, что имеется связь между политической властью и собственностью, когда жил в Париже в 1956–1957 годах. Меня поразило, что западные историки, как правило, вообще не принимали во внимание роль собственности в развитии европейской цивилизации, потому что воспринимали собственность как нечто само собой разумеющееся. Но для историка, изучающего неевропейский мир, права собственности представляются чем — то исключительным — настолько они для него нехарактерны. Впервые я обратился к этой теме восемнадцать лет спустя, в книге «Россия при старом режиме». В ней я поставил такой вопрос: почему в России, в отличие от остальной Европы, к которой благодаря своему расположению, расе и религии она принадлежит, общество оказалось не в состоянии наложить эффективные ограничения на политическую власть? Мне представлялось, что ответом на этот вопрос был тот факт, что Россия (то есть Московское царство) во время решающей стадии формирования государственности (с XV по XVII век) не имела института частной собственности, так как вся земля, главный источник производимых ценностей, находилась во владении царствующего дома. Теперь я был готов подвергнуть проверке тезис, согласно которому частная собственность совершенно необходима для развития демократических институтов, а также прав человека.

Подготовив за четыре с половиной месяца сокращенную версию моего двухтомного труда по революции под названием «Краткая история русской революции» (эта книга вышла в 1995 году и была переведена на полдюжины иностранных языков), я занялся вплотную исторической ролью собственности. Эта тема оказалась недостаточно изученной. Большая часть существовавшей литературы, а ее было немного, посвящалась роли прав собственности в экономическом прогрессе. Я испытывал волнение, оставляя знакомую «территорию» русской истории и рассматривая такие экзотические предметы, как христианское отношение к собственности, природу утопий, стремление к обладанию собственностью первобытных людей, а также детей и животных.

Книга «Собственность и свобода», законченная зимой 1997–1998 года, состоит из пяти глав[69]. Первая посвящена идее

собственности от Платона до современности, вторая — институту собственности. Главы третья и четвертая сравнивают Россию и Англию и показывают, что в Англии раннее развитие земельной собственности позволило населению наложить ограничения на королевскую власть, тогда как отсутствие таковой в России привело к утверждению самодержавия. В последней и самой спорной главе говорится, что современное общество всеобщего благосостояния хотя и не отрицает принцип частной собственности, в то же время обладает некоторыми столь же ясно выраженными антисобственническими, то есть антилиберальными, чертами, как и некогда существовавшее абсолютистское общество.

Я взялся за новый проект с энтузиазмом. Не то чтобы я устал от России и ее истории, но я обнаружил, что после пятидесяти лет интенсивной работы по этому предмету дальнейшие исследования приносили все меньше результатов, становилось все труднее сказать что — нибудь новое. Поскольку научная деятельность подразумевает как преподавание, так и познание, мне не хватало волнения от приобретения новых знаний. И я нашел их в изучении проблемы собственности: антропология, этнография, психология, история права и государственных институтов открыли для меня новые и захватывающие перспективы. Меня охватывало волнение, когда я читал о стяжательских повадках трехшипной рыбы — колюшки или о собственнических наклонностях ребенка, начинающего ходить, об отношении к собственности пигмеев Юго — Восточной Азии или эскимосов, а также о понятии собственности в Англии XVII века.

Книга, вышедшая в мае 1999 года, получила предсказуемый прием. Социалисты и либералы отвергли ее, а консерваторам она очень понравилась. Рецензии, таким образом, отражали не научные или стилистические качества книги, а политические настроения рецензентов.

После этой книги я написал короткую, объемом 44 ООО слов, историю коммунизма, в которой проследил развитие с древнейших времен идеала общества без собственности и попытки его осуществления в Советском Союзе и в остальном мире. Эта работа была опубликована осенью 2001 года в серии «Хроники современной библиотеки»[70].

Окончив все это, я не знал, чем заняться. Монтень, один из моих интеллектуальных наставников, советовал по достижении преклонного возраста оставить научные занятия, но я не был склонен следовать его совету, потому что мой ум не желал покоя, а моя энергия все еще была на высоком уровне. Вопрос стоял лишь так: заняться каким — нибудь небольшим проектом,

который можно было бы закончить приблизительно за год, или предпринять большое исследование, которое займет годы. Я склонялся к тому, чтобы заняться небольшим проектом, пока не прочитал воспоминания лорда Актона о последней встрече с Леопольдом фон Ранке. Немецкому ученому тогда было за восемьдесят. Полуслепой, он хворал, и Актон был уверен, что вскоре прочтет некролог о нем. Но в возрасте восьмидесяти четырех лет Ранке приступил к работе над историей мира и писал каждый год по тому в течение девяти лет до своей смерти. Это определило мой выбор. Вдохновленный этим примером, в конце 2001 года я начал работу над историей русской консервативной мысли.

Выход на пенсию

Когда сеешь, учись,
Когда жнешь, учи других, а зимой наслаждайся.
Уильям Блейк. Пословицы Ада
И в мире старцу утешенье
Природа, мудрость и покой.
А. Пушкин. Руслан и Людмила

Легче начать автобиографию, чем закончить ее, когда жизнь течет, не оставляя четких вех.

Важным водоразделом в профессиональной жизни зрелого человека является выход на пенсию. По сложившейся традиции в Гарвардском университете профессора выходили на пенсию в возрасте шестидесяти шести лет. В редких случаях президент университета наносил визит профессору лично и просил его остаться еще на несколько лет. Затем эти правила были несколько смягчены. По достижении шестидесяти шести лет у каждого профессора был выбор: или преподавать на полной ставке еще два года, или на полставки — четыре года. Семидесятилетний возраст считался абсолютным пределом для активной службы. Однако в 1983 году конгресс принял закон, запрещающий обязательный уход на пенсию по достижении определенного возраста. Университеты освобождались от применения этого закона на десять лет. Это означало, что начиная с 1 июля 1993 года Гарвардский университет уже более не мог требовать, чтобы профессор, достигший семидесятилетнего возраста, уходил на пенсию. Благодаря удачному стечению обстоятельств, родившись И июля 1923 года, я подпадал под действие нового закона благодаря этим одиннадцати дням. Так что решение о выходе на пенсию оставалось за мной: по закону я мог бы преподавать столько, сколько хотел.

Я не стремился к выходу на пенсию и продолжал преподавать, но в конце концов решил оставить работу. Одна из причин — после семидесяти я обнаружил, что запас моей энергии тает. Припоминаю, что Сэмюэл Батлер писал где — то, что его старение выражалось в том, что он все чаще уставал. Преподавание с полной нагрузкой отнимало у меня энергию, необходимую, чтобы писать и заниматься другими делами, которые мне нравились. Конечно, существовало компромиссное решение, то есть преподавание на полставки. Но помимо того, что университет, и, по — моему, справедливо, это не приветствовал,

получалось, что, как мне рассказал один из моих коллег исходя из личного опыта, на самом деле приходилось преподавать с полной нагрузкой за половину платы.

Во — вторых, преподавание одних и тех же курсов в течение сорока лет стало чем — то вроде рутины. Хотя я и перерабатывал много раз одну или несколько лекций, но общая структура курсов и их основной смысл оставались без изменения. Преподавание просто перестало быть привлекательным. Процесс стал более походить на представление, а не на размышления вслух, особенно на лекциях с большим количеством студентов.

И наконец, я был разочарован тем, что факультет отказался в мае 1995 года утвердить назначение на постоянную должность превосходного молодого специалиста по истории России XX века. Я поддерживал его кандидатуру, потому что считал, что в Соединенных Штатах он делал самую оригинальную работу по раннесоветскому периоду и различными способами ревизовал (в положительном смысле этого слова) преобладающую точку зрения на этот период. Я был возмущен этим решением не потому, что мое мнение не приняли во внимание, а потому, что факультет даже не удосужился прочесть какую — нибудь из его работ и отверг его кандидатуру бесцеремонным образом на основании негативного заключения небольшой комиссии, которая приняла решение исходя скорее из политических, чем из научных соображений. В частности, они полагали, что кандидат был «слишком неистовым» в своих взглядах на коммунизм и в своей критике ученых ревизионистской школы. Такой вердикт, а более всего то, как он был вынесен, убедили меня, что мое время пришло: коллектив уже был не сплоченным целым, для которого интересы факультета представляли высшую ценность, а скоплением отдельных людей, которые строили карьеру и преследовали частные интересы. В результате его репутация стремительно падала. Если, согласно рейтингу журнала *US News and World Report*, факультет традиционно занимал первое или второе место в стране, то к концу 1990-х он опустился на шестое или седьмое место.

Я пришел к решению уйти в отставку во время прогулки в Чешаме солнечным летним днем 1995 года. Я прилег на лугу, посмотрел на небо и вдруг осознал, что время пришло: мне захотелось быть таким же свободным и беззаботным, как облака в небе надо мной. Я отложил сообщение о своем решении декану и председателю факультета до 27 октября, то есть до годовщины нашего отъезда из Варшавы, первого важного поворота в моей жизни. Я прочитал свой курс в последний раз в 1995–1996 учебном году и стал заслуженным профессором в отставке с

1 июля 1996 года. Факультет устроил для меня прощальный ужин. Великодушно были приглашены все мои бывшие аспиранты, некоторые приехали лично, а другие прислали письма. Конечно, как и принято в таких случаях, выступления были хвалебными. Но поскольку почти все они ценили меня за ту свободу, которую я предоставлял им в выборе тем диссертаций и за мое отношение к ним, я чувствовал, что похвала означала больше, чем просто формальность.

Одно из моих качеств — это способность закрыть без сожалений одну главу своей жизни и начать следующую. Это качество облегчает тяжесть старения, даже если оно и лишает нас утешения, которое мы испытываем от ностальгии. И все — таки после почти пятидесяти лет преподавания в университете я был удивлен, как мало я но нему скучал. Чего мне больше всего не хватало, так это общения с молодыми людьми и возможности обсуждать с ними свои новые идеи.

Первый год на пенсии не отличался от академических отпусков, которые я регулярно использовал каждые четыре года. Но когда подошел второй год, и у меня не было студентов, перемена взяла меня за душу. Я осознал, что теперь, когда у меня не было никаких формальных обязанностей, я должен был организовать свой распорядок особенно тщательно, иначе просто попусту терял время. Дело в том, что всевозможные академические обязанности создавали нечто вроде рамок каждодневной жизни. Сейчас этих рамок не стало, и мне нужно было создать новые. Практически это означало, что по утрам я работал за письменным столом дома, а после полудня отправлялся в университетскую библиотеку. Меня приятно удивило, как много я мог сделать, не обремененный своими предыдущими обязанностями.

Я выигрывал также время потому, что теперь Россия привлекала меньше внимания, чем во время «холодной войны». Меньше стало приглашений выступать с лекциями и ослабел интерес СМИ. Кроме того, если раньше подобные мне специалисты были единственными экспертами по России, то теперь в ней самой появились англоговорящие специалисты, которые были способны говорить и писать о предмете, зная его изнутри. Меня не расстраивало, что я стал менее востребован, отчасти потому что мои интересы несколько изменились, а отчасти потому, что тема освобожденной России потеряла остроту.

Одним из ободряющих событий, связанных с пост-коммунистической Россией, стали мои связи с Московской школой политических исследований — организацией, призванной

распространять демократические идеи и практики. Ее основатель и директор Лена Немировская — удивительно изобретательный и энергичный сторонник западных ценностей. Она проводит семинары с участием молодых российских политиков, журналистов и ученых. Ее муж Юрий Сенокосов возглавляет издательский отдел, выпускающий книги западных и российских авторов, большинство которых распространяется бесплатно среди участников семинаров, рассылается в региональные библиотеки и университеты. Я принимал участие в семинарах Школы ежегодно с 1999 года, и здесь вышли на русском языке несколько моих книг.

Нас не учили стареть: кто — то сказал, что процесс старения не для слабых духом. Удивление вызывает не физическая немощь, заметная с первого взгляда, а психологические состояния, которые те, кто их испытывает, предпочитают не обсуждать, а остальные стараются не замечать. Странность переживания возраста заключается в том, что если в молодости человек чувствует постоянные перемены в себе, а окружающая среда представляется ему неизменной, то теперь, оставаясь таким же, человек воспринимает окружающую среду в постоянном движении. Достигнув семидесяти лет, человек незаметно и невольно перемещается в другой мир. Люди, которых вы знали, постепенно умирают, и вы обнаруживаете, что находитесь среди незнакомцев. Эти незнакомцы думают иначе и ведут себя по — другому. Со временем вы начинаете чувствовать себя иностранцем в своей родной стране, несмотря на то что материальная среда остается прежней. Например, я испытал шок, обнаружив в 2000 году, когда бродил по торговому центру близ Вашингтона, что среди сотен толпившихся там людей я был единственным, на ком был пиджак и галстук. Такое же чувство, наверное, испытал бы француз в эпоху после реставрации Бурбонов, появись он на публике в штанах до колен и в напудренном парике. Мне припомнилось время, когда я был студентом и работал за 35 центов в час, и мне казалось непостижимым, что теперь за порцию мороженого нужно было заплатить три доллара и шестьдесят пять центов. Студенты, которых вы знали как первокурсников, присылали извещение о своем выходе на пенсию! И как вам понравится слышать, как молоденькие девчонки перекидываются запросто словами из трех букв, словами, которые в вашей молодости даже сержант морской пехоты постеснялся бы произнести в присутствии дам? Трудно привыкнуть к таким переменам, растет чувство изоляции и бесполезности.

Заключительные мысли

Пришла пора закончить это повествование о моей жизни. Научился ли я чему — нибудь за отведенные мне годы? Возможно, кое — чему…

Оглядываясь на почти восемьдесят прожитых мною лет, я прихожу к выводу, что гораздо выше, чем власть, деньги или славу, ценю независимость, бескомпромиссное право быть самим собой в словах и делах. Я считаю свои убеждения и взгляды настолько же неотъемлемыми от меня, как и мое тело: они — это я в буквальном, хотя и не в физическом смысле. Мне в принципе все равно, согласны со мной другие или нет, но я испытываю яростное негодование, если кто — то оспаривает мое право на эти убеждения и взгляды, так как подобное давление оскорбляет меня до глубины души. Отстаивание этого права часто доставляло мне неприятности, потому что общество вообще, а также общественные группы, к которым принадлежит человек в силу какой — либо деятельности, организации, религии и так далее, требуют от него подчинения. Но я никогда не сожалел о том, что оставался верен самому себе.

В более широком смысле жизнь научила меня тому, что люди совершенно непредсказуемы: невозможно предвидеть, что они сделают, или понять мотивы поступка. По этой причине я настроен весьма скептически к попыткам постичь поведение человека, как отдельно взятого индивидуума посредством психологии, так и массы людей посредством политической науки или социологии. Наука исследует явления, которые носят прямолинейный и предсказуемый характер, в то время как поступки людей случайны и беспорядочны. Мне кажется, что садоводство (как и история) дает наилучшую подготовку к политике. Садовник знает, что растения можно выращивать только в определенных условиях: если их высадить в плохую почву или в неподходящем климате, они чахнут и погибают. Выращивание растений, таким образом, означает сотрудничество между человеком и растениями, а не управление, которое возможно в отношении более инертной материи. Неудивительно, что, как вспоминает его дочь, Сталин не любил садоводства.

Для тех из нас, кому судьба подарила возможность выбирать свое будущее, а таких меньшинство на земле, важно решить на раннем этапе жизни, к чему мы стремимся, и затем реализовать задуманное. Я уверен, что никакие чуждые мотивы, особенно деньги, не должны отвлекать человека от его предназначения.

У нас должны быть обязательства — по отношению к людям,

работе, убеждениям, определенным местам. Меня удручает стремление современных молодых людей к свободе от всяких обязательств, к намерению всегда получать выгоду для себя. Достойная жизнь никогда не достигается таким образом.

Чувства Жорж Санд, о которых я где — то прочел и записал, отражают и мою философию жизни: «Человек становится счастливым благодаря собственным усилиям, когда он знает, что ему необходимо для счастья: простота вкусов, некоторая доля мужества, определенное самоограничение, любовь к труду и прежде всего чистая совесть».

Что касается смысла жизни, если вообще уместна такая постановка вопроса, то я должен сказать, что, поскольку боязнь смерти и любовь к своим детям — это наши самые сильные эмоции, единственной целью может быть лишь стремление жить и производить потомство. Мир, похоже, так устроен, что все сущее в нем стремится к продолжению себя, но зачем, для какой цели? — это остается скрытым от нас[71].

Остаемся ли мы одинаковыми с детства до старости? Читая сейчас кое — что из написанного в молодости, я часто бываю озадачен чувствами, которые испытывал прежде. Когда мы молоды, нам, например, очень важно одобрение старших. Когда я учился на первом курсе в колледже, меня «затащили» к себе четыре из пяти студенческих землячеств. Было приятно чувствовать свою популярность, но меня расстраивало, что одно из них все — таки не хотело принять меня. Сейчас меня намного меньше беспокоит, что люди обо мне думают, так как я знаю, что враждебность очень часто вызвана причинами, не имеющими прямого отношения ко мне: завистью, предвзятостью или непониманием. Мои ожидания от жизни, мои пристрастия и неприязни, мои опасения и надежды в прошлом существенно отличаются от нынешних.

И все же… Чтобы ответить на вопрос, который я задал в начале книги — таков ли я сейчас, каким был всегда? — лучше всего процитировать французского литературного критика XIX века Сент — Бёва:

Я пришел к заключению, возможно, благодаря тому, что втайне прощал себе свою праздность, а возможно, благодаря более глубокому пониманию принципа, что все кончается одним и тем же, что бы я делал или не делал, работая усердно в своем кабинете, разбрасывая себя по статьям, посвящая себя обществу, тратя свое время на назойливых посетителей, бедняков, на уличные свидания, неважно, с кем и почему, я не прекращал делать одно: читать ту же бесконечную книгу мира и жизни, которую никто никогда не закончит читать и в которой мудрейший

продвинется дальше; я читаю какие попало страницы, отдельные отрывки, читаю, возвращаясь вспять, какая разница? Я никогда не останавливаюсь и продолжаю. Чем больше мешанины, чем чаще перерывы, тем усерднее я возвращаюсь к книге, в которой никогда не перевалишь за половину; польза уже в том, что она была открыта перед моими глазами на множестве разных страниц.

Что же до смерти, если подумать о ней, то это такое же чудо, как и рождение, если не большее, потому что мы ничего не можем с ней поделать, разве что отсрочить ее на какое — то время. Когда я шел по Брэтл — стрит в Кембридже на похороны моего отца на кладбище Маунт Ауберн прекрасным весенним днем 1973 года, я испытал странное чувство религиозного восторга, сходного с тем, которое испытал при рождении моего первого сына. Человек, достигший определенного возраста, знает, что он живет в условиях отсроченного смертного приговора. Подсознательно человек начинает в душе прощаться с друзьями и с самыми любимыми вещами — с летним домом, книгами и произведениями искусства, семейными фотоальбомами — и задаваться вопросом, кому это достанется после его ухода из жизни и что с этим сделают.

Когда же придет смерть, мои сожаления будут такими же, как и у Праксилы Сикионской, греческой поэтессы V столетия до нашей эры.

Самое восхитительное из того, что я оставляю, — это солнце;

А самое прекрасное после него — это мерцающие звезды и лик луны;

Но также и огурцы, которые созрели, и груши, и яблоки.

notes

Примечания

1

Много лет спустя моя мать рассказала мне, что шведский консул в Варшаве, с которым мои родители были знакомы, предложил им визы в Швецию. Однако, когда он узнал, что по документам имя моей матери Сара, он сообщил ей, что, к сожалению, не сумеет выполнить обещание.

2

Много лет спустя я узнал, что Плиний — младший в молодости вел себя подобным же образом во время землетрясения, которое уничтожило Помпеи. В письме Тациту он описал, как, находясь в близлежащем Мизенуме, он почувствовал сильные толчки. Его мать советовала ему уйти, но он «или из — за смелости или из — за глупости» попросил, чтобы ему принесли томик Ливия и «продолжал читать, как будто ему нечего было делать». Он ушел только после того, как возникла опасность, что дом рухнет. («Письма Плиния — младшего», изд. Хаммондсворт, 1969, с. 170–171.)

И, к сожалению, таких было немало. Веками евреи были изолированы от христиан, среди которых они жили. Они были весьма реалистичны и даже прагматичны, что касалось их личных дел, но удивительно наивны относительно политики, из которой они традиционно были исключены. Некоторые из ассимилированных евреев верили в социализм, так же как их ортодоксальные соплеменники верили в приход Мессии.

4

Знаменитый американский танцевальный коллектив.

5

Если провести линию от северного полюса к Сицилии и от Москвы к восточному побережью Испании, то эти линии пересекутся в районе Чиешина.

Можно перевести так: «Я устал и иду отдыхать, закрывая глаза. Отец, пусть твой взор витает над моей постелью».

7

Небольшая кожаная коробочка кубической формы, в которую вложены написанные на пергаменте выдержки из Библии. Ортодоксальные иудеи укрепляют эти коробочки специальными ремешками на лбу и предплечье левой руки во время утренней молитвы в будни. — *Прим. ред.*

8

Я испытал первые сомнения относительно Ницше намного раньше — когда мой друг Олек перевел на идиш «Так говорил Заратустра» *(Azoy sugt Zaratustra)*. Это сразу же разрушило мое восхищение. Идиш сбивает спесь, удаляет всякую помпезность.

9

Из письма П. А. Боборыкину (1865 г.)

10

Абсолютный аблатив — один из падежей латинского языка. — *Прим. ред.*

11

Принятое в англо — американской историографии название германского наступления в Арденнах в конце 1944-го — начале 1945 года. — *Прим. ред.*

12

Поступая так, я невольно следовал совету талмудических мудрецов, которые противились рассуждениям о вещах, которые человеку не дано понять: «Не ищи вещей, которые слишком трудны для тебя, а тех, которые скрыты от тебя, не пытайся узнать». (A. Cohen. Everyone's Talmud. — New York, 1949. — P. 27.)

13

Возможно, некоторые читатели будут недовольны моими обобщениями относительно наций, будь то немцы или русские, о которых речь ниже. Поэтому считаю необходимым напомнить, что, во — первых, речь идет не о генетических, а о культурных особенностях, которые отражают воспитание и не имеют ничего общего с таким понятием, как «раса». Так, я пришел к выводу, что немецкие евреи, благодаря тому, что они выросли в той же культуре, что и их арийские соотечественники, походили на них больше, чем, к примеру, на польских евреев. Во — вторых, утверждение, что представители какой — нибудь национальности склонны вести себя определенным образом, конечно, не означает, что все ее представители будут себя вести так же. Это просто обобщенное описательное утверждение, смысл которого скорее верен, чем ошибочен.

14

Польский писатель Анджей Щипорский объясняет эту ментальность следующим образом: «Евреи это вши, а вшей надо уничтожать. Такие сравнения соответствуют немецкому образу мышления, так как немцы чистоплотны, они стремятся к чистоте и порядку». (Noc, Dzien i Noc. — Варшава, 1995. — С. 242.)

15

В конце 2001 года в английской прессе появились сообщения, что на альпийском курорте Миемииг открылись специальные курсы по обучению немцев юмору. В программу входят «уроки смеха». (The Week, 22 Dec. 2001. — P. 7. Цитата из *Sunday Telegraph.)*

Со временем система индивидуальных занятий сократилась, и все более знания передавались посредством лекций. В Гарвардском каталоге факультета наук и искусств за последний предвоенный год (1938–1939) было всего 183 страницы, а в каталоге за 2002–2003 год уже 910 страниц.

17

Был даже анекдот, высмеивающий такого рода утверждения. «Иван Посошков, малоизвестный русский публицист во времена Петра I, был более великим экономистом, чем Адам Смит, который жил полвека спустя». — «Почему?» — «Из — за его отношения к теории маргинальной полезности». — «Но ведь ни тот ни другой ничего не знали об этой теории!» — «Да, но Посошков не знал о ней раньше».

Оскорбление величества *(фр.). — Прим. ред.*

19

Когда в индийском посольстве в Париже узнали, что целью моей поездки в Индию было выступление перед местными отделениями Конгресса свободы культуры, мне отказали в визе, по — видимому потому, что посольство знало, чего не знал я, что этот Конгресс финансировался ЦРУ. Однако индийское посольство в Москве выдало мне визу без затруднений.

20

Главный герой рассказа Чехова, пожилой профессор медицины наблюдает за своим ассистентом и думает: «За всю свою жизнь он приготовит несколько сотен препаратов необыкновенной чистоты, напишет много сухих, вполне приличных рефератов, сделает с десяток добросовестных переводов, но пороха не выдумает. Для пороха нужны фантазия, изобретательность, умение угадывать, а у Петра Игнатьевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник».

21

По крайней мере до 2001 года, когда Московская школа политических исследований опубликовала биографию в русском переводе. В марте 2003 года Школа организовала конференцию, посвященную Струве, в Перми — городе, в котором он родился. На этой конференции я сделал доклад в университете и был приятно удивлен тем, насколько много преподавателей и студентов читали мою книгу. Для них она что — то значила, в то время как на Западе была лишь предметом любопытства.

22

Как — то раз он мне рассказал о каком — то приеме в Нью — Йорке, организованном в его честь, на котором он присутствовал только потому, что речь шла о премии в 30 ООО долларов. Когда он прибыл, все были уже навеселе. Чтобы лучше узнать главного виновника торжества, собравшиеся передавали друг другу под столом экземпляры книги «Кто есть кто в Америке». Одна дама, покачиваясь, подошла к нему и сказала: «Я знаю, кто вы». «И кто же я?» — спросил он. «Вы тот, кто написал Финляндию». (Намек на его книгу об истории Ленина и русской революции.)

23

Термин, введенный в 1860-х годах и означающий состоятельную интеллектуальную и социально активную элиту Новой Англии. — *Прим. ред.*

Я впервые опубликовал ее русское издание на свои средства в Соединенных Штатах в 1980 году

25

Martin Gilbert. Shcharansky. — P. 268–269. По моему, причина, по которой меня назвали «американским агентом», заключалась в том, что в конце 1976 года я был председателем команды «Б», работавшей с ЦРУ. (См. главу 3.)

26

Должен признаться к своему стыду, что я тоже на короткое время стал жертвой подобного образа мыслей в годы после Второй мировой войны. В ноябре 1948 года мне была настолько отвратительна политика Трумэна по отношению к Советскому Союзу, что я голосовал на президентских выборах за Генри Уоллеса, которого поддерживала коммунистическая партия.

27

Как выразился Джерри Хоу: «Если бы мы могли заняться детальным изучением местной власти в Советском Союзе, то весьма вероятно, мы бы пришли ко многим из выводов, к каким пришел Роберт Даль в своем исследовании города Нью — Хэйвен». (JerrY Г. Hough. How the Soviet Union is Governed. — Cambridge, 1979. — P. 512.)

28

National Intelligence Estimate 11–3/8–75. — P. 16. Соединенные Штаты официально отказались от этой доктрины в 2002 году при президенте Джордже Буше, когда вышли из договора по ПРО и заявили о намерении создать противобаллистическую оборону и при определенных обстоятельствах нанести превентивный удар.

29

Связь между командой «Б» и ЦРУ поддерживал сотрудник ЦРУ по имени Джон Пэйсли. Изначально наша группа была известна как «проект Пэйсли» — название «Команда «Б» было придумано позже. В 1974 году Пэйсли уволился из Управления, где он работал заместителем начальника стратегических исследований, занимавшегося оценками советских ядерных сил. В октябре 1978 года, через два года после того, как наша работа был закончена, его тело было обнаружено в Чесапикском заливе. Он был убит выстрелом в голову. К его телу было привязано 38 фунтов водолазного балласта. Сообщалось, что на борту принадлежавшей ему парусной шлюпки были найдены материалы команды «Б», а также сложное радиооборудование. Так и не было выяснено, покончил ли он жизнь самоубийством или был убит, и вообще, было ли найденное разложившееся и быстро кремированное тело его телом. См.:Tac 1 Szulz in *New York Times Magazine,* 7 January 1979. — P. 13, 15, 60, 62.

Данные официально опубликованы в совершенно секретном документе под названием *Intelligence Community Experiment in Competitive Analysis. Soviet Strategic Objectives: An Alternative View.* Документ был рассекречен и разрешен для публикации с некоторыми сокращениями в сентябре 1992 года.

31

Этот прием типичен для либералов. В 1998 году, когда Кеннет Старр докладывал о деталях сексуальных похождений президента Клинтона, чтобы доказать, что отрицание их под присягой означает лжесвидетельство, Старра обвинили в том, что он был «одержим сексом». Также в 1930-е годы, английские «миротворцы» упрекали Уинстона Черчилля в «бряцании оружием» за то, что он предупреждал, что Германия вооружалась для ведения войны.

32

В моих размышлениях о первом годе в Вашингтоне, которые я занес в свой дневник 1 января 1982 г., о Хейге я записал следующее: «Тактик с весьма ограниченным кругозором. Находчив в том, что касается деталей. Чем — то обеспокоенная личность. В его поведении на заседаниях СНБ возбуждение и часто обвинительные выпады чередуются с презрительным молчанием. Мне кажется, что он считает себя единственным человеком на заседании, кто разбирается в вопросах внешней политики, и считает всех остальных (включая президента) простофилями. Он льстит президенту, но РР (Рональд Рейган) испытывает к нему значительную неприязнь, особенно когда он оказывается в центре перепалки между Хейгом (сидящим справа) и Уайнбергером (слева). Трудно себе представить, чтобы он смог вытянуть полностью срок полномочий президента. В кабинете министров у него нет никакой поддержки».

Пугало, жупел *(фр.). — Прим. ред.*

34

Перед моим отъездом в Вашингтон аспирант факультета управления в Гарварде вручил мне записку с намеками о том, как занять место Аллена. Мне следовало помогать ему сдерживать Киссинджера, регулярно сбрасывать прессе компромат на Аллена, в то же время не теряя его доверие, поддерживать хорошие отношения с Нэнси Рейган и ее секретарями и сделать решающий ход против Аллена в «подходящий момент», когда он потеряет поддержку Бейкера и Хейга.

35

Bohemian Grove — место, где каждое лето на две недели собираются представители американской элиты (исключительно мужчины). — *Прим. ред.*

Кроме меня, в списке фигурировали Уильям Кейси, Дэвид Абшир, Рей Клайн и Лоренс Зильберман *(Christian Science Monitor.* 18 November 1980). 7 июня 1979 на странице A3 New York Times Уильям Сафир в статье *New Boy — Network* («Шеренга новых парней») упомянул мое имя как ведущего кандидата на пост советника по национальной безопасности наряду с Фрэнком Карлуччи, Джоном Леманом, Эдвардом Лутваком и Ричардом Алленом. Проблема с этим предсказанием была в том, что я не принадлежал ни к этой «шеренге», ни к какой — нибудь другой.

37

Как — то раз во время заседания я вышел в туалет, где один человек сказал мне, что он встречал меня раньше в Португалии. «Вы из Португалии?», — спросил я. «О, да, — ответил он. — Я премьер — министр Португалии».

38

К 1997 году Россия действительно стала самым крупным поставщиком природного газа в Германию. Доля российского газа в германском импорте этого продукта достигла почти трети. Однако российские прибыли от экспорта газа оказались значительно меньшими по сравнению с оценками ЦРУ. Они составили за 25 лет (1972–1997) 31 миллиард долларов. Financial Times. 2 July 1998. — P. 3.

39

По крайней мере публично Аллен сообщил мне, что с глазу на глаз Хейг сказал ему, смеясь: «Я бы хотел иметь возможность говорить подобные вещи!»

40

«Уотергейт» (дословно — «водяные врата») — отель в Вашингтоне, где во время избирательной кампании 1972 года размещалась штаб — квартира демократической партии. Противозаконные действия комитета республиканской партии по переизбранию президента (Р. Никсона) — попытка установки прослушивающих устройств в штаб — квартире демократов, подкуп, угрозы, лжесвидетельства со стороны должностных лиц Белого дома — получили название «уотергейтского дела» и стоили президенту Никсону отставки в августе 1974 года. — *Прим. ред.*

41

Политический скандал, связанный с незаконной продажей оружия в Иран и финансированием никарагуанских контрреволюционеров. — *Прим. ред.*

42

У Брежнева была куча дорогих, в основном иностранных, автомобилей, и как — то раз он с гордостью показал их своей матери. «Ну, мама, что скажешь?» — спросил он ее. «Хороши, сынок, — ответила она, — очень хороши. Но что же будет, когда придут коммунисты и отберут их?»

43

Представитель «Чейз Манхэттен банка» сказал мне в июле 1981 года: «Конечно же, мы не ожидаем возврата наших займов, пока они «продуктивно задействованы», то есть приносят доход в виде процентов».

Казалось, они испытывали потребность рассказывать Рейгану забавные анекдоты, но делали это так плохо, что те не вызывали у него даже усмешки.

45

Запись этого совещания просочилась в прессу, и Уильям Сафир в своей колонке в «*Нью — Йорк тайме*» дал исчерпывающий отчет о происходившем. См.: New York Times. 21 June 1982. — P. A19.

46

Он рассказал о нашем разговоре в своих мемуарах, опубликованных в 1989 году Пайпс, писал он, «был убежден, что приближается развал советской экономики и советской общественной системы, и в том, что было достаточно небольшого толчка со стороны Запада, чтобы приблизить этот день. Я утверждал, что экономика такого масштаба, как советская, не могла развалиться в классическом западном понимании». A. D. Ford. Our Man in Moscow. — Toronto, 1989. — P. 326.

47

Strobe Talbott. The Russians and Reagan. — New York, 1984. — P. 74–75. Название этой книги, спонсированной Советом по иностранным делам, уже само по себе достаточно красноречиво. Автор интересуется не столько тем, что Президент США и его советники думали о Советском Союзе, сколько тем, что советские лидеры говорили о них.

Намного позже, в 1999 году я узнал, что подобные мысли и рекомендации были высказаны Эммануилом Тоддом в книге «La Chute finale» (Paris, 1976).

49

Впоследствии Долан сообщил мне, что в первом варианте текста речи президент Рейган упомянул меня как автора этой мысли, но потом ссылка на меня была изъята по просьбе сотрудника Госдепартамента, а также одного коллеги по СНБ.

Текст, который я вставил в речь президента, был ничем иным, как вольным пересказом отрывка из предисловия к работе Маркса «К критике политической экономии», с которой был знаком каждый образованный человек в советской России: «На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями… или с отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции».

51

В докладе группы по передаче полномочий новой администрации 19 декабря 1980 года, написанном мною и Анжело Кодевилой, этот пункт был четко обозначен: «Торговлю и займы, увеличивающие зависимость Запада от Советского Союза, следует ограничивать, а экономические отношения, которые увеличивают зависимость Советского Союза от Запада (например, потребительские товары) следует развивать».

52

Президент, вице — президент, Шульц, Кларк, Эд Мис, Джеймс Бейкер, Бад Мак — Фарлейн, Уильям Кейси, адмирал Мерфи, Артур Хартман, Джон Ленчовский, Ричард Барт, Ларри Иглбергер и я.

53

Как — то раз я ехал в лифте с приятелем и сказал ему о названии своей книги, на котором остановился. Ехавшая в лифте пожилая женщина невольно слышала то, что я сказал. И спустя какое — то время, когда мы с другом уже расстались, она подошла ко мне со словами: «Вы совершенно правы. Я так устала выживать. Я хочу большего от жизни». Интересно, сколько экземпляров «Просто выжить недостаточно» было продано читателям, разделявшим ее позицию?

54

Юрий Андропов, долгое время глава КГБ, ставший после смерти Брежнева ненадолго Генеральным секретарем ЦК КПСС, действительно предвидел опасность ослабления контроля над общественным мнением. Он сказал главе восточногерманской разведывательной службы: «Слишком много людей пострадало от репрессий в нашей стране…. Если мы откроем все шлюзы сразу, и люди начнут выражать все свои горести, начнется потоп, и мы не сумеем его остановить». (Markus Wolf. Man without a Face. — London, 1997. — P. 218–219.)

55

Парадоксально, что Ленин, этот самый удачливый из марксистских политиков, не имел таких иллюзий: «Политика, — писал он, — не может не иметь первенства над экономикой. Рассуждать иначе, значит забывать азбуку марксизма». В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Изд. пятое, том 42. — Москва, 1963. — С. 278.

56

Один французский «постмодернист», явно пустозвон, стремящийся оправдать свою никому непонятную писанину, заявил, что «ясное письмо» — это проявление «реакционного мышления». John M. Ellis. Against Deconstruction. — Princeton, 1989. — P. 10.

57

«Четыре брата» — место в лесу неподалеку от Екатеринбурга, где тела одиннадцати жертв бойни, в том числе пятерых детей, были раздеты, изрублены и брошены в костер.

58

Сошлюсь в этой связи на Макса Бирбома, который удивлялся тому «как мало людей осмеливаются иметь свое мнение… Я не понимаю, при чем тут «смелость». Я не понимаю, почему человек должен колебаться, прежде чем сказать, что он думает и чувствует. Ему нечего опасаться в наши дни. Никто ведь не предложит соорудить костер, чтобы на нем сжечь его… Отнюдь не впадая в раздражение, люди уважают вас за вашу «смелость». У вас появится дешевая слава благодаря качеству, на которое, нравится вам или нет, вы не вправе претендовать. Подобно тому, как солдата в бою не называют героем за бросок на дула орудий, если он знает, что они не заряжены». (Цит. по кн.: David Cecil. Max. New York, 1985. — P. 172–173.)

59

Гарри Шукман из Оксфордского университета, один из участников конференции, так описывал ее в 1996 году: «Большинство из нас сидели в безмолвном шоке, когда Пайпс представил Ленина и его «достижения» как показательную модель для гитлеровского режима… Почему мы были шокированы тогда и почему большинство из нас сейчас разделяют взгляды Пайпса, — это, на мой взгляд, результат развала Советского Союза». *(Times Higher Education Supplement.* 22 November 1996. — P. 22.)

Эти слова были бессознательным эхом того, что сказала Екатерина II Дидро двумя столетиями раньше: «Месье Дидро, я слушала с огромным удовольствием все, что ваш незаурядный ум вдохновил вас сказать… В ваших планах реформ вы забываете о разнице между вашим и моим положением: вы пишете на бумаге, которая все стерпит; она гладкая, простая и не представляет препятствий ни вашему воображению, ни вашему перу, а я, бедная императрица, имею дело с человеческой кожей, которая намного более раздражима и ранима». (Maurice Tourneux. Diderot et Catherine. — Paris, 1899. — P. 81.)

Позже я узнал от одного из участников, что на учредительном собрании членов фонда в Москве к всеобщему удивлению Сахаров предложил мою кандидатуру в совет директоров. Излишне говорить, что это предложение отвергли.

62

«Нью — Йорк тайме» не печатала статью целый месяц. Когда наконец они согласились напечатать ее, я вступил в спор с редактором, которому не нравилась моя точка зрения. Я настаивал на своем, и статья вышла в том виде, как я ее написал. Но он отомстил мне за это, снабдив статью вводящим в полное заблуждение заголовком «Удар Советской Армии? Маловероятно». (*New York Times.* 20 November 1990. — P. A21.)

63

Следующее ниже описание основано на воспоминаниях председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича, как они были записаны в интервью варшавской ежедневной газете «Речь по- сполита» (Приложение «+плюс — минус»). 30–31 мая 1998. — С. 13, 19.

Шушкевич отвергает как «полную ложь» циркулирующую на Западе историю, что во время принятия этого решения Ельцин был настолько пьян, что свалился со стула. Он настаивает, что все участники этих исторических заседаний были совершенно трезвыми.

Такая же некомпетентность, усугубленная не менее злобным отношением к несогласным с общепринятым мнением, бытовала и среди китаеведов. См.: Richard Walker. *National Interest.* 1998, № 53. — P. 94–101.

Позже я прочитал у Достоевского в опубликованном столетием раньше «Дневнике писателя» описание поведения типичного царского чиновника низшего ранга, которое соответствует тому, что мне пришлось наблюдать, и показывает, что корни такого поведения нужно искать в докоммунистической России: «Это нечто высокомерное и гордое, как Юпитер. Особенно это наблюдается в самой мелкой букашке, вот из тех, которые сидят и дают публике справки, принимают от вас деньги и выдают билеты и проч. Посмотрите на него, вот он занят делом, «при деле»: публика толпится, составился хвост, каждый жаждет получить свою справку, ответ, квитанцию, взять билет. И вот он на вас не обращает никакого внимания. Вы добились, наконец, вашей очереди, вы стоите, вы говорите — он вас не слушает, он не глядит на вас, он обернул голову и разговаривает с сзади стоящим чиновником, он взял бумагу и с чем — то справляется, хотя вы совершенно готовы подозревать, что он это только так и что вовсе не надо ему справляться. Вы, однако, готовы ждать и — вот он встает и уходит. И вдруг бьют часы, и присутствие закрывается — убирайся публика!» (Полное собрание сочинений. — Ленинград, 1981, том 23. — С. 75.) Достоевский объясняет такое поведение стремлением мелкого чиновника компенсировать свое ничтожество.

Сошлюсь, в частности, на одного из ревизионистов, английского историка Эдварда Актона, который в своей рецензии критиковал меня за то, что я не принял во внимание работы этой школы и даже не включил их в библиографию. (На самом деле, хотя я и редко вступал с ними в полемику, но в тексте книги у меня немало упоминаний и сносок на их публикации.) «Возможно, [Пайпс] считал, что, приняв их во внимание, он подорвет основы своей собственной интерпретации», — размышлял он. (Revolutionary Russia, June 1992, p. 107.) В вышедшем позднее объемистом томе по данной теме, в котором приняло участие большое число авторов и Актон был одним из его соредакторов (см. Critical Companion to the Russian Revolution 1914–1921. — Bloomington, Ind., 1997), в библиографии нет упоминания ни об одной моей работе, не говоря уже о ссылках в тексте.

68

Фолькер Ульрих в статье в газете *Die Zeit* (№ 37 от 3 сентября 1998) назвал немецких историков «добровольной гильдией Гитлера», мечтавшей о покоренной нацистами Европе, свободной от евреев. Мало кто из них потерял свои кафедры после войны. Два влиятельных историка послевоенной эпохи в Западной Германии Теодор Шидер и Вернер Конзе, как оказалось, были среди интеллектуальных предтечей программы «зачистки» Восточной Европы от евреев.

На русском языке книга была издана Московской школой политических исследований в 2000 году. — *Прим. изд.*

Под заголовком «Коммунизм» книга была издана Московской школой политических исследований в 2002 году. — *Прим. изд.*

Это убеждение только усилилось, когда я узнал, что существуют такие виды мотыльков, которые живут лишь три дня. В течение этого времени они ничего не делают, даже не питаются, так как заняты поиском партнера, чтобы произвести потомство, которое тоже будет жить лишь три дня, только для того, чтобы произвести потомство.

1

См.: *ApoloniuszZawilski.* Bitwy polskiego wrzes'nia, II. — Warsaw, 1972. — P. 248. Также были уничтожены 191 танк и 421 самолет.

2

Izrael Zangwill. Children of the Getto. — New York and London, 1895. — P.x.

3

«Nichts ist wahr, Ailes ist Erlaubt». — In: Genealogy of Morals. Part III, no. 24 (Werke VII, Leipzig 1910), p. 469.

4

Cit. by A. L. Rowse in The Use of History (London, 1946), p. 54.

5

Henry Festing Jones. Samuel Butler, II. — London, 1919. — P. 306

6

Эту историю рассказал Ричард Лукас, см.: Richard C. Lucas. Eagles East.

Frankfurter Allgemaine Zeitung Magazine. September 11, 1981.

1

Isaiah Berlin. The Proper Study of Mankind: An Anthology of Essays. — London, 1997. — P. 535.

2

Michael Ignatieff. Isaiah Berlin: A Life. — New York, 1999. — P. 71.

3

Foreign Affairs, апрель 1951, с. 360.

The Privilege Was Mine. — New — York, 1959. P. 31.

5

Sergei Khrushchev. Nikita Khrushchev. — University Park. Pa., 2000. — P. 220.

Cm.: Richard Grossman, ed. The God That Failed. — New York, 1940. — P. 178.

7

А. П. Чехов. Письмо от 4 октября 1888 г. к А. Плещееву. // Собрание сочинений, том II. — Москва, 1956. — С. 263.

См.: George Urban, Stalinism. — London, 1982. — P. 350.

Foreign Affairs, июль 1947. — P. 581.

10

Ф. М. Достоевский. Поли. собр. соч. Т. 6 — Ленинград, 1973. — С. 155. См. также его эссе о «вранье». // Там же, т. 21. — Ленинград, 1980. — С. 117–125.

11

И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. Т. 5. — Москва — Ленинград, 1963. — С. 198.

12

Martin Gilbert. Shcharansky, Hero of Our Time. — New York, 1986. — P. 244.

13

Natan Shcharansky. Fear No Evil. — New York, 1998. — P. 202.

14

Financial Times, September 26–27,1998. — P. 3. Этот обзор общественного мнения был организован компанией «Дюрекс», производящей презервативы.

1

Encounter. 35, № 4. October 1970. — P. 11.

2

«Watchdogging Intelligence». Seminar on Command, Control, Communications and Intelligence (Incidental Papers. Center for the Study for Information Policy Research. Harvard University, 1980). — P. 179–180.

3

«Watchdogging Intelligence». Seminar on Command, Control, Communications and Intelligence (Incidental Papers. Center for the Study for Information Policy Research. Harvard University, 1980). — P. 79–180.

4

Why the Soviet Union Thinks It Could Fight and Win a Nuclear War. // *Commentary*, 82, № 4. October 1986. — P. 25–39.

Cm.: National Intelligence Estimate 11–3/8–76. — *P*. 18.

New York Times, 19 January 1977. — P. A22.

7

David Callahan. Dangerous Capabilities. — New York, 1990. — P. 380.

«Подчищенный» вариант доклада был рассекречен и разрешен для публикации 16 февраля 1978 года.

New York Times. 17 February 1978. — P. A6.

Insight, 23 June 1986. — *P*. 15.

New York Times, 23 November 1978. — P. Al, A6.

12

Перепечатано в кн.: Charles Tyroler II, ed. Alerting America: The Papers of the Committee on the Present Danger. — Washington, D. C.: Pergamon Press, 1984. — *P*. 10–15.

Washington Post. 29 August 1977. — P. 5A.

14

Richard Burt in *New York Times*, 10 February 1979. — P. 5. См. также: Zbigniew Brzezinski. Power and Principle. — New York, 1983. — *P*. 455–459.

New York Review of Books. 3 May 1979. — *P.* 45.

Известия. 27 июня 1988. — С. 3.

17

William E. Odom. The Collapse of the Soviet Military. — New Haven, 1998. — *P.* 67, 70.

Wprost. 23 June, № 25 2001. — *С.* 82–84.

Wall Street Journal. 24 December 1980. — P. 3.

20

Peggy Noonan. What I saw at the Revolution. — New York, 1990. — *P*. 212.

Washington Post. 25 May 1981. — P. Al, A12.

Baltimore Sun. 12 July 1982. — P. A3.

Washington Post. 24 December 1980. — P. Al, A3.

Правда. 18 февраля 1981.

National Journal. 17 July 1982. — *P.* 1247.

26

Die Zeit. 26 March 1982. — P. 10; цит. по *Frankfurter Allgemeine Zeitung.* 19 May 1982. — P. 8.

27

Strobe Talbott. The Russians and Reagan. — New York, 1984. — P. 131.

28

The Soviet Economic Predicament and East — West Relations. Sov 82- 10001.

New York Times. 10 November 1981. — P. A22.

Observer. 22 March 1981.

Baltimore Sun. 20 March 1981. — P. A4.

Washington Post. 24 March 1981. — P. B4.

Time. 22 November 1982. — P. 31.

34

Michael K. Deaver. Behind the Scenes. — New York, 1987. — P. 126–127, 139.

Peggy Noonan. What I Saw… — P. 90, 224.

George P. Shultz. Turmoil and Triumph. — New York, 1993. — P. 162.

37

См. редакционную колонку «Breach of Contract», *Wall Street Journal*, 23 July 1982.

Ronald Reagan. An American Life. — New York, 1999. — P. 362.

39

G. Shultz. Turmoil and Triumph. — P. 159.

Ibid. — P. 121–122.

41

11 May 1882. — P. A6.

42

См.: *Новый мир.* — М., 2000, № 9. — С. 176–179; и мой ответ: *Новый мир.* — М., 2001, № 3. — *С.* 222–224.

Bulletin of the American Atomic Scientists. — January 1981, Emphais added.

44

Это письмо в отредактированной форме воспроизведено в мемуарах Рейгана «Американская жизнь» (R. Reagan. An American Life. — P. 554–555).

Ibid. — *P*. 555.

Newsweek. 16 November 1981. — *P.* 31.

National Review. 27 November 1981. — P. 1, 391.

48

Впервые он появился в приложении к мемуарам Роберта Мак — Фар- лейна «Особое доверие» (Special Trust. New York, 1994. — P. 372–380).

G. P Shultz. Turmoil and Triumph. — P. 126.

Ibid. — P. 265–266.

Ibid. — P. 267–268.

52

Eric Hoffer. Between the Devil and the Dragon. — New York, 1982. — **P**. 388.

1

Тит Ливий. История Рима, кн. XXII, глава 5.

2

Клаузевиц. О войне, книга 4, главы 10 и 11.

3

New York Times, Sunday Book Review. 18 November, 1984. — P. 12.

4

Lytton Strachey. Macaulay. In: Literary Essays. — New York, 1939. — P. 195.

5

В лекции в Гарвардском университете 11 ноября 2002 г.

Francesco Guicciardini. Ricordi. — New York, 1949. — P. 45, 47.

7

Lytton Strachey. Madame de Deffand. In: Books and Characters: French and English. — New York, 1922 — P. 102

8

New Letters of Thomas Carlyle, II. — London and New York, 1904. — P. 10–11.

9

A. Huxley. Point Counter Point. — New York, 1928. — P. 292.

10

Доклад *Associated Press* от 8 февраля 1995.

11

Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. — Москва, 1991. — С. 184.

12

Ф. М. Рудинский. «Дело КПСС» в Конституционном суде. — Москва, 1999. — С. 109.

13

Richard Rothe. Theologische Ethik. 2d ed. — Wittenberg, 1869. — P. xi.

14

Цит. по кн.: Gertrude Himmelfarb. Victorian Minds. — New York, 1968. — P. 177.

Они были опубликованы в 1994 году издательством Оксфордского университета совместно с издательством Скандинавского университета под названием *Communism: The Vanished Specter* {Коммунизм: исчезнувший призрак).

16

C. A. Sainte — Beuve. Monday — Chats. Ed. William Matthews. — Chicago, 1877. — P. xiv — xv.